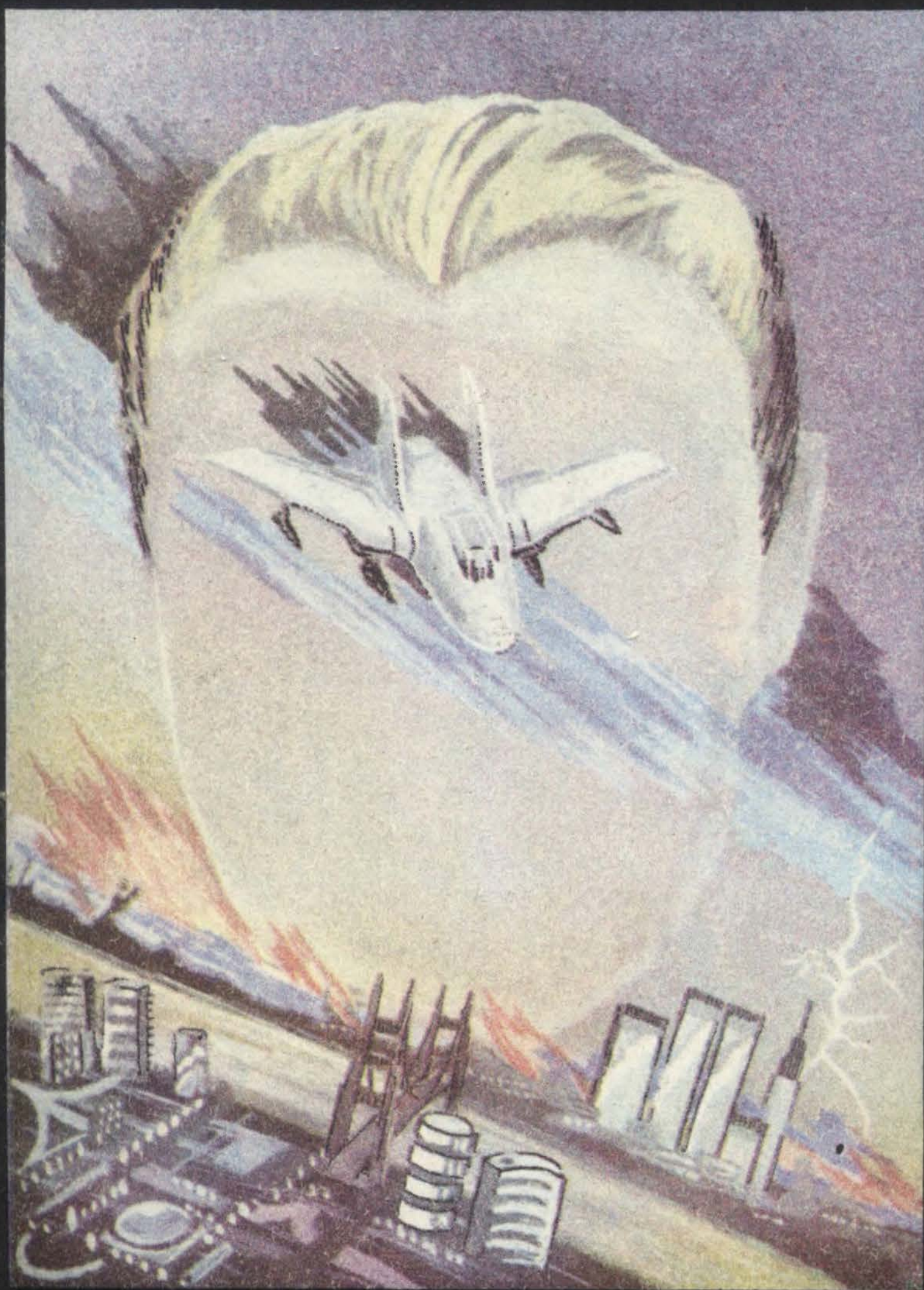


НФ

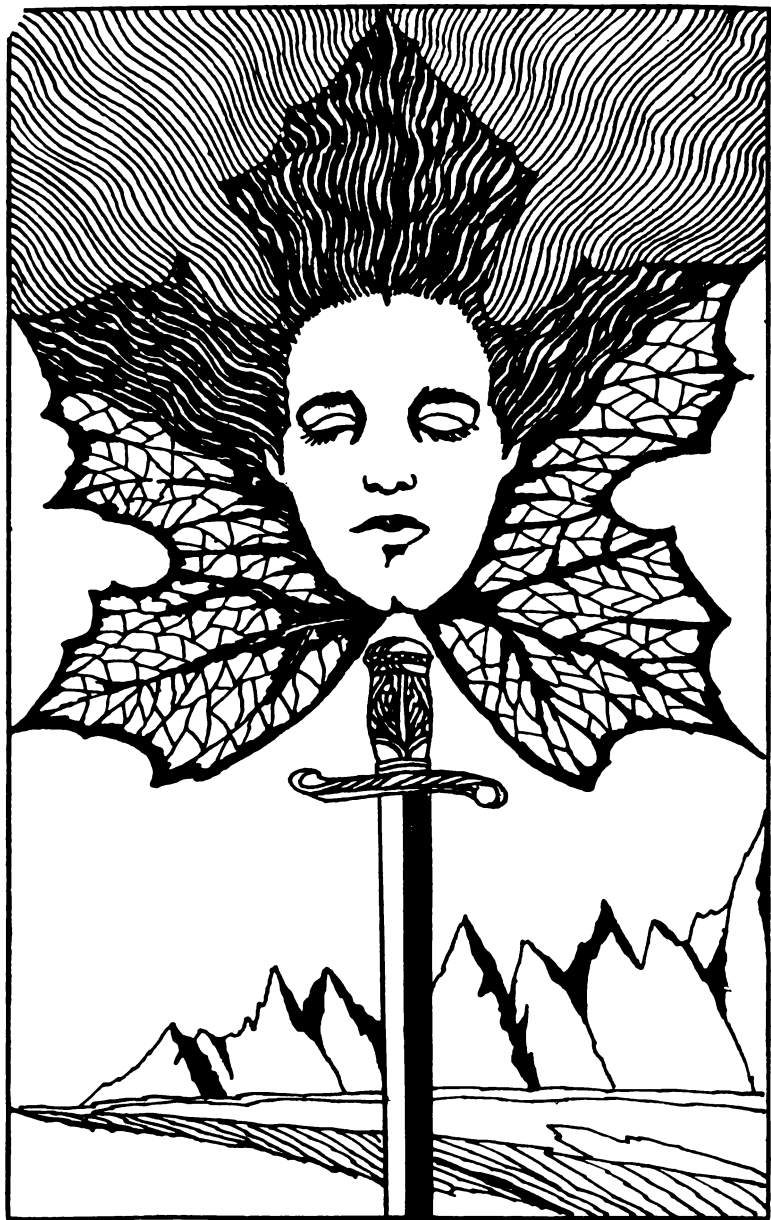
СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 36



СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 36





СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 36

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ» МОСКВА 1992

ББК 84Р7-4
С23

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Э. А. Араб-оглы
И. В. Бестужев-Лада
Е. Л. Войскунский
Вл. Гаков
Г. М. Гречко
В. П. Демьянов
М. Б. Новиков
Е. И. Парнов

С23 Сборник научной фантастики. Вып. 36/Сост.: В. А. Ревич — М.: Знание, 1992. — 208 с.

В сборнике читатель найдет научно-фантастические произведения разных направлений и жанров. В нем участвуют как признанные мастера советской фантастики, так и начинающие авторы.

В разделе «Публицистика» помещена статья о творчестве английского писателя Джона Роналда Руэля Толкина.

Рассчитана на широкий круг читателей.

С $\frac{4703000000 - 020}{073[02] - 92}$ 56 — 92

ББК 84Р7-4

© Ревич В. А., 1992 г.

САПОЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Если ловить рыбу, осушив поток, улов будет богатым, но на следующий год рыба исчезнет. Если охотиться, выжигая леса, добыча будет обильной, но на следующий год дичи не станет.

ВЕСНА И ОСЕНЬ ЛЮЯ. Китай,
III в. до н. э.

Долгие годы в городе Великий Гусляр был только один ресторан — при гостинице. Он пользовался сомнительной славой, потому что туда, как бывает в небольших провинциальных городах, никто не ходил питаться, а ходили гулять. Правда, порой белыми воронами возникали в нем гостиничные постояльцы. Они хотели кефира и яичницы — а получали бифштекс и сто граммов коньяка.

Два года назад положение изменилось, потому что открылся новый ресторан, ресторан-баржа, при общежитии для туристов. У ресторана было игривое название «Гусь лапчатый», и он был оформлен в русском стиле. На стенах трюма висели прялки, грабли и чеканенные по меди домашние животные. Здесь туристов кормили комплексными обедами, в днище баржи стучала вода, и если поднимался ветер, баржу слегка покачивало. За рекой начинались дремучие леса — место было романтическое, и там можно было проводить время, а не только гулять.

Сюда директор кожевенного завода пригласил милого, еще молодого, склонного к полноте и романтике Мирона Ивановича, городского архитектора, на обед. Обед должен быть приятным, но деловым, а дело было деликатным. Завод строил корпус заводоуправления, рядом положено быть проходной и стоянке для машин.

На месте стоянки и проходной торчала и всем мешала старая развальных-часовня, которую занимала сапожная мастерская. Часовню надо было снести, но мешала общественность во главе с Еленой Сергеевной, директоршей городского музея. Сейчас директорша уехала в отпуск, и надо было снести развалюху, пока она не вернулась.

— Я же не против,— Мирон Иванович и не скрывал своей позиции.— Часовня вылезает на мостовую, мешает движению.

— Не только мешает, а нарушает,— говорил директор завода, сводя к переносице схожие с черными мохнатыми гусеницами брови.— Нарушает общий вид твоего проекта. Ну представь себе, ты же творческий человек, что останется от вида, если она будет высовываться? Ты кушай рыбку, Мирон, хорошая рыбка. Ничего, что я к тебе попросту?

Завод был намерен построить два типовых дома, Мирон Иванович их привязывал к местности и рассчитывал на квартиру в одном из них. Житейская история. И часовня была обречена, ничто ее уже не могло спасти. Есть маленький город, в нем относительно крупный завод, городу завод нужен. К тому же эстетический момент тоже играл роль — городу хотелось иметь новое здание из стекла и сборного железобетона.

— Спасибо, рыбка вкусная,— отвечал Мирон Иванович.— Архитектурной ценности часовня не представляет. Я осматривал.

— Видишь, даже осмотрел,— сказал заместитель директора, при первом же взгляде на которого было ясно, что он шалун и страстный рыбак.— Значит, проявил ответственность. А что ты завтра делаешь, в субботу?

— Не планировал,— ответил Мирон Иванович.

— Завтра нас Степанцев на рыбалку зовет. Присоединись?

Мирону Ивановичу, человеку в городе сравнительно новому, было приятно общаться с городской элитой.

— Я, честно говоря, совсем не имею опыта,— сказал Мирон Иванович.

— А мы рыбку с собой возьмем,— засмеялся директор густым голосом.— Степанцев свинными шашлыками обеспечит.

Степанцев был заведующим свинофермой.

Мирон Иванович глядел на своих собеседников, и ему было приятно. И от несильного опьянения, и от забавных мыслей, которые неожиданно посещали его. Например, мысль о том, что Степанцев, директор свинофермы, который пригласил их на рыбалку, совсем не похож на заведующего свинофермой. А похож на писателя Гоголя и даже пишет стихи. А директора завода зовут в область, на новый пост, а он всем говорит: «Лучше первым парнем на деревне, понимаешь?»

Они выпили еще, за прогресс. Заместитель директора сказал, что, будь он архитектор, он бы половину города снес. Эти подслеповатые хибары, в которых жили купцы, только портят пейзаж. Директор не дал Мирону Ивановичу возразить, он сам ответил.

— Ты что же думаешь, Сергей,— сказал он.— Туристы едут с разных концов нашей родины только чтобы твоим заводом полюбоваться? Им дорога история.

— Правильно,— поддержал директора Мирон Иванович.— Вы в самую точку попали. Я потому и согласился поехать в Великий Гусляр, что здесь удивительное сочетание старины и новизны. Мы должны сохранять память о культуре. Это живая нить.

— Живая нить на живую нитку,— пошутил заместитель.

Мирон Иванович заметил краем глаза, что за соседним столиком сидит девушка в голубом платье, одна, и прислушивается к его словам. Незаметно для себя он повысил голос.

— Отсюда уходили на восток землепроходцы, которые несли память о Великом Гусляре к берегам Камчатки и Ледовитого океана.

Директор не смог более терпеть — ему тоже хотелось сказать. Он остановил Мирона Ивановича мягким, но властным движением ладони и подытожил:

— Туристы едут с разных сторон нашей родины, не только чтобы нашим заводом полюбоваться. Им дорога и история.

Тут заместитель директора догадался, что можно уточнить. И он сказал, тоже подняв ладонь, мягко, но решительно, чтобы Мирон Иванович не вмешался:

— Но им дорог и наш завод. Потому что это — завтрашний день Великого Гусляра. Им будет чем любоваться.

Мирон Иванович взглянул на девушку в голубом. Она смотрела на него.

— С другой стороны! — решительно произнес он.

Но тут директор снова остановил его движением ладони, которого Мирон Иванович не мог ослушаться, и добавил:

— Но это не исключает.

После этого Мирону Ивановичу нечего было добавить.

В голове приятно шумело, и захотелось покурить. Но курить в трюме баржи нельзя, а спутники его были некурящими, так что он извинился и пошел наверх, на палубу, где был прибит железный лист и стояло ведро для окурков.

Мирон Иванович стал глядеть вниз по реке. Вечерело, оттудатагнуло сырым еловым воздухом, и он представил себе, как завтра рано утром они поплывут на катере к Веселому омуту. Надреккой будет подниматься утренний туман, а потом они будут есть шашлыки и весело беседовать.

И тут он уловил движение у поручней. Он быстро поглядел в ту сторону и увидел, что девушка, та самая, взгляд которой он перехватил в ресторане, стоит совсем близко. И в этом не было ничего удивительного, потому что бывают счастливые вечера, когда все в жизни получается, когда судьба идет тебе навстречу, даря славных собеседников и неожиданную щемящую встречу.

— Вы курите? — спросил Мирон Иванович, обычно крайне стеснительный с девушками. Но сейчас в нем жило глубокое убеждение, что девушка вышла на палубу именно из-за него, что она ждет, когда он осмелится к ней обратиться, и не возмутится такой прямоте.

— Нет, спасибо, — сказала девушка, — я не курю.

— Душно стало? — спросил Мирон Иванович, смело разглядывая девушку и удивляясь ее тонкости, изяществу, хрупкой и угловатой линии плечей и рук, светящейся в полутьме голубизне платья, а главное, естественной воздушности небрежно парящих над плечами русых волос.

— Нет, — ответила девушка, поглядев на него в упор, и Мирон Иванович осознал ее глаза — они раскрылись навстречу ему, голубые, а

может, серые, но впитавшие в себя отблески бесцветного сумеречного неба, большие и доверчивые.

— А почему? — вдруг защекотало в груди.

Она должна сейчас ответить, и от этого ответа в его жизни все может перемениться — то был момент сладкого страха, вызвавшего такую слабость в ногах, что Мирон Иванович быстро выкинул сигарету за борт и вцепился в поручень.

— Я вышла вслед за вами.

— А,— сказал Мирон Иванович.

Стеснение и щекотание в груди не прошло, а усилилось, но никакого ответа он придумать не смог.

— Мне надо с вами поговорить,— сказала девушка и чуть приблизилась к нему, можно было протянуть руку и дотронуться до ее тонких пальцев. Но конечно, Мирон Иванович не посмел этого сделать.

Мирон Иванович молчал. Девушка заговорила тихо, как будто они были на свидании, когда близко злые любопытствующие уши и нельзя им открыться.

— О чем... поговорить?

— О вас, Мирон Иванович.

— А вы откуда знаете, как меня зовут?

— Я вас увидела еще вчера,— сказала она,— и узнала ваше имя.

Трап, ведущий на палубу, заскрипел, кто-то поднимался. Девушка еще тише, настойчивее, чем прежде, сказала:

— Я вас буду ждать на берегу. Не спешите, я дождусь.

На палубу поднялся заместитель директора.

— Ты здесь,— сказал он,— а я уж решил, что утонул.— Он подошел к Мирону Ивановичу, обнял его за плечо мягкой несильной рукой.— Пошли вниз. Директор хочет тост сказать.

Девушки на палубе не было.

Мирон Иванович вырвался из дружеской компании только через полтора часа. Мирон не мог сказать старшим товарищам, что у него свидание с девушкой, имени которой он не знает. Впрочем, для себя он не называл встречу с девушкой свиданием — это было не свидание, а нечто высшее — как юношеская мечта.

Он извелся за последний час, потому что официантка не спешила со счетом, а директор желал, чтобы к кофе принесли ликер, которого в ресторане не было.

После каждой досадной задержки Мирон Иванович представлял себе, как девушка смотрит на часы и уходит, растворяется в синей тьме, навсегда. Она же не местная! Мирон Иванович работает здесь второй год, но никогда ее не видел. Может, приехала к кому-нибудь на студенческие каникулы? Или туристка?

На выходе из трюма висело зеркало, и пока его спутники получали в гардеробе шляпы, он украдкой поглядел на себя. Обычно он не пере-

оценивал своих мужских качеств и зеркал не замечал. Но сейчас посмотрел, даже расправил плечи и убрал недавно приобретенный животик. И тут же пожалел, что поддался слабости.

На берегу Мирон Иванович покрутил головой, стараясь увидеть девушку. На высокий берег тянулась деревянная лестница. Наверху горели огоньки окраинных домов, по откосу росли кусты — но девушки нигде не было. Мирон Иванович огорчился и чуть не дал отвезти себя домой на директорской машине. Но наверху лестницы он вдруг заупрямился и заявил, что пойдет домой пешком.

— Ладно,— сказал директор,— гуляй, пока молодой, в машине еще неездишь.

Заместитель директора засмеялся этой шутке.

Машина уехала, Мирону Ивановичу не хотелось уходить, надо было справиться с разочарованием. И тут он услышал голос:

— Вы заставляете себя ждать.

— Ой,— обрадовался Мирон Иванович.— Неужели вы меня дождались? Я этого даже не ожидал. Знаете, это как... как небо в алмазах.

— Преувеличение,— сказала девушка, и в ее голосе Мирон Иванович уловил улыбку.— Вы меня проводите?

— Если бы вы знали,— сказал Мирон Иванович доверчиво,— как было трудно уйти. Вы поймите меня правильно. Они такие милые люди, а иногда чувствуешь необходимость общения.

— Милые? — сказала девушка, будто в сомнении.

Она пошла по набережной, Мирон Иванович в два шага догнал ее и стал размышлять, имеет ли он моральное право взять ее под руку или это будет нетактично.

— Вы их не знаете? — сказал Мирон Иванович.— Вы местная?

— Нет.

— А как вас зовут? А то получается смешно, вы меня знаете, а я вас нет.

— Меня зовут Таней,— сказала девушка.

— Вы на каникулы приехали?

— Простите, Мирон Иванович,— сказала девушка,— но разговор сейчас не обо мне.

— Конечно,— согласился Мирон Иванович и вдруг понял, что ему нельзя взять девушку под руку — что-то в ее голосе запретило ему это сделать.

— О чем же? — спросил он.

— Разговор пойдет о ваших ошибках,— сказала девушка.

— Правильно,— согласился Мирон Иванович.— Грешен. Ошибался.

— Вы еще можете исправиться,— сказала девушка.

— Надеюсь,— сказал Мирон Иванович и взял девушку под руку.

Та освободила руку, без враждебности, но очень равнодушно, словно смахнула бабочку.

— Я весь внимание,— сказал Мирон Иванович, совсем не обидевшись.

— Сегодня вы наконец-то решились снести часовню.

— Часовню? А, часовню? Это непринципиально.

— Вам ее не жалко?

— Жалко,— сказал Мирон Иванович.— Очень жалко. Она такая милая. Чудесная часовня. Но мешает движению.

— Так вот, Мирон Иванович,— сказала девушка.— Часовню мы вам снести не дадим.

— Ну и отлично,— согласился Мирон Иванович. Ему совсем не хотелось ссориться с девушкой.— А у вас платье так нежно светится. Как вы этого добиваетесь?

— Вы меня поняли?

— Я вас понял. Пускай стоит.

— Значит, вы ничего не поняли. Вы отлично знаете, что в понедельник, пользуясь вашим потворством, директор завода часовню снесет. А вы потом, когда придет Елена Сергеевна или когда к вам прибегут возмущенные пенсионеры, разведете руками и будете отчаянно доказывать, что часовни и не было, а если была, то никому не нужная.

— Не было? А может, «кальчика и не было? — Мирону Ивановичу эта мысль понравилась. Он даже засмеялся. Потом сказал:

— А Елену Сергеевну вы тоже знаете? Чудесная женщина. Такая патриотка. На пенсию ей пора.

— Елена Сергеевна вам мешает,— согласилась задумчиво девушка.— И очень хорошо делает.

— Нехорошо,— сказал Мирон Иванович.— Она стоит на пути прогресса. Безобразие какое-то. Такая чудесная, а стоит на пути прогресса.

Они вышли на замощенную часть набережной. Одноэтажные домики, глядевшие на речку маленькими, светящимися голубым телевизионным светом глазками, кончились. Пошли дома каменные, двухэтажные. Пока они еще стояли редко — потеснее они столпятся у центра, за гостинными рядами. С речки тянуло холодком, комары не приставали, набережная была совсем пустой, никто не гулял, потому что по телевизору показывали третью серию французского фильма о любовных связях Берлиоза.

Они миновали церковь Святого духа, повернули на Гоголевскую улицу. И тогда Мирон Иванович понял, что они гуляют не без цели, а приближаются к часовне. Ему показалось, что приход сюда был его инициативой, и потому он сказал:

— Вот о ней мы и спорили. Никакой ценности, а углом вылезает на улицу.

Купол часовни давно исчез, она была крыта двухскатной железной крышей и покрашена в желтый казенный цвет. Над дверью, сохранившей еще следы лепнины, была прибита вывеска: «Мастерская по ремон-

ту обуви». А по сторонам двери, у маленьких окошек, были прикреплены щиты, где были изображены всякие виды обуви и написано: «Ремонт срочный и в течение недели». Часовня вылезала углом на проезжую часть, потому что построили ее, когда улица была куда уже. За часовой начинался забор, за которым стоял кран,— там была строительная площадка заводууправления. Фонарь, горевший на вершине крана, казался звездочкой.

— Я вам честно скажу, Таня,— произнес Мирон Иванович,— у меня есть тщеславие. Вы думаете: вот архитектор, наверное, неудачник, живет в городишке, черт знает где,— это неправильно. Я, как настоящий полководец,— я ношу в сумке маршальский жезл.

И Мирон Иванович похлопал себя по карману пиджака.

— А зачем? — спросила девушка.

Они стояли перед сапожной мастерской, порывы ветра дергали край плохо прикрепленной вывески, и та мелко дрожала, а иногда била по штукатурке.

— Другие мои сверстники, даже более талантливые, просиживают штаны в больших душных комнатах столичных мастерских, воплощая чужие идеи. В тридцать, в сорок лет они остаются мальчиками на побегушках. А ради чего? Чтобы перейти площадь и попасть в зал Чайковского на симфонический концерт? Нет, я хочу всегда быть первым. Сегодня в Великом Гусляре, завтра в области. И я вернусь в Москву — победителем!

— Я сделаю все, чтобы так не случилось,— сказала девушка.

Мирон Иванович не понял, надо ли улыбнуться или обидеться, но предпочел улыбнуться, хотя улыбка вышла неуверенной.

— Если вы решили оставить меня здесь, потому что сами остаетесь, я не возражаю,— сказал он и снова протянул руку, но Таня сделала маленький шаг в сторону, будто ветер отнес ее как лепесток. Рука Мирона Ивановича повисла в воздухе, потом он указал ею на часовню и сказал:

— Что есть стоило снести сто лет назад? Никто бы не возмущался, никто бы не бил в барабаны общественности. Старое должно уступать дорогу.

— Чему?

— Новому.

— Вот этому? — Таня показала на забор, за которым спал подъемный кран.

— Именно. Хотите посмотреть? Там уже вышли на нулевую отметку.

— Нет, не хочу,— сказала девушка.— Мне некогда.

— А я думал, что мы гуляем.

— Это вы гуляете.

— Странно. Самое удивительное свидание, которое было в моей жизни.

— Теперь послушайте меня,— сказала Таня.— А то вы все говорите, а дело не движается.

— Пожалуйста,— согласился Мирон Иванович.— Пойдемте тогда в сквер. Там лавочки.

— Что вы знаете об этой часовне? — спросила Таня, будто и не слышала приглашения.

— Старая,— сказал Мирон Иванович серьезно, так как вопрос был задан серьезно.— Если что и было, то ничего не осталось. И очень нам мешает.

— Эта часовня,— Таня подошла к ней поближе и дотронулась до обрамления узких окошек,— одно из первых каменных зданий такого рода на севере России. Построена она в четырнадцатом веке. Уже поэтому она уникальна. Это самое старое каменное здание в городе.

— Вы архитектор или историк? — спросил Мирон Иванович.

— Я генетик,— ответила Таня.— Часовню, конечно, перестраивали, но внутренний план и стены, к счастью, полностью сохранились. Зайдите внутрь.

— Нельзя,— сказал Мирон Иванович.— Заперто. Там чужие ботинки лежат.— И он тихо засмеялся.

— Нам с вами не нужны чужие ботинки,— строго возразила девушка. Она подошла к двери, что-то сделала с замком, и дужка его послушно отвалилась. Таня вынула дужку из скобы и отворила дверь. Дверь тяжело закрипела, и Мирон Иванович вдруг захотел убежать, потому что никогда еще не взламывал дверей.

— Таня! — прошептал он.— Не надо!

— Заходите,— сказала Таня, войдя в сапожную мастерскую и уверенно зажигая свет, как зажигают вернувшись домой.

Часовню пополам разделяла стойка, по эту сторону стояли стулья для тех заказчиков, которые в ожидании срочного ремонта сидят, поджав под себя ноги или поставив носки на газеты, расстеленные на полу. За стойкой были видны два станка, рабочие столы сапожников и во всю заднюю стену — полки с ячейками. В ячейках, выставив носки наружу, стояли парами ботинки и туфли. Мирону Ивановичу приходилось здесь бывать, но только днем, когда заходил починить ботинки. Тогда здесь было шумно,людно, сильно пахло лаком и кожей. Сейчас почему-то даже запахи сапожной мастерской куда-то исчезли.

— Таня,— сказал Мирон Иванович,— там на стройке есть сторож. Он услышит, и будет неприятности.

— Посмотрите на потолок. Видите эти своды? — сказала Таня.

Мирон послушно посмотрел вверх и подумал, что потолок давно пора покрасить. Он в самом деле был сводчатым, и в плавных линиях его была неправильность, будто его не выкладывали из кирпичей, а лепили из глины.

— Таня,— сказал Мирон Иванович,— давайте там, в сквере, поговорим.

При ярком свете лампы Таня была куда менее романтичной, чем в ресторане или на улице. И глаза у нее оказались меньше, чем десять минут назад. И в движениях девушки была какая-то сухость, точность, словно яркий свет сорвал с нее вуаль и ограничил ее в пространстве жесткими линиями. И платье не светилось. Обычное голубое платье.

— Под моими ногами,— сказала Таня, топнув по истертым, крашенным в шоколадный цвет доскам пола,— на глубине полуметра находится настоящий пол часовни. Он представляет собой мозаику. Уникальную мозаику конца четырнадцатого века. Это вам что-нибудь говорит?

— Я ухожу,— сказал Мирон Иванович.

— Сейчас пойдем, не волнуйтесь. Сторож спит. А если снять все эти слои белил и штукатурки со стен, то вы увидите чудесные фрески, повествующие о жизни Николая Мирликийского. А почему именно Николая?

— Ума не приложу,— сказал Мирон Иванович, глядя на голубые стены, покрашенные масляной краской до уровня груди.

— Потому что Николай-угодник — покровитель моряков и путешественников. А эта часовня была знаменита тем, что именно сюда приходили те отважные путешественники, что отправлялись в путь из Великого Гусляра в Сибирь или на Камчатку. Здесь они просили покровительства у святого. Здесь они проводили последние минуты. Неужели у вас не дрогнуло сердце?

Мирон Иванович пошел к двери и, выйдя, вкусил свежий ночной воздух, пропитанный ароматом цветущей липы, закурил, глядя на синее звездное небо. Ему было грустно, потому что лучше бы он поехал на машине вместе с директором завода, посидели бы у него, поговорили. Любая романтика не выдерживает яркого света, сказал он себе. И это очень обидно. Не хватало еще очередной краеведши, которая решила обольстить архитектора ради никчемной часовни.

Он услышал, как Таня запирает часовню.

— Давайте я вас провожу домой,— сказал он скучным голосом.

— Лучше я вас провожу,— ответила Таня так, что Мирон Иванович сразу подчинился и даже обрадовался такому предложению, потому что ему очень хотелось домой, и он уже боялся, что не успеет выспаться перед завтрашней рыбалкой.

Они пошли по улице, и Таня шла уверенно, словно знала, где живет Мирон Иванович. Впрочем, он не удивился бы теперь и этому — в Тане была очевидная, никак не связанная с романтикой цель, и эта цель была неприятна Мирону Ивановичу. Он шел на некотором расстоянии от Тани, как бы подчеркивая, что не испытывает к ней никакого влечения, а если ей и показалось что-то ранее, то это была ошибка.

— У меня такое впечатление,— сказала Таня,— что я вас не убедила.

— В чем?

— В том, что часовню нельзя сносить.

— Почему нельзя? Потому что вы придумали сказку о мозаичном поле и каких-то фресках? Я могу такое придумать про любую развалину в этом городишке.

— Елена Сергеевна еще не все знает об этой часовне, но она уже нашла документы о ее освящении.

— Елена Сергеевна найдет любые документы,— Мирон Иванович старался не раздражаться,— потому что ее святая цель превратить Великий Гусляр в мертвый музей, куда бы приезжали оголтелые туристы, ахали и щелкали аппаратами.

— Почему же оголтелые?

— Да потому что турист у себя дома живет в нормальном высотном доме, пользуется водопроводом и ездит по широким улицам. Ему и в голову не приходит, что здесь тоже живут люди, не менее его склонные к комфорту и прогрессу.

— Кто вам мешает строить дома не на месте старых, а в стороне?

— А вам известно, Танечка (слово «Танечка» было лишено всякой ласки, оно было куда официальнее нежного — «Таня»), что такое коммуникации? Вам известно, сколько стоит городское строительство, вы слышали что-нибудь о транспорте? Знаете что,— наконец-то Мирону Ивановичу удалось распалить себя справедливым негодованием,— занимайтесь своей генетикой и не мешайте тем, кто строит вам дома. Если каждый будет лезть в чужие дела, мы ни черта не сделаем!

— Это не чужое дело,— сказала Таня и чуть улыбнулась при этом.— Это наше общее дело.

— Если вы намерены читать мне лекцию, можете сэкономить время и усилия. Я все читал. Я все знаю. Я не меньше вас берегу природу и культурное наследие. Но нельзя же держаться за это культурное наследие, как за соску. Мы выросли из колыбели!

— Ах вот вы какой! — сказала Таня заинтересованно.— А на вид кажетесь мягким, даже растяпой.

— Спасибо.

— Вы знаете, что будет на месте этой часовни?

— Знаю. Стоянка для автомобилей. К тому же мы наконец-то сможем спрямить улицу.

— А палаты, которые стояли раньше за часовней, вы уже снесли.

— Какие, к черту, палаты? Там стоял барак.

— Не надо мне врать,— сказала Таня учительским голосом.— Вам удалось их снести, потому что вы вместе с вашими новыми друзьями смогли доказать, что реставрировать их обойдется дороже, чем построить заново. И вы победили Елену Сергеевну.

— Вот видите! — сказал Мирон Иванович.

Такая осведомленность девушки была безобразной, потому что решение о сносе каменных барачков, которые Елена Сергеевна упорно именвала палатами, не было обнаружено.

— Ну вот и ваш дом,— сказала Татьяна.

Они дошли до трехэтажного типового дома, в котором у Мирона Ивановича была небольшая квартира. А он и не заметил, как дошли.

— Тогда спокойной ночи,— сказал Мирон Иванович.

— Может, посидим на скамеечке? Или вам уже расхотелось?

— Мне спать пора.

— Чтобы завтра браконьерствовать?

— Не надо громких слов. Завтра мы едем на рыбалку.

— Знаю я эту рыбалку,— сказала Таня и села на скамеечку.— Садитесь.

— Нет.

— Я вам сказала — садитесь! Пока вы надеялись, что будете со мной целоваться, вы куда-то не спешили.

— Пять минут,— сказал Мирон Иванович.

Он сел.

— Знаете что,— сказала Таня,— если вы согласитесь не сносить часовню, я вас поцелую. Честное слово.

— Дешево цените мою принципиальность,— сказал Мирон Иванович.

— Да поймите же, принципиальный архитектор. Я знаю куда больше вас. Я знаю, что часовню вы не снесете, мы вам этого не позволим. Я знаю, что вы не поедете завтра на рыбалку, потому что в шесть утра вам позвонит этот толстяк — ну как его, заместитель директора, и все отменит.

— Не думайте, что вы меня заинтриговали.— Мирон Иванович в самом деле не был заинтригован. Он клял себя за слабость — надо было сразу резко сказать ей — уходи! — и уйти.

— Я не интригую. Неужели вы думаете, мы будем тратить время и силы, для того чтобы я сидела с вами на лавочке или гуляла под луной?

— Тогда идите спать.

— Последний раз обращаюсь к вашему разуму — спасите часовню.

— Глупости. Часовня нам мешает. Она никому не нужна. Мы возводим города будущего, башни из стекла и сборного бетона.

— Я вам гарантирую, что эта часовня переживет ваши шедевры из сборного бетона, потому что они, в сущности, временки. Стандартные временки, собранные за неимением лучшего. Пройдет совсем немного времени, и строительство снова станет созданием прекрасного.

— У нас с вами разные вкусы.

— Не сравнивайте, потому что у вас нет никакого вкуса. Откуда быть вкусу у человека, лишенного корней?

— Все,— сказал Мирон Иванович.— Мне это надоело.

— Если бы вы знали, как вы мне надоели,— сказала девушка.— Ведь такие убогие люди, как вы, думающие только о сегодняшней выгоде, о том, чтобы посидеть в ресторане с заказчиком и выполнить план,— это они снесли в этом городе шесть церквей, гостинные ряды и не счесть сколько старых домов, созданных людьми, которые знали, что такое красота.

— Зачем же обвинять меня в перегибах тридцатых годов? — удивился Мирон Иванович.— Это нечестно. Я сам выступал за реставрацию крепостной башни.

— К счастью, ваше поколение — последние истребители русской культуры.

— Вы надеетесь, что придут другие? Лучше?

— Я убеждена.

— Что ж, подождем,— сказал Мирон Иванович.— Спокойной ночи.— Он не знал, надо ли прощаться за руку, потом решил, что не надо, кивнул и пошел к подъезду.

Таня догнала его в дверях.

— Погодите,— сказала она.— Я вам только покажу один снимок. Надеюсь, это останется между нами.

Она протягивала ему цветную фотографию размером в открытку. В подъезде было светло, и Мирон Иванович явственно разглядел картинку — небольшую приземистую белую церквушку, с куполом, двумя узкими стрельчатыми, в глубоких нишах, окошками и низкой дверью под тяжелым, будто витым из ветвей порталом.

— И что? — спросил он.

— Это она,— сказала Таня.— Нравится?

Мирон Иванович сразу догадался, что если иначе сделать окна, восстановить портал да еще восстановить барабан и купол, то из сапожной мастерской получится памятник архитектуры.

— Пришлось снять метр земли,— сказала Таня,— ведь культурный слой здесь довольно толстый — зато сразу изменились пропорции, правда?

Мирон Иванович заметил, что за часовней, там где должен возвышаться корпус заводууправления, видны только зеленые деревья.

— Липа,— сказал он уверенно.

— Почему?

— Здания нет. Рисуете, так соблюдайте историческую правду. Где заводууправление?

— Снесли, пока совсем не развалилось.

— Снесли? В прошедшем времени?

Почему-то Мирон Иванович подумал о том, какие тонкие в доме стены, и соседи услышат, как он поздно вечером беседует с девушкой, причем на странные темы. Поэтому конец вопроса он произнес шепотом.

Девушка ничего не сказала, в руке у нее было еще две фотографии. Одна изображала какой-то довольно грубый орнамент, вторая — белесую картинку с наивными волнами и кораблем, полным примитивных человечков.

— Это мозаичный пол,— сказала девушка,— и фреска. Как видите, я вас не обманывала.

— Я не знаю, зачем вы все это нарисовали,— сказал шепотом Мирон Иванович,— но на мое решение эти фальшивки не окажут никакого влияния.

Он чувствовал себя оскорбленным судьбой заводоуправления. Со всем неплохое получилось здание, с просторными кабинетами, столовой, залом заседаний — такое здание не стыдно построить и в крупном городе.

— Это не фальшивки,— сказала Таня,— фотографии.

— Тогда они не могут существовать.

— Почему?

— А когда же, простите, их сделали? Где, простите,— Мирон Иванович не скрывал сарказма,— вы увидели купол над сапожной мастерской?

— Через сто двадцать лет,— сказала Таня.

— Элегантно.

— Эти фотографии будут сделаны через сто двадцать лет.

Неестественность и в то же время окончательность этого ответа заставила Мирона Ивановича забыть, что он не хочет терять ни минуты на пустые разговоры. Если допустить совершенно невероятное, если счесть, что ты не жертва дурного розыгрыша, а очевидец невероятного события... впрочем, в самом облике этой девушки с самого начала виделось нечто неземное и совершенно необыкновенное, иначе почему Мирона Ивановича, человека сдержанного и никак не влюбчивого, потянуло к ней, как мотылька к яркому свету?

И пока эти спутанные и неосознанные мысли прыгали в мозгу, как кузнечики в высокой траве, Мирон Иванович так и стоял с фотографиями, не желая глядеть на них и в то же время не смея поднять глаз на Таню, и потому Архипов, его сосед по этажу, который в этот поздний час шел из гостей, очень удивился, столкнувшись с городским архитектором в слишком юной компании, и вынужден был подвинуть Мирона Ивановича, так как тот не ответил на приветствие и был похож на человека, парализованного горем.

Когда Мирон Иванович привел в порядок мысли и поднял голову, Архипов уже прошел к себе в квартиру, кинув сверху лестничного марша оценивающий взгляд на Таню.

— Что же вы предлагаете? — спросил Мирон Иванович.

— Не сносить часовню.

— Но ведь ее и так не снесут.

— Правильно. Но мы еще не знаем, какой ценой.

Таня поглядела в пустые от шока глаза Мирона Ивановича, взяла его за руку и вывела в летнюю ночь. Мирон Иванович покорно сел на лавочку.

— Я отказываюсь понимать, — сказал он наконец, возвращая фотографии.

— Вы все понимаете.

— Так чего же вы раньше ждали?

— Все очень просто — мы на пределе проникновения.

— Проникновения к нам? — догадался Мирон Иванович.

— Да, глубже мы опуститься в прошлое не можем — сто двадцать лет — предел.

— И вы столько всего упустили?

— Сегодня нас очень мало, — сказала Таня. — Единицы. Завтра будет больше. Пока на это уходит три четверти энергии всей Земли.

— Ну зачем так много! — потрясение боролось с недоверием в душе Мирона Ивановича.

— Неужели вы не поняли? Мы живем в мире, который сделан вами. Сделан вами вчера и сегодня. Построен или разрушен. Облагорожен или загажен. Если мы можем остановить дурное — мы будем это делать. Завтра, послезавтра, каждый день. Сегодня — один из самых первых дней.

Таня положила узкую ладонь на руку Мирона Ивановича, как бы успокаивая его.

— Вы не волнуйтесь, — сказала она. — Мы вообще стараемся не говорить людям прошлого. Но вы были такой упрямый.

— Впрочем, эта часовня — пустяк, — оживился Мирон Иванович. Он вдруг не только поверил — внутренне, искренне, окончательно, что именно его избрали в качестве интеллигентного доверенного собеседника, но и понял, что они поступили верно. — С ней вы справитесь. Я вам должен сказать, что есть куда более важные проблемы. Беспрерывно загрязняются водоемы, леса — знаете, как идет рубка и сплав леса? А загрязнение атмосферы? Вам же этим надо дышать. Или вы занимаетесь только культурой?

— Мы занимаемся всем.

— Вот вы и займитесь. Это не терпит отлагательства.

— Мирон, милый, — сказала Татьяна, и глаза ее светились ярче голубого платья. — Вы, по-моему, не все поняли. Мы вам не няньки. Мы — это вы — только завтра. Не нам, а вам надо остановиться и не травить себя и нас.

— Конечно,— сказал Мирон Иванович.— Разумеется. Это очень точно о нашей общей ответственности.

— Я тут всего несколько дней, и меня, честно говоря, потрясает пропасть между благими пожеланиями и вашими каждодневными действиями. Вы все согласны не губить лесов и не травить рек. Вы все согласны не сносить древних памятников и не кидать в траву консервные банки. Но когда это касается именно тебя, когда ты совершенно один и никто не видит и не может схватить тебя за руку — почему ты кидаешь консервную банку и глушишь рыбу динамитом? Почему?

Мирон Иванович держал в руке окурок, который он намеревался бросить в кусты. Окурок жег пальцы, но бросить его было как-то неловко.

— Рыбу я не глушу,— сказал он, поджимая, чтобы не обжечь, пальцы. Он понял, что надо спешить. Таня уйдет. В любой момент. Ей Мирон не нужен. Добьется своего и уйдет.— Мне надо узнать, я никому не скажу. Пожалуйста, в виде исключения. Я, конечно, понимаю, что заводоуправление сто лет не продержится. Материалы оставляют желать лучшего. Но ведь в будущем я перейду на монолит. У меня есть кое-какие задумки. Мне очень важно знать, что я осуществляю. Скажи, пожалуйста.

Сигарета обожгла пальцы, и Мирон Иванович кинул ее в кусты.

— Я только знаю, что заводоуправление снесут. Это еще до меня случится. А больше я ничего не знаю.

— Жалко,— сказал Мирон Иванович.— Впрочем, архитекторов везде забывают. А часовню будем беречь.

— Хорошо,— сказала Таня.— На той неделе вы вступите в общество охраны памятников. Не формально, а как его активный член.

— Разумеется,— сказал Мирон Иванович.— Можно личный вопрос?

— Я не замужем.

— Нет, я про часовню. Понимаете, я здесь человек относительно новый, и мне, скажем, не всегда легко вжиться, здесь уже свои отношения... — Мирону Ивановичу показалось, что наверху приоткрылось окно. Может, кто-то подслушивал. Он опять перешел на шепот.— Вот вы мне показали фотографии, и это означает, что часовня обязательно сохранится. И доживет до ваших дней. Мне лично это очень приятно. Но если в этом есть уже определенность, как бы закон вечности,— можно мне в этом не участвовать?

— Как так?

— Лично не участвовать. Представьте себе, мы сегодня так хорошо посидели с моими заказчиками, с ними мне и дальше придется работать: завод в городе — это сила. А если я завтра приду и скажу им, что я отказываюсь, потому что ко мне пришла одна девушка из будущего...

— Этого вы никогда не скажете. Вам не поверят и правильно делают. Вы объясните, что как городской архитектор...

— Погоди, Танюш, пойми — если все равно эта проклятая сапожная мастерская сохранится, то, значит, мне можно ничего им не говорить?

— Ах вот вы о чем! — Таня так громко это сказала, что Мирону Ивановичу захотелось зажать ладонью ее пухлые губы. — Значит, я в принципе за, но сам ради этого пальцем не пошевельну.

— Ну зачем так грубо! Ты здесь чужой человек — пришла-ушла, а мне жить. Они же мне не простят, я лишусь их доверия.

— А ведь нет доверия.

— Есть. Есть добрые человеческие отношения. Я буду совершенно откровенен — мы сдаем заводской дом. Улучшенной планировки. В нем они дают мне двухкомнатную квартиру. Это не аргумент для такого светлого будущего — там у вас проблем, может, и нет — сколько у тебя комнат?

— Не скажу. Я тебе больше ничего не скажу.

— Но ведь часовня все равно будет стоять! Значит, кто-то другой примет меры. Кто-то более высокостоящий.

— Архитектор, — и тут Мирон увидел, как глаза Тани зажигаются голубоватым, ослепительным прожигающим светом, — ты ничего не понял. Часовня будет спасена, именно потому что ты ее спасешь.

— Нет. — Мирон покачал головой. — Не я.

— И если ты не спасешь ее добром, мы перейдем к действиям.

— К каким же, простите, вы приступите действиям в чужом веке? Вы здесь, мадам, простите, не прописаны.

— Слушайте. Я сейчас ухожу. И больше тратить времени на вас не буду. Я все объяснила. Я сказала, что мы идем в прошлое, чтобы спасти свое настоящее — и ваше будущее. Мы знаем, кто конкретно виновен в том или ином проступке против земли, воздуха планеты, людей. Мы идем к этим людям. Мы говорим с ними добром. Но бывают случаи, когда нам попадается темный эгоист, себялюбец, преступник.

— Таня!

— И тогда мы принимаем другие меры. Неужели ты полагаешь, что ради будущего всей Земли мы пощадим нескольких подонков?

— Я тебе не давал повода!

— Я виновата. Я подумала — ах, какой милый человек! Он все поймет.

— Я все понимаю — ты не хочешь понять меня!

— Ты завтра же скажешь, что часовня остается. Даже если рискуешь потерять новую квартиру и собутыльников.

— А если нет, убьете?

Мирон Иванович сказал это роковое слово будто в шутку, но глаза Татьяны были колючими как обломки льдинок.

— Да, — сказала она.

— Мы для вас... так... Ничто?

— Я пошутила. Но подумай о судьбе Степанцева.

— Кого?

— Заведующего свинофермой.

Таня быстро поднялась, словно взлетела над скамейкой.

И побежала прочь.

Мирон Иванович ринулся было за ней, но понял, что бессмысленно бегать. Ему было обидно. Он не хотел ничего дурного — хотел только, чтобы его поняли, — каждый человек хочет, чтобы его понимали.

Вдали за кустами светлячком мелькнул голубой огонь.

Мирон Иванович поднялся к себе в малогабаритную однокомнатную квартиру — иной не будет, — лег спать и сразу заснул, хотя полагал, что будет всю ночь думать.

Ему казалось, что он только прилег, как раздался телефонный звонок. Он гремел, как колокол, — заставил вскочить, кинуться к телефону, еще не вспомнив о вчерашнем.

— Что? Кто?

— Спишь? Прости, старичок. — Это был голос заместителя директора завода. — Я думал, ты уже во дворе стоишь с рюкзачком.

— Здравствуйте. А сколько времени?

— Скоро семь.

— Я сейчас. Сейчас выйду.

— Не спеши, отдыхай. Отменяется путешествие. И шашлыки тоже.

— А что?

— Через час дамбу прорвет.

— Какую дамбу? — Мирон Иванович уже проснулся, но никак не мог вспомнить никакой дамбу в Великом Гусляре.

— Не знаешь ты еще нашей специфики, Мироша, — сказал заместитель и вздохнул. — Дамба у Степанцева на свиноферме, где пруд с отходами. Все никак не наладит вывоз на поля — вот этот пруд каждый год переполняется и — уух! — прорывает! Черт знает что — надо же, чтобы сегодня!

— Куда прорывает?

— В реку — куда же. Каждый год. Так что до завтрашнего дня к реке не подходи. А какая рыба сбежит от этого навоза, ей надо недели две, чтобы вернуться. Усек? Вся рыбалка прикрывается. И к реке не подходи!

— Надо же принять меры.

— Какие?

— Всех мобилизовать — молодежь, школьников, чтобы дамбу укрепить.

— Во-первых, там вонь — с мобилизацией не выйдет. Во-вторых, зачем ее укреплять? Ее укрепишь — через две недели все равно прорвет — еще хуже. Нет — стихийное бедствие должно быть ограничено. Ты спи, отдыхай, только к реке сегодня не ходи.

Заместитель хихикнул, но как-то невесело, и повесил трубку. Мирон Иванович отдыхать не стал. Он уже окончательно проснулся и все вспомнил. И вчерашнюю Таню, и сомнительную — теперь ярким утром она казалась сомнительной — историю с фотографиями. Почему он поверил ей? Это же чепуха. Может, потому, что светилось платье?

Ему захотелось выйти к реке. Пока еще можно.

Он оделся и пошел. У скамейки остановился — как будто там мог остаться след Тани. Никакого следа не было. Потом он пошел вниз к реке. Сапожная мастерская еще была закрыта, но за забором на стройке шумела машина — стройку гнали в две смены. Он поглядел на сапожную мастерскую, но угадать в ней той часовни с фотографии не смог. И это еще более укрепило его в мысли о том, что он оказался объектом злого розыгрыша, и стало стыдно, что он унижался перед этой студенткой.

Он остановился на высоком берегу реки. Далеко справа была видна баржа-ресторан. Если прорвет, подумал он, то на баржу тоже не поедешь. И он начал раздражаться против этого заведующего — как его фамилия — Степанцев? А что говорила Таня — подумай о судьбе Степанцева. Она знала о нем. Значит, она имела в виду прорыв дамбы. И штраф, который тот Степанцев заплатит рыбоохране. И Мирон Иванович снисходительно улыбнулся, потому что Степанцев каждый год платит эти штрафы — привык. Наверное, субъективно, подумал Мирон Иванович, Степанцеву как рыбаку горько сознавать, сколько рыбы гибнет, — но что поделаешь? Через час прорвет? Час уже прошел. Может, пойти поглядеть на дамбу, что-то придумать — он же главный архитектор города. Но тут Мирон Иванович подумал об отвратительном запахе, который исходит от того пруда. Нет, туда он не пойдет.

Река текла чистая, только ближе к берегу тянулась, как всегда, полоса рыжей воды — от кожевенного завода. Мы можем быть жестокими, говорила Татьяна, или ему померещилось? Интересно, эту дамбу прорывает сразу, с шумом, или она просто расползается?

Стоять на берегу и ждать стихийного бедствия надоело.

Мирон Иванович пошел домой — все равно день получался какой-то неустроенный. Куда же девалась эта Таня? Кого-нибудь еще пугает? Нет, голубушка из так называемого будущего, нас не запугаешь! Вам нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия!

Ему понравилась последняя фраза. Как будто сам ее сочинил. Но, будучи честным человеком, Мирон понимал, что фразу сочинили раньше — кто-то из классиков. Может быть, сам Маркс.

Дома он позавтракал — холостяцкая яичница да простокваша из скисшего молока. Скромно жил Мирон Иванович, да и не бегал за богатством.

Тут снова зазвонил телефон. Снова на проводе был заместитель директора завода.

— Ты не спишь, Мирон? — спросил он.

— Нет, не сплю.

— А тут такое дело...

Голос заместителя Мирону не понравился. Беспокойный был голос.

— Говорите, — потребовал Мирон.

И уже заранее знал — что-то связанное с этой Татьяной, принесла ее нелегкая в наше время. Хотя, вернее всего, она и не из будущего, а из-за самого элементарного кордона. Враг.

— Прорвало дамбу. Слышишь?

— Так вы же предупреждали.

— Предупреждал, но не в той форме.

— Говорите же!

— Понимаешь, не в ту сторону прорвало. Должно было в речку прорвать, как всегда, а прорвало наверх, к лесу, такого и быть не может.

— Ну и слава Богу, — сказал с чувством Мирон, — значит, едем?

— Куда?

— На рыбалку.

— Чудак-человек. Дослушай сначала, а потом говори. В том направлении дом Степанцева стоит. У самого леса, со стороны господствующего ветра, чтобы амбре не достигало...

— И пострадал?

— Степанцев?

— Дом пострадал?

— Дом затопило, говорю! До второго этажа. И ковры, и мебель, и картину в раме. Степанцев как увидел, что на него девятый вал от фермы идет, успел пожарную команду вызвать, но те остановились, не доехали, издали смотрели.

— А Степанцев?

— Степанцев? Что Степанцев... тело достали, тело вынесло на лужайку. Но откачать не смогли. В противогазах откачивали, а не смогли.

— Что? Утонул?

— Царство ему небесное... Несчастный случай. Во цвете лет... Ты чего замолчал?

— Так... думаю.

— Чего думать? Мы его не возвратим. Хороший хозяйственник был, смелый. И человек хороший. Бутылку из горла за минуту выпивал. По часам.

— А там никого не заметили посторонних?

— Думаешь, акция?

— Не знаю...

— погоди, не вешай трубку. Я тебе что звоню: ты насчет сапожной мастерской придумал аргументы? Ты не тни, думай. В понедельник общественность ломать будем. Какой-то мерзавец Елену Сергеевну из от-

пуска вызвал. Телеграммой. Она завтра приезжает. Молнию нам отбила: «Иду на вы!» Эх, не люблю я некоторых... Бой будет, как под Полтавой. Чтобы порох был сухим, понял?

Мирон молчал... Полминуты молчал и его собеседник, слушал его частое дыхание, ждал.

— Я вот думал,— сказал Мирон Иванович наконец.— Все-таки постройка четырнадцатого века, культурное наследие... не исключено, что под полом есть мозаика.

— Мироша, ты себе цену не набивай,— сухо ответил заместитель директора.— Ты и вчера знал, какая ценность. В случае надобности мы тебя прикроем, в другой район переведем. А в случае ненадобности — берегись!

— Вот и Степанцев берегся.

— Степанцев утонул, как крейсер «Варяг». В бою. За что ему слава.

— Крейсер «Варяг» в воде утонул.

— Думай до понедельника,— сказал спокойно заместитель директора.— И учти, мы всегда побеждаем.

Мирон попрощался, повесил трубку, медленно подошел к окну. День был светлый, ветреный, солнечный. Сквозь листву был виден угол крыши сапожной мастерской. Заныл зуб. А вчера еще было все так просто...

ТИТАНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Удалов вошел в кабинет к Николаю Белосельскому. Вернее, во-рвался, потому что был вне себя.

— Коля! — воскликнул он с порога.— Я больше не могу.

Предгор Белосельский отложил карандаш, которым делал пометки на бумагах, пришедших с утренней почтой, ласково улыбнулся и спросил:

— Что случилось, Корнелий?

Когда-то предгор учился с Удаловым в одном классе, и их дружеские отношения, сохранившиеся в зрелые годы, не мешали взаимному уважению и не нарушали их принципиальности.

— Я получил сегодня утром восемь новых форм отчетности, четыре срочные анкеты по шестьсот пунктов в каждой, не считая сорока трех прочих документов и инструкций.

С этими словами Удалов поставил на стол предгора объемистый портфель, щелкнул замками, наклонил его, и гора бумаг вывалилась на стол.

— Ну чем я могу тебе помочь,— вздохнул Белосельский, который сразу все понял.— Я сам завален бумагами — работать некогда.

— Так мы перестраиваемся или не перестраиваемся? — спросил Удалов.— Неужели ты не понимаешь, Коля, что бюрократы нас скоро погребут под бумагами? Бумаги нужны им для того, чтобы оправдать свое бессмысленное существование. А мы терпим.

— Мы боремся,— сказал Белосельский.— Три дня назад мы уговорили горагропром сократить на шесть процентов квартальную отчетность. После долгого боя они согласились.

— Ну и что?

— А то, что оставшиеся девяносто четыре процента они увеличили втрое в объеме.

— Надо разогнать,— сказал Удалов.

— Мы не можем разогнать,— сказал Белосельский.— Все наши организации подчиняются вышестоящим организациям, а все вышестоящие организации подчиняются очень высоко стоящим организациям, и так до министерств...

— Тогда подаю заявление о пенсии,— сказал Удалов.— Я уже три дня не был на стройплощадке. У меня рука сохнет.

— Так не пойдет,— сказал Белосельский.— Своим капитулянтским шагом ты лишаешь меня союзников. Мы должны думать, а не плакать.

— Тогда думай! — закричал Удалов.— Тебя же для этого сделали городским начальником.

— Если бы я знал! — с тоской произнес Белосельский и, подойдя к окну, вжался горячим лбом в стекло. Ему хотелось плакать.

— Простите, друзья,— раздался голос от двери. Там стоял незаметно вошедший в кабинет профессор Лев Христофорович Минц, местный гусларский гений, и сосед Удалова.

— Заходите, Лев Христофорович,— откликнулся Белосельский.— Беда у нас общая, хоть от вас и далекая.

— Я все слышал,— сказал Минц.— Но не понимаю, почему такая безысходность?

— Бюрократия непобедима,— ответил Белосельский.

— Вы неправы,— сказал Минц.— К этой проблеме надо подойти научно, чего вы не сделали.

— Но как?

— Отыскать причинно-следственные связи,— пояснил профессор.— К примеру, если я собираюсь морить тараканов, я первым делом выявляю круг их интересов, повадки, намерения. И после этого бью их по самому больному месту.

— Так то же тараканы! — сказал Удалов.

— А тараканы, должен вам сказать, Корнелий Иванович, не менее живучи, чем бюрократы.

— Что же вы предлагаете? — спросил Белосельский.

— Я предлагаю задуматься. В чем сила бюрократа?.. Ну? Ну?

Друзья задумались.

— В связях,— сказал наконец Белосельский.

— В нежелании заниматься делом,— сказал Удалов.

— Все это правильно, но не это главное. Объективная сила бюрократии заключается в том, что она владеет бумагой. А бумага, в свою

очередь, имеет в нашем обществе магическую силу. Особенно если она снабжена подписью и печатью. При взгляде на такую бумагу самые смелые люди теряют присутствие духа, цветы засыхают, заводы останавливаются, поезда сталкиваются с самолетами, писатели вместо хороших книг пишут нужные книги, художники изображают на холстах сцены коллективного восторга, миллионы людей покорно снимаются с насиженных мест и отправляются в теплушках, куда велит бумага...

— Понял,— перебил профессора Удалов.— Нужно запретить учить будущих бюрократов читать и писать. Оставим их неграмотными!

— Они уже грамотные,— сказал Белосельский.

А Минц добавил:

— К тому же бюрократами не рождаются. Ими становятся. И опять же по велению бумаги. Потому я предлагаю лишить нашу бюрократию бумаги!

— Как так лишить? — удивился Белосельский.

— Физически. Не давать им больше бумаги. А не будет бумаги, им не на чем будет писать инструкции и запреты, а вам не на чем будет составлять для них отчетность.

— Но как?

— Вы не можете закрыть все учреждения, вы не можете выгнать бюрократов на улицу. Но в вашей власти отказать им в бумаге. Вся власть Советам!

Слова мудрого Льва Христофоровича запали Белосельскому в душу. Не сразу, а собрав вокруг себя сторонников, обдумав процедуру, он издал указ, радостно встреченный всем населением:

«Отныне и навсегда ни одно учреждение города Великий Гусляр не имеет права держать в своих стенах никакой бумаги, кроме туалетной и предназначенной для написания заявления об уходе (по листку на каждого чиновника)».

Мы не будем описывать здесь, как сложно было перекрыть доступ бумаге в учреждения и конторы, как хитрили и изворачивались руководители этих контор, как пришлось ставить добровольцев на городских заставах, чтобы пресечь контрабанду бумаги из области и даже из Москвы. Но если народ решил, то народ справится!

Бумажный поток был перекрыт. Город вздохнул свободно. Бравые патрули перехватывали врывающийся в город поток бумаг и тут же сдавали в макулатуру. Уже через две недели на эту макулатуру каждый житель города получил по книге Дюма и собранию сочинений писателя Пикуля.

С каким наслаждением шел утром на работу Корнелий Удалов, а также все его сограждане! Они были уверены, что никто не будет отвлекать их от созидательного труда. И производительность этого труда резко возросла.

Учреждения затаились. В их недрах шли бесконечные совещания, но так как протоколы приходилось вести на туалетной бумаге, они оказывались недолговечными и наутро приходилось совещание повторять, так как совещание, не оформленное протоколом, считается недействительным.

Удалов с Белосельским со дня на день ждали светлого момента, когда откроются двери Горснаба, Горстата, Горотчета, Горпромпроса, Горплана и других контор, и оттуда выйдут сотрудники и сотрудницы, чтобы сдаться на милость победителей и перейти к станкам, больничным койкам, классным доскам и прочим местам, где так не хватает людей. Но двери не открывались.

Прошла неделя. И вдруг Удалов, проходя по Пушкинской, увидел скромное объявление. Оно звучало так: «Горотчету на постоянную работу требуются каменщики, ткачи, вышивальщики, граверы и чеканщики. Оплата по ставкам ведущих экономистов, тринадцатая зарплата гарантирована».

Сердце тревожно забилося. И еще тревожной стало Удалову, когда он на следующей улице увидел такое же объявление, вывешенное Горпланом.

Худшие подозрения Удалова подтвердились в тот же день. Примерно за час до обеда к нему в контору вошли три дюжих молодца. Они волокли большую гранитную плиту. На плите были тщательно выбиты буквы:

ИНСТРУКЦИЯ

по учету использованной арматуры в пересчете
на погонные метры и кубические сантиметры.

Для служебного пользования.

Срочно.

Ответ предоставить в течение 24 часов
под личную ответственность.

Молодцы поставили плиту к стене. Солнце, заглянувшее в комнату, осветило своими теплыми лучами глубоко выбитые строчки.

— Распишитесь в получении, — сказал один из молодцев, протягивая Удалову медный лист и молоток с долотом. — Вот тут выбейте свою фамилию.

До обеда Удалов выбивал по меди свою фамилию. А из соседних фабрик, контор, магазинов и учебных заведений ответно постукивали молотки — руководители и директора расписывались в получении инструкций.

Вместо обеда Удалов кинулся к Белосельскому.

Тот был в трауре. Стены его кабинета были заставлены разного размера каменными плитами, медными и железными листами, на столе ле-

жали грудой шелковые и хлопчатобумажные свитки с вышитыми на них запросами, жалобами, анкетами и рекомендациями.

Посреди кабинета стоял профессор Минц и сдержанно улыбался.

— Ну что вы улыбаетесь! — завопил Удалов с порога. — Они нас победили! Лучше я буду расписываться на бумаге, чем как египетский раб выбивать свою фамилию на твердых предметах.

— Не падайте духом, Корнелий, — произнес Лев Христофорович. — И вы не падайте, товарищ Белосельский. Враг пошел на последние, крайние меры. Значит, он слабеет.

— Да вы посмотрите в окно, — сказал Николай. — Отсюда видно — они беспрерывно куют и вышивают! Они все при деле! Они расширяют штаты.

— А мы хитрее, — сказал Минц. — На прошлом заседании вы отказали в создании кооператива гранильщиков, кооператива вышивальщиц, артели чеканщиков?

— Мы не отказали. Мы перенесли вопрос на будущее, потому что не были подготовлены нужные бумаги.

— Вот именно! Бумаги! А теперь у нас нет бумаг!

— А как же...

— И ты туда же, Коля? — строго спросил Удалов.

Лицо Белосельского озарила лукавая усмешка.

— Верочка! — позвал он секретаршу. — Вы можете вызвать ко мне председателей всех кооперативов? Сейчас. Спасибо.

Через час, без единой бумаги, оперативно и решительно в городе были организованы кооперативы чеканщиков, гранильщиков, каменщиков, вышивальщиц и прочие добровольные организации, готовые внести свой вклад в развитие экономики и заработать при этом больше, чем могли заплатить городские учреждения, даже с учетом тринадцатой зарплаты.

Бюрократия лишилась рабочих рук.

Прошло еще пять дней. Жизнь в городе текла спокойно. Новых инструкций не появлялось.

Утром во вторник Удалов сказал жене Ксении:

— Ксюша, наша титаническая борьба с бюрократией кончилась в нашу пользу. Бюрократия потерпела поражение!

И тут из другой комнаты вышел сын Удалова, подросток Максимка.

— Папа, — сказал он, — мы в поход не пойдем.

— Почему же? — удивился Корнелий. — Ты же так готовился.

— Вчера приходил к нам один дядя из Горпромплана и всем нам предложил заработать.

— Вам? На каникулах?

— Папа, — сказал Максимка, — ты совершенно не следишь за дискуссиями о просвещении. Пора наконец приблизить школу к жизни. Наше образование находится в критическом положении. Я не хочу быть

недорослем! Мой сверстник в Соединенных Штатах зарабатывает на канникулах сотни и даже тысячи долларов, разнося молоко и газеты!

— Остановись! — закричал Удалов. — Все стали образованные! Иди, зарабатывай. Но честным трудом!

— Я понял, папа, — сказал Максимка, — если мне предложат что-то бесчестное, я откажусь, даже если на эти деньги я мог бы купить мотоллер.

Вечером они встретились с сыном за ужином.

— Ну и что, сынок? — спросил Удалов.

— Очень интересная идея, — ответил Максимка. — Все мы будем работать курьерами.

Удалов искренне рассмеялся.

— Какими же вы будете курьерами, если бумаг нету?

— А мы и будем бумагами, — ответил сын. — Каждый из нас получает номер. Я, например, исходящий 18—24 от 14 июня. Состою из шестидесяти пунктов и завтра с утра направляюсь в область.

— Не выйдет, — ответил Удалов, все еще не в силах поверить в дьявольскую выдумку Горпромплана. — Ты не запомнишь все пункты.

— Запомню, — улыбнулся подросток.

Он вытащил из кармана длинную тонкую веревку, от которой отходили короткие веревочки с множеством узелков.

— Письмо туземцев майя, — пояснил он отцу. — Докладывая мое содержание, я пользуюсь этим письмом как подсказкой. Показать?

— Ну... — неуверенно сказал Удалов.

Максимка встал в позу, потянул пальцами конец веревки и монотонно заговорил:

— Исходящий 18—24 от 14 июня. В областное управление Главпромпланстройкомплекта заместителю подзаведующего сектором вторичного учета товарищу Богаткину Гы Мы...

— Хватит, — махнул рукой Удалов. — Сдаюсь. Боюсь только, что они там тебя заприходуют, пришьют к делу, положат на полку и забудут покормить.

Сын только отмахнулся. Он ходил по комнате, перебирал пальцами веревочки и тихо бубнил.

Наутро Удалов, проходя мимо открытых окон Горучетинспекции, услышал доносящееся оттуда бормотание. Он остановился, заглянул внутрь. Перед начальственным столом стояла девушка лет десяти и послушно повторяла за начснабом Лапкиным, которого Удалов давно знал: «Пункт третий: поручить руководителям нижних управленческих звеньев... Не упадочнических, а управленческих, девочки! Если не запомнишь до обеда, мы с тобой лишимся компота».

На автобусной остановке в ожидании машины в область томились два десятка школьников с веревочками в руках...

Трое юношей и первоклассник в очках ждали Удалова в конторе.

Они были вежливы, но настойчивы. Удалову пришлось выслушать их тексты и послания соответствующих организаций. Затем Удалов по-орно спросил:

— А где расписываться? В получении?

— Если есть круглая печать,— ответил один из ходячих документов,— ставьте мне на лоб.

— На лоб?

— Разумеется, чтобы видно было.

Удалов улыбнулся. Он достал из стола круглую печать, густо намазал ее чернилами и злорадно припечатал круглые лобики детей.

— Пускай теперь вас папы с мамами отмывают! — сказал он.

Но когда подошел к очкастому первокласснику, рука его не поднялась:

— А еще куда можно? — спросил он.

Мальчик протянул ему ладошку. И Удалов припечатал ладошку.

Весь день по городу шастали входящие и исходящие. У некоторых детишек на лобиках стояло уже по три-четыре печати. А на щеках были подписи фломастерами.

Удалов перестал улыбаться.

А когда вечером вернулся из города усталый Максимка, лоб и щеки которого были густо разукрашены штампами и печатями, он собственноручно, несмотря на громкие вопли мальчика, который лишился честно заработанных денег, отмыл его в ванной так, что разве что кожа не слезла.

Впрочем, эта же сцена повторилась во многих домах, что сильно обесценило детей в качестве документов.

А на следующий день после короткого и бурного совещания в Гордоме все дети города были отправлены в палаточный лесной городок, который мгновенно выстроили родители.

— Ну вот, вроде и все,— сказал Удалов еще через день.

Ему только что позвонил Коля Белосельский, который сообщил, что к нему прорвались курьеры из области. Один принес инструкцию, вырезанную из березовых листьев, второй прямо в кабинете сиял майку и показал письмо, написанное на его животе. Следовательно, в других городах и даже в области почин великогусярцев был подхвачен.

— Титаническая борьба подошла к концу,— сказал Удалов жене, уходя на службу.

— Ты мне это уже говорил,— ответила Ксения.— Погоди, они еще не сдались.

Удалов только отмахнулся от пророческих слов супруги.

Светило солнце, пели птицы, впереди гудели автомобили.

На центральной площади города, обширной и заасфальтированной, что-то происходило.

Машины и автобусы, которые намеревались было пересечь площадь, вынуждены были остановиться.

Туда, на площадь, чиновники из различных учреждений, здания которых и окружали площадь, выносили свои столы. Сотни столов, тысячи столов...

Руководители учреждений и контор, руководствуясь планчиками, нарисованными на клочках туалетной бумаги, указывали, где ставить столы.

Удалов остановился на краю площади среди зевак, стараясь понять, что же замыслила гибнущая бюрократия.

Постепенно стал вырисовываться рисунок, согласно которому устанавливались столы. В сумме они составили три громадные буквы:

«SOS»

Затем по команде сотрудники уселись за столы и стали смотреть в небо.

Удалов тоже посмотрел в небо. Небо было голубым и пустым.

— Чего вы хотите? — спросил он у ближайшего чиновника.

— Нам не объясняли, — ответил тот. — Сказали, чтобы сидеть и ждать. Начальству виднее.

Начальство с Удаловым разговаривать не стало.

Удалов поднялся к Белосельскому. Белосельский был встревожен. Они стояли у окна, и буквы «SOS» были отлично видны.

Подошел Минц.

— Глупо, — сказал он. — Если они надеются на область, то там идут те же процессы.

— Знаю, — сказал Белосельский. — По всей стране идут процессы. Но все равно на сердце тревожно.

И в этот момент сверху послышался ровный нарастающий гул.

Темные быстрые тени мелькнули над площадью.

Одна за другой между буквами тревожного послания опускались летающие тарелочки. На них были опознавательные знаки, которые были Удалову знакомы.

— Эта с Альдебарана, — сказал он, глядя, как открывается люк и из первой тарелочки выходят трехногие зеленые пришельцы с портфелями. — А это с альфы Водолея.

Из второй тарелочки выползли крабовидные существа в черных костюмах.

Вот открываются люки в третьей, пятой, двадцатой тарелочках...

Один из пришельцев, крупного размера, с четырьмя щупальцами, вынул из-за пазухи микрофон, и его голос раскатился над площадью:

— Дорогие братья! Узнав о том, в каком катастрофическом положении вы находитесь, и увидев ваш сигнал бедствия, мы по зову сердец откликнулись на вашу беду. Мы, представители могучих организаций и учреждений Альдебарана, Сириуса, Паталипутры и многих других ра-

зумных миров, доставили нашу скромную помощь. Вы не одиноки, друзья и коллеги!

Под аплодисменты гуслярских чиновников пришельцы стали выносить из тарелочек толстые стопки бумаги, копирки, ксероксы, новенькие печатные машинки...

Чиновники смиренно и деловито выстраивались в очередь, и каждый из них получил достаточно бумаги, чтобы завалить Удалова с головой.

— Да,— сказал Минц,— мы потерпели поражение.

— Титаническое поражение,— сказал Удалов.

Белосельский не выдержал. Он заплакал.

— Коля,— сказал Удалов, кладя руку на плечо другу.— Не падай духом. И на Альдебаране мы с тобой отыщем союзников.

— А они... они... из соседней Галактики...

— Мы и до соседней Галактики доберемся.

Александр ГОРБОВСКИЙ

БЛАГОДЕТЕЛИ

Часы во всем мире отсчитывали последние минуты. Но этого никто не знал. Впрочем, даже если бы и знал, ничего изменить было уже невозможно.

Когда Василий Авдеев вышел на Манежную площадь, площадь была пуста. Что было естественно, ибо час был поздний.

«Хоть бы автобус какой»,—тоскливо подумал он. Понимая, правда, всю тщетность этого желания. Автобусы давно ушли в парк, метро не ходило, а денег на такси у него не было.

— Мы на такси не ездим,— шутил он у себя в бригаде,— у нас мелочи нет...

Он остановился, чтобы закурить, и ветер, раскачивавший фонарь, двигал на снегу его тень. Делал ее то длиннее, то короче.

«Нам, столярам...— размышлял он, сворачивая на Красную площадь.— У нас, столяров...»

Авдеев миновал Исторический музей и шел теперь по площади, оставляя за собой следы на снегу, который недавно выпал.

«Ишь — Осипов! — бормотал он, продолжая какой-то давний спор с самим собой.— Он не то что рубанок, он стамеску-то держать не умеет. А туда же метит, в начальство...»

Вдруг он остановился. Метрах в десяти прямо перед ним на девственном, свежевыпавшем снегу внезапно обозначился круг. Это был след, будто мгновенье назад лежал какой-то огромный обруч. Или кольцо. Авдеев не успел еще ни осознать, ни изумиться этому, как там же,

мгновенно накрыв собой отпечаток, возник Шар. Он появился внезапно и из ничего, как и след.

С появлением Шара происхождение отпечатка как бы обрело объяснение — это был след от Шара. Тем самым повод для недоумения исчез, и Авдеев, обойдя Шар, двинулся дальше.

«Кулагин,— бормотал он,— это надо же, в начальство метит. С бригадиром пьет...»

Метров четырех диаметром синевато-серый Шар не имел, казалось, ни смысла, ни назначения. И если бы Авдеев догадался коснуться его рукой, он убедился бы, что Шар — мягкий, как надувной матрац. Но Авдеев не сделал этого. Он прошел всю площадь и только потом неуверенно оглянулся.

Шар стоял на месте.

«К чему бы это? — запоздало подумал он.— Октябрьские праздники прошли. А до майских — далеко...»

Он не мог знать того, чего не знал еще никто в мире. Что в этот же час такой же Шар возник перед резиденцией премьер-министра в Лондоне и у Белого Дома — в Вашингтоне. А также в Париже, в Пекине, в Риме и во всех остальных столицах.

На следующее утро приезжие, торопившиеся к ГУМу, видели у Исторического музея какой-то странный Шар и кучу людей, которые толпились рядом. В стороне стоял тягач, и от него, как от лошади, шел белый пар. Все утро тягач пытался сдвинуть Шар. Или хотя бы зацепить его тросом. Но тщетно.

Толпившиеся возле Шара стояли встревоженной кучкой, обсуждая, что делать. И главное, что сказать начальству. Но говорить начальству им так ничего и не пришлось. Ровно в девять, когда часы пробили девять раз, из Шара вышел Старец. Он прошел сквозь оболочку, как проходит игла, и стенки снова сошлись за ним.

— Здра-а-авствуйте,— сказал он сладким голосом.— Я с созвездия Орион.

Старец был благостный. Лицо его и вся фигура источали благолепие.

— Я с созвездия Орион,— повторил он и, словно сиянием, озарил всех взглядом.

Последовало мгновение растерянности, после чего сразу же неведомо откуда подкатила черная «Волга». Старца усадили в нее, машина рванулась с места и исчезла.

В тот же день и в тот же самый час посланцы с Ориона появились в других столицах. Кроме того, что все они были благостны, все источали благолепие, было еще одно обстоятельство, вызывающее некоторое смущение. Дело в том, что они походили друг на друга так, как только могут походить друг на друга копии одного и того же оригинала.

Когда сообщение об этом в конце концов появилось в газетах, Авдеев, который всегда читал газеты, понял, что был первым, кто увидел Шар.

— А я иду, значит,— в десятый раз принимался он рассказывать свою историю,— вроде Шар...

Но ему все равно никто не верил.

— Да ладно тебе,— говорили ему,— ладно врать-то...

— Нет, правда. Я так и подумал: «Не иначе, думаю, как с Ориона».

В конце концов он замолкал, обиженный, пока не находил нового слушателя.

— А я иду, значит, смотрю, вроде Шар... Ну, думаю...

К тому времени выяснилось еще одно несколько странное обстоятельство. Само собой, со Старцами, которые одновременно объявились в разных столицах, сразу же начались переговоры. Само собой, программа переговоров в каждой из столиц была различна. Когда же сопоставили, что говорили Старцы, оказалось, что везде они произносили одни и те же речи, слово в слово и буква в букву.

Но что самое странное — сказанное всякий раз оказывалось уместным и кстати.

Когда же у Старцев стали спрашивать, как удалось им это и как понимать такую синхронность, те удивились непонятливости землян. И пояснили, что их вовсе не много, а что он, Старец, один. Но так как ему приходится одновременно пребывать во многих местах, то это и породило у людей иллюзию множественности. Объяснение это осталось непонято, но было принято к сведению.

Некоторое время спустя решено было, что протокол требует, чтобы главы правительств нанесли ответный визит пришельцам. (Или пришельцу.) И снова все произошло очень синхронно, произошло в один и тот же день и час. Предшественные Старцем государственные мужи торжественно проследовали в Шар. За ними, строго соблюдая табель о рангах, последовали эксперты, советники, помощники и референты. Когда последний из них прошел внутрь, оболочка сошлась и сомкнулась бесследно.

Пройдя оболочку, каждый оказался не внутри Шара, а снова возле него. Место было незнакомым и странным. Ровное песчаное плато уходило к горизонту, невыразимо далекому и отмеченному по краям тонкими разводами ядовито-зеленого цвета. Низко нависало пепельное, лишенное солнца, небо, и от ровного его света ни предметы, ни люди не имели тени.

И здесь, на этом плато стоял Шар. Шар был один. И Старец, многократно повторенный в разных столицах, тоже был один. Он стоял возле Шара и приветствовал, и встречал выходявших, и рассказывал их вокруг большого круглого стола, какой бывает обычно на конференциях. Место каждой из делегаций было отмечено флажком. Но флажки эти, ис-

полненные обычно высокого государственного смысла, здесь, на фоне этого странного ландшафта казались беспомощной бутафорией. И в беззащитности, и в хрупкости этих земных символов перед лицом чужого мира уже было нечто многозначительное и зловещее.

А в пепельном небе то медленно, то быстро вращался огромный медный цилиндр.

— Это мой корабль,— пояснил Старец.— На нем я прибыл на Землю.

И от голоса его, такого благожелательного и ласкового, смутная тревога, казалось, отступила и стала меньше.

Здесь же, за этим столом, и было подписано Соглашение. Текст его на следующий день был опубликован во всех газетах.

В ответ на просьбу государств, входящих в Организацию Объединенных Наций, гласило Соглашение, Цивилизация из созвездия Орион согласилась всемерно содействовать интеллектуальной, нравственной и духовной эволюции человечества.

— Курсы откроют,— говорили некоторые.— Университеты.

— Книжки для нас писать будут.

— Обман все это. Липа. Чему это они еще там научат, вопрос, а денежки-то мы, небось, вперед плати.

Словом, особого интереса новость эта не вызвала.

Кроме того, начался чемпионат по хоккею, и по сравнению с этим все остальное отступило на второй план. К тому же, как говорят англичане, «чудо длится только три дня». Старец, прибывший с Ориона, перестал быть сенсацией.

И только сами подписавшие Соглашение знали, сколь велики должны быть последствия этого. Вернее, думали, что знают.

— Наша цивилизация,— пояснял Старец,— слишком далеко ушла вперед. Для дальнейшего прогресса нам нужен нравственный подвиг. Мы находим его в том, что просвещаем другие народы.

Мало кто заметил, когда настал день, с которого Соглашение вступило в силу. Тем более что день этот ничем не отличался от всех остальных, прочих. Только с утра, многим казалось, было какое-то томление. Но, может, это и от погоды.

— А я, чо,— сказал вдруг Авдеев. Сказал просто вслух, не обращаясь ни к кому конкретно.— Есть такой город.

— Точно,— подтвердил старик Васильич и сплюнул на кучу опилок.— На Корсике. Небольшое судостроение, рыболовство, добыча кораллов. Разведение цитрусовых. А я, чоо,— родина Наполеона.

Какое-то время в мастерской было тихо. Все обдумывали то, что было сказано. Васильич взял рубанок и стал обстругивать доски.

— А что,— сказал он вдруг,— ведь арбалет-то был изобретен в X веке.

— Особо широкое распространение получил арбалет после первого крестового похода.

Так говорили они в тот день, и разговоры эти были непривычны. И они невольно радовались за себя, как много всяких разных вещей они знают.

— Вот ведь,— заметил кто-то,— был такой адмирал Анжу, Петр Федорович. В 1820 году был направлен для геодезического описания северного побережья Сибири. Прошел 14 тысяч километров...

— А еще была Анжуйская династия,— перебил Васильич,— или Плантагенетов.

И хотя никто из них не мог бы вспомнить, когда и при каких обстоятельствах все это стало им известно, почему-то они не задавались этим. Как не задавались вопросом, почему все, о чем говорят они, начинается с буквы «а». А примерно с обеда их начали волновать темы, начинающиеся с буквы «б».

— Ботокуды! — заметил Авдеев,— ботокуды...

Вечером, уже засыпая, он думал уже о «в»: о Венсаре, о вариационной статистике и «Вестнике изящных искусств».

Так прошел этот день, первый день, когда Соглашение вступило в силу. Он прошел так не только для Авдеева и его бригады. Повсюду люди принялись думать и говорить о предметах, о которых прежде они не привыкли ни говорить, ни думать. О которых раньше, казалось, не имели ни малейшего понятия.

Информация, которую содержали энциклопедии, была перенесена в память людей примерно за неделю.

Но это был лишь первый шаг. Следующим были специальные знания: высшая математика, физика, философия...

На первый взгляд перемены, которые произошли в мире за эту неделю, были неощутимы. Люди, как и прежде, шли по улицам, торопились на работу, а вечерами возвращались домой. Только перестали смотреть телевизор, не стали играть в домино, и лица у всех стали чем-то другие.

Прочее же все оставалось пока без видимых перемен.

И в цехе, где работал Авдеев, среди свежеструганных досок и готовых кухонных полок на первый взгляд тоже нельзя было заметить явных перемен. Разве что портрет Спинозы, которого не было вчера, да листки с решением теоремы Ферма, валявшиеся на верстаке.

— Об Осипове,— говорил теперь Авдеев,— я больше не придерживаюсь экстремальных оценок. Шкала оптимальных характеристик личности дает неопределенное число сочетаний...

Теперь все они выражали свои мысли примерно в таких словах и выражениях.

— Производя суждение,— возражал ему Васильич,— надлежит дать дефиницию понятий. Ты же говоришь об Осипове, как о константе.

Вне динамики. Вне объективного реестра переменных качеств. Без этих требований суждение нельзя считать корректным.

— Согласен,— не соглашался Авдеев,— согласен. Но поскольку дефиниция, в свою очередь, основывается на суждении...

Василийч недовольно слушал его, стряхивая с бороды застрявшие там стружки.

После математики, физики и философии настала очередь других наук.

Наконец пришел день, когда скачок, который накапливался скрытно, должен был произойти. Люди стали оглядываться вокруг себя и понимать, что многое из того, что привычно продолжали они делать до сих пор, они делали не то и не так.

— Рубанок,— бормотал с некоторым удивлением Василийч.— Надо же! Рубанок. Режущая поверхность. Какая нелепость...

Авдеев вертел в руках стамеску, которой орудовал до этого, и тоже смотрел на нее так, как если бы видел ее впервые.

— Стамеска? — пожимал он плечами.— Стамеска...

К концу дня в цехе действовало уже нечто вроде самодельной автоматической линии. Какие-то рычаги, выползая из стен, брали доски и складывали их вместе. Потом вибраторы делали свое дело, а магнитные толкатели собирали готовое изделие. Наблюдать или управлять этим процессом было излишне, как излишне управлять закипающим чайником или восходом солнца. Время, освободившееся у них благодаря этому, они посвящали возвышенным беседам и благостному размышлению о всем сущем.

То же самое примерно происходило повсюду. В цехах становилось тихо и безлюдно, останавливались станки и прекращали свой бег конвейеры. В министерствах стих стук пишущих машинок и вычислительных аппаратов.

Вместо всего этого появились какие-то устройства со щупальцами, перепонками, крыльями и присосками, которые, кружась и порхая, выполняли теперь то, что с таким трудом делали до этого люди.

Между тем умственная эволюция, единожды начавшись, шла своим чередом.

И уже через несколько дней Авдеев начал понимать, что устройство, которое соорудили они, несовершенно.

— Да,— согласился Василийч, неизменный собеседник его и друг.— В основе должен лежать принцип амбивалентности...

И тут же принялся чертить что-то, высчитывая в уме и шевеля губами.

Вскоре место, где они работали, занял огромный прозрачный цилиндр. Какие-то огненные круги и дуги возникали и плясали в нем, совершая неведомую работу. Но когда новое устройство было запущено, никто из них не испытал ни удовлетворения, ни радости.

— Надо было делать иначе,— хмуро заметил Авдеев.

— Да,— невесело кивнул Василийч и по привычке послунил па-лец.— Ионный излучатель. Замкнутый энергетический цикл...

Авдеев послал импульс, и устройство остановилось.

Но когда они внесли то исправление, которое хотели, их осенила новая идея. Не успели, однако, они осуществить ее, как явилась новая, еще более счастливая мысль. Но пока они готовили чертежи и расчеты, она, в свою очередь, устарела.

Теперь они поняли, что так будет все время. Все время мысль будет опережать ее воплощение.

— Что же делать? — скорее риторически спросил Авдеев и сделал руками жест, как если бы искал по карманам сигареты. Хотя, как и все, с тех пор как начались события, он не курил, но жест остался. Особенно в минуты растерянности.

В других местах было то же самое.

Новые агрегаты и устройства не пускались в ход, потому что они устаревали раньше, чем успевали их собрать. Писатели перестали писать книги, а поэты — стихи. Всякий раз конец страницы был настолько лучше ее начала, что, казалось, будто писал его другой человек. По сути дела, это так и было, потому что эволюция мысли, все ускоряясь, шла теперь своим ходом. То, что сделано было пришельцем с Ориона, стало лишь некой исходной точкой, отправным моментом движения, ни конечных результатов, ни цели которого предвидеть было уже невозможно.

Когда именно Старец и его Шар покинули Землю, никто не заметил.

Какое-то время спустя в цехе, где работал Авдеев, появился новый агрегат. От предыдущих он отличался тем, что постоянно самосовершенствовался. И этому движению по пути совершенствования не было, казалось, ни конца ни предела. Правда, качество это представлялось им теперь не столь уже важным и не таким привлекательным. Погоня за лучшим, за самым лучшим, за самым-самым лучшим, всегда так дорого стоившая человечеству, наконец-то начинала исчерпывать себя и терять смысл. Другие, более высокие цели приходили на смену ей.

А сверху, откуда-то с вне Земли, Старец наблюдал за всем этим. Он был не один. Пришельцы с Ориона, они не спешили почему-то покинуть эти пределы.

Настал день, когда Авдеев остановил агрегат. И Василийч сказал: «Правильно». Установка замерла, как начали замирать многие цехи, заводы и предприятия.

Люди наконец поняли, что кухонные полки не нужны им больше. Что они могут обойтись без них. Как и без телевизоров, холодильников, автомашин и прочего, чему до последнего времени они склонны были придавать такое значение. И не потому, что у всех всего было вдоволь.

А по той же причине, по которой взрослому человеку не нужен блестящий шарик или стеклышко от бутылки — то, что составляет абсолютную ценность в глазах ребенка. Вещи, столько лет владевшие людьми, потеряли власть. Человечество вступало в пору зрелости.

Только сейчас, в слиянии своих прекрасных и новых лиц, исполненных доброты и ума, люди начали постигать убожество прежних своих ухищрений. Эти наряды, в которые облачали они свои скорбные тела. Эта косметика, которая призвана была скрыть скудость мысли и скaredность сердца, начертанные на их лицах. А все эти интерьеры, картины и торшеры, эти символы убогой респектабельности жалких человеческих закутков, не ведавших красоты и забывших, что есть любовь!

И должно было произойти то, что произошло, для того чтобы люди смогли взглянуть на это со стороны, ужаснуться и отшатнуться от себя самих.

Тех, кто, оставаясь незримыми, неотступно следил за всем этим, было шестеро. Место, где находились они, мало походило на каюту космического корабля, как привыкли представлять себе это люди. Это было странное помещение. Оно напоминало широкий колодец, на самом дне которого они находились. Какие-то темные чудовища и рожи, изваянные вдоль стен, переплетаясь, уходили вверх. Огромные внизу, они становились все мельче и на самом верху, где сходились своды и куда едва достигал свет, гримасничали и кривлялись, подмигивая друг другу. Они подергивались и извивались, готовые, казалось, схватить один другого. Но чем ближе книзу, тем движения их становились все медленнее, все незаметнее. А в самом низу, где сидели эти шестеро, все вообще было неподвижно. Неподвижные изваяния, застывшие вдоль стен, окружали их. Шестеро смотрели на черное пламя, пылавшее на полу в центре, и молчали.

Один из этих шести был Старец. Двое других были высокие, седые и не примечательные ничем. Если бы не выражение беспрерывной святости и отрешенности, окружавшее их, они могли бы затеряться в любой людской толпе. Четвертый был круглый, толстый, лысый и розовый. Кроме того, он был голый. Но, наверное, так было надо. Тем более что весь он был гладкий, как пупсик. Пятой была девица. У нее были седые длинные волосы и лицо серафима. И два клыка, которые выбегали по углам рта. Шестой был невидим.

Все они молчали. И смотрели на огонь. Кроме девицы, которая была слепа. В ее больших мертвых глазах плясали отблески пламени. Они ждали.

Никто не знал, когда это началось, но постепенно каждый из людей начал ощущать, что сознание его расширяется, вмещая происходящее одновременно в разных концах Земли. В том числе с теми, которых он никогда не знал и не видел. И это было непривычно и неожиданно.

А потом смутно, как сквозь пелену, стало доноситься нечто исходящее откуда-то извне Земли.

Многие, а затем и все начали ощущать это. И понимать. Сначала — проблесками, а потом все более полно. Незъяснимая светлая радость далеких миров коснулась их.

Глубины космического сознания разверзлись в каждом и разом вместили все сущее. Но это не было уже прежним восприятием, когда все происходящее воспринималось последовательно и линейно. Как бусинки событий, которые нанизываются одна на другую. Мысль устремлялась одновременно в множество направлений. И множественно было одновременное восприятие мириад мерцавших миров и галактик.

Там, в этом хоре голосов, каждый из которых был так отчетлив и отличен друг от друга, слышался один, исполненный неизъяснимой боли. Он исходил оттуда, они знали, из созвездия Орион.

Постепенно этот ток боли и ожидания становился все более четок и ясен. Это был голос мира, который жил под знаком последнего своего дня и часа. Две планеты, медленно вращаясь вокруг гаснущего светила, ловили последние крохи уходящего тепла. Но задолго до того, как вечный холод навсегда сомкнется над ними, жизнь и разум должны будут погибнуть там. Жестокое излучение, исходившее от угасающей звезды, убивало все. И нигде было укрыться от него и некуда было спастись. Повсюду, куда простирались пути с этих планет, лежали мертвые, выжженные миры. Либо миры, обитаемые и населенные, где не могло найтись места для чужих существ. Сами же они не могли, естественно, ни потеснить, ни изгнать других. Уровень духовной их эволюции исключал это. Исключал всякое насилие и всякое зло.

Тогда с Ориона в самые отдаленные концы обитаемой Вселенной устремились посланцы. Повсюду они несли одно — знание. Везде их целью было — ускорить эволюцию других существ. Намерения их были возвышенны, стремления — благородны. Предположить, что за всем этим есть некая скрытая цель или тайные ожидания, было бы невозможно. Это было бы неблагородно. И неправильно.

Когда человеческое сознание смогло воспринять эту далекую беду чужого мира, на Земле не оказалось человека, который остался бы равнодушен к этой вести. Участие и сострадание, которые испытывал каждый, искали выхода, но не сразу нашли его.

И где-то там среди остальных и прочих, кто был так взволнован и озабочен этим, был Авдеев. Лицо его было прекрасно и осиянно.

Это было лицо святого и лицо пророка. Благодать, исходившая от него, была подобна благодати, которой был исполнен Старец. Впрочем, теперь на Земле у всех были такие лица.

Мысль отдать свой мир мудрым, добрым и совершенным существам с Ориона пришла сама собой. Она была естественна и логична. Лишь примитивный человеческий ум мог некогда почитать себя венцом

творения. Концом и началом всего. Убогое заблуждение, порожденное биологическим эгоцентризмом вида. И нужно было подняться до высот космического сознания, чтобы понять, что во Вселенной могут быть иные цели, помимо и выше человека.

Этот добровольный переход человечества в небытие не мог совершиться, однако, сам по себе. Должны были быть намечены сроки, составлены планы.

Предстоящая акция имела технические аспекты — соответствующие ведомства и министерства начали разрабатывать свои проекты. Она имела биологические стороны — были привлечены медики и биологи. В том, что должно было произойти, был и юридический аспект — соответствующие организации начали составлять свои документы. Но самое главное, все это нужно было как-то увязывать, соотносить и согласовывать между собой.

За этим проходили дни.

А в небе, над Землей, бесшумно плыл огромный медный цилиндр. Медленно, медленно оборачивался вокруг своей оси. А временами вдруг начинал вращаться все быстрее, вращаться бешено, чтобы потом так же неожиданно замедлить свое движение. С Земли же он продолжал быть невидимым и по-прежнему оставался недоступен восприятию человека.

Поскольку то, что должно было произойти, имело глобальный характер, Организация Объединенных Наций не могла остаться в стороне. В Генеральной Ассамблее началась дискуссия над проектом Декларации.

Делегаты один за другим поднимались на трибуну. Они говорили: какое счастье — творить благо. Какая высокая честь — отдать свой мир другому виду. Какая светлая радость — перестать жить, чтобы жили другие.

Конечно, то, что произносили они, звучало не так, как это сказано выше. Иному уровню мышления и духа соответствовала и иная форма выражения. Но читающие эти строки так же бессильны были бы понять их речи, как змеи и птицы бессильны понять то, что говорит человек. Змеи и птицы, которым дано лишь слышать человека, но не дано воспринять высокого смысла его слов.

На все это тоже шло время, и проходили дни.

А в небе, медленно оборачиваясь, все так же плыл большой медный цилиндр.

Те, кто был на корабле, ждали. Когда Проект Декларации наконец был принят, розовый плешивец радостно заерзал и беззвучно захлопал в пухлые ладоши. Он улыбался, он сиял, и на щеках у него были ямочки.

— Скорой Скорой — как припадочная забормотала девица, ладню стирая с подбородка слюни.

А тот, кто был невидим, глухо завозился в своем углу, поухивая от нетерпенья.

И только Старец не пошевелился. Не шелохнулся. Он смотрел на Указатель времени, который неверными бликами мерцал в стороне, и лицо его обрело, казалось, некий оттенок тревоги.

Тревога эта имела свои причины. По мере того как шли дни, энтузиазм людей свершить то, что было задумано, начинал, казалось, снижаться. Мысль о возвышенности их жертвы уже не представлялась им столь бесспорной. Необходимость собственного уничтожения с каждым часом казалась им почему-то все более сомнительной.

Очевидно, некая полоса, когда все это действительно могло произойти, подходила к концу. И иные вершины, открывшиеся людям за это время, ставили под сомнение решимость, которой они были исполнены ранее.

Те, кто был на корабле, поняли и почувствовали это. Темные барельефы, морды и чудовища, украшавшие стены, закопошились еще интенсивнее. Теперь даже те, огромные, которые были в самом низу, принялись шевелиться, сначала тяжело и нерешительно, а затем все быстрее.

А шестеро сидели среди копошащихся стен и ждали. Ждали, теряя и почти потеряв надежду.

И вдруг, словно вспышка озарила их, разгораясь все ярче. Но это был не свет, они скорее почувствовали, чем увидели, это. И каждый из шестерых замер и сжался, как будто хотел спрятаться или исчезнуть. А чудища и изваяния вдоль стен застыли и замерли, и стены стали как каменные.

Вспышка означала, что люди обрели способность видеть корабль. И видеть тех, кто был внутри него. Еще немного, и затаенные их помыслы и надежды тоже откроются людям.

Этого допустить было нельзя. Тот, кто был невидим, успел метнуться к Указателю времени, и стрелка его рывком вернулась назад. Сияние исчезло.

Мир, который был под ними, возвратился к прежней своей реальности. Вернулся к исходной дате.

Шел снег, и Авдеев выходил на Красную площадь.

— Не успели! Не успели,— подавляла девица, и в бельмах ее глаз отсвет черного пламени казался матовым.

Розовый плешивец больно и зло шлепал себя ладонями и хныкал. Только Старец ничем не выдал уныния.

— Двадцать шестая попытка завершена,— сказал он.— Начинаем двадцать седьмую.

Когда Авдеев вышел на площадь, метрах в десяти перед ним на снегу обозначился круг. Слово след огромного обруча. Но тут же исчез. Так что он не успел ни осознать, ни удивиться этому. Вместо круга

в снегу появился какой-то белый светящийся шарик. Величиной с яйцо. Он бешено вращался, расходясь по спирали, а потом рванулся и, уйдя куда-то в сторону, исчез с глаз.

Двадцать седьмая попытка началась.

Лев КОКИН

ИЗ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ ПУТИНЦЕВЫХ

Секрет фирмы

Отделанные под дерево стены с мягкой, как в музее, подсветкой разукрашены фирменными образцами: аппетитные жизнерадостные беби на любой вкус, совсем как живые, во всех мыслимых позах окружали вошедшего.

— Интересно, собирают они тут статистику, что из этой продукции вырастает? — пробормотал старый скептик Путинцев.

Приемщица с гостеприимной улыбкой под журчащую лирическую мелодию поднялась навстречу.

— Извините, — неизвестно почему оробел Витя, — вот мы пришли к вам вдвоем...

— К нам обычно являются парами, — подбодрила приемщица, не прерывая ни музыки, ни улыбки.

Лена, по обыкновению, предпочла перехватить инициативу:

— Мы хотим оформить заказ.

Долгая улыбка приемщицы (как и музыка) никак не кончалась:

— Вы знакомы с условиями фирмы?

— Фирменную заявку мы вызывали на дом.

— Ну да, — вставил Витя, — вроде бы все обсудили, так сказать, в общем и целом...

— Будьте любезны, — попросила Лена, — а как скоро заказ будет готов?

— График исполнения зависит от содержания заявки, — сообщила приемщица, наконец-то погасив улыбку.

Приятная музыка тем не менее не иссякла.

— А какова процедура? — поинтересовался Витя.

— Присядьте, пожалуйста, — распорядилась приемщица, и Путинцевы тотчас утонули в уютном диване, с готовностью принявшем в себя их тела, а в руках у Вити оказалась цветастая книжица в младенческих рожицах на обложке, она гармошкой растягивалась на коленях, так что детские рожицы тут же умножились во сто крат. — Будьте добры ознакомиться.

— «Ваше желание — наш сервис», — послушно прочел вслух Витя.

«Заполненная по форме заявка обрабатывается компьютером фирмы в присутствии заказчика,— читал Витя Лене пересекающий рожицы текст,— посредством многофакторного анализа по совокупности желательных признаков вычисляется индекс модели, на основании чего машина выдает график исполнения заказа...»

— Фу! — Лена не выдержала.— До чего затехнизировано!

«...График определяется согласно индексу с учетом как возможностей фирмы, так и конкретной демографической конъюнктуры...»

— Затехнизировано и заначено,— добавил Витя.

А Лена спросила:

— Как думаешь, что они понимают под демографической конъюнктурой?

— Если что-то не ясно,— сызнава заулыбалась приемщица,— посоветуйтесь, пожалуйста, с консультантом. Дверь направо.

— Благодарим,— сказал Витя и продолжил чтение (не любил останавливаться на полпути):

«При условии неукоснительного выполнения заказчиком предписанных процедур, фирма гарантирует качество исполнения на 90%.
Примечание 1. Отклонения в пределах 10% считаются допустимыми.
Примечание 2. В течение гарантийного срока, т. е. вплоть до достижения совершеннолетия, фирма принимает на себя устранение отклонений, происшедших не по вине заказчика, в случаях превышения указанного допуска».

— Интересно, какими методами этого добиваются? — задалась Лена вопросом.

— Секрет фирмы,— все еще под музыку отвечала приемщица.

— Ладно,— сказал ей Витя, собирая гармошку, чтобы возразить по принадлежности.— В общем и целом все ясно. Мы бы хотели заказать мальчика.

— Как мальчика? — всполошилась Лена.— Путинцев хочет сказать девочку!

Витя опешил.

— Девочку? С каких это пор? Мы же договорились!

— Я передумала,— заявила Лена супругу и настоятельно повторила приемщице: — Мы хотим заказать девочку!

— Так все-таки девочку или мальчика? — приемщица растерялась настолько, что отключилась музыка.

— Конечно же, девочку! — заявила Лена.

— Разумеется, мальчика,— сказал Витя приемщице.— Какой разговор.

Та взмолилась:

— Дорогие сограждане, вы сначала решите между собой!.. Либо уж фирма примет отдельную заявку от каждого.

— Отдельную! — в один голос вскричали Путинцевы.

Спустя десять минут компьютер заглотнул по очереди обе заявки, сначала, само собой, Ленкину, а потом и Витину. Покуда электронные внутренности их переваривали, приемщица (вновь под нежную музыку) предложила:

— А может быть, вы желаете двойню?

— Только этого нам не хватало! — отрезала Ленка.

— А что, от этого изменится график? — отважился спросить приемщицу Витя.

— Безусловно изменится, — отвечала та, принимая между тем с пульта ответы машины. — Девочка, согласно вашей заявке, индекс 16-21-38, заказ ориентировочно на третий квартал... Мальчик индекс 27-32-49, ориентировочно на будущее пятилетие.

— Ну вот, видишь! — торжествовала Лена. — Насколько с девочкой проще!..

— А почему мальчик так долго? — спросил разочарованный Витя.

— За разъяснениями, пожалуйста, к консультанту. Дверь направо.

В небольшом кабинете, располагавшем к доверительности, консультант фирмы «Малыш», похожий на российского интеллигента эпохи писателя Чехова (бородка, пенсне, только дужки над переносицей недоставало), толковывал задушевно:

— Ведь вот какая штукация получается, милейшие мои, вам, молодоженам, едва ли не всем до единого, подайте, как сговорились, сыночка. А спрашивается, почему? Сплошные эмоции, аргументации нуль! Помилуйте, мы же с вами гомо сапиенс, разумные люди. Ежли нынче вы подарите нам одних сыновей, посудите сами, что же завтра-то станется? Скажем, годков эдак через двадцать? Загляните вперед, что нас всех, передовое и новомыслящее, ожидает! Нет, вы только представьте себе эту планету высокорослых, спортивных, решительных, деятельных, смелых молодых мужчин, к тому же имеющих немногим отличный от нуля шанс повстречать женщину по себе. Однополое, бесплодное, вырождающееся, агрессивное — ведь вот каких эпитетов достойно подобное общество, страшноватая перспектива... покорнейше благодарим! Словом, освобождение от природной, вероятностной регуляции вынуждает фирму регулировать рождаемость по программе...

— А как вам это удастся? — спросил любознательный Витя, воспользовавшись тем, что консультант позволил себе перевести дух.

— К сожалению, молодой человек, вот это секрет фирмы... Но мы всегда готовы пойти навстречу заказчику! На взаимных началах. Ежли, скажем, вас устроил бы невысокий, нерешительный, несмелый, неспособный и так далее мальчик, график исполнения заказа существенно бы сократился.

— С такими, разумеется, мороки поменьше? — усмехнулся не без горечи Витя.

— Трудоемкость изготовления отличается незначительно,— деловито возразил консультант.— Между тем как для полноты спектра в таких людях общественная необходимость. Но желающих, к сожалению, недостает.

Ему можно было поверить, во всяком случае если судить по собственной Путинцевых попытке. Не так-то легко, оказывается, подобрать себе чадо по вкусу. Только что убедились в этом при обсуждении выведенной на домашний экран фирменной заявки.

...По поводу внешности Витя спорить не собирался, целиком предоставил решать жене. Какая, в конце концов, отцу разница, сын темноволос или светел, черноглаз или голубоглаз, коренаст или высок ростом? Сложнее с чертами характера, со склонностями, словом, со всем тем, что фирма именovala Внутренними Определяющими Параметрами Личности (ВОПЛи). Первая заминка случилась, когда Витя попытался отстоять преобладание разума над чувствами.

«Значит, ты желаешь, чтобы ребенок вырос, как робот!» — не заставил себя ждать Ленкин приговор.

Само собой, Витя этого не желал, но еще менее привлекала его чувствительная барышня в мужском роде.

«При чем тут барышня! — закипела Ленка.— Речь идет о душевности, теплотел.. Неужели понять так трудно?!»

«Ну хорошо, давай это отложим, а пока разберемся, что там еще»,— миролюбиво предложил тогда Витя.

Благополучно миновав далее рифы доброты (в противовес злобе, жестокости, жадности), великодушия (против мелочности и обидчивости), прямоты (а не изворотливости) и смелости (не осмотрительности), и даже своеволия (не послушания), семейная лодка опять споткнулась, на сей раз о справедливость. Витя отдал предпочтение противостоящей пристрастности.

«Но где же логика?! — немедленно уличила его Лена.— Разве в справедливости не проявляется разум?!»

После долгих и не слишком плодотворных дебатов удалось все же двинуться дальше и беспрепятственно выяснить: оба дружно хотят видеть будущего потомка настойчивым, деятельным, решительным, честным... только скромным ли?..

«Вот ты, Витюта, не честолюбец, отнюдь, надеюсь, не станешь этого отрицать... Так как же это тебе мешает!»

И относительно такой черты, как терпимость, не обошлось без сомнений. Собственно, возникли они у нее, у Лены. Что до Вити, он на этой позиции стоял как скала. Даже кого-то великого призвал на подмогу, из древних: ненавижу, мол, ваши идеи, но готов умереть за то, чтобы вы-де могли... Цитата Ленку скосила.

Таким образом, мало-помалу супруги одолели заявку, вчерне, разумеется, для прикидки. Все-таки вводить ее в коммуникатор не стали.

Предпочли в удобное для обоих время отправиться на фирму «Малыш» сами... И вот, пожалуйста, взамен скорректированного в жарких спорах замечательно многообещающего потомка, их склоняют к согласию на какого-то второсортного недотепу!

— Ну а если бы мы, предположим, захотели двойняшек? — вспомнив сказанное приемщицей, занкнулся фирменному консультанту Витя.

Лена тут же его, конечно, одернула.

Консультант же, не обратив на это внимания, в своей мягкой манере ответил:

— Что же может быть радостнее в молодой семье, чем воспитывать мальчика с девочкой, близнецов, братика и сестренку! Я бы вам посоветовал, если позволите, серьезно поразмыслить над этим. И к тому же от имени фирмы могу присовокупить: это облегчило бы нашу задачу.

— Благодарим за совет, но заказ оформляем! — поднимаясь, решительно заявила Лена.

— Мы подумаем, — пообещал в пику ей Витя. — Большое спасибо.

Незвизрая на столь явное расхождение мнений, все же фирму «Малыш» Путинцевы покинули вместе. По какой-то одной ей известной причине Лена отказалась от намерения немедленно осуществить свои планы.

На улице с озабоченностью объявила:

— Я к себе в институт, и так полдня пролетело!

— Я к себе, — откликнулся эхом Витя.

И разошлись в разные стороны. Расстались до вечера.

Ну а вечером дома встретились как ни в чем не бывало, словно это не между ними обнаружилось стопроцентное разногласие по не последнему, между прочим, в семейной жизни вопросу.

Перед сном, как водится, мирно попили чайку, обменялись институтскими новостями. Разомлев от подобной идиллии, Витя высказал еретическую идею:

— А не послать ли эти новации куда подальше?!

И поскольку в ответ Лена только лишь пожала плечами, неопределенно и в то же время устало, Витя обнял эти покорные плечи и поцеловал родную жену в губы. Поцелуй получился долгим и сладким и в небольшой степени вдохновил Витю.

— А что, правда, Леноч, рискнем, а? Была не была!

Чем окончилась рискованная попытка, можно было более или менее определенно судить спустя положенные для прибавления семейства сроки. У Путинцевых родилась дочка. Что еще оставалось счастливому Вите, как не таскать в родильную палату букеты охапками, констатируя, в полном согласии с фактами, что Ленкина взяла, как обычно.

Разумеется, никто не мог дать гарантии, что крошка Катенька вырастет в полном соответствии с материнской заявкой, подготовленной в

свое время для фирмы «Малыш». Но заявку эту Лена на всякий пожарный все-таки сохранила.

— Надеетесь, вырастет, Елена Александровна?

Улыбается в ответ таинственно:

— Секрет фирмы!..

Мода на правдивых

Когда Витя Путинцев предложил в институте испытать антилжин, сначала от добровольцев отбою не было. Теоретически все изложил в наилучшем виде; специалисты одобрили, а другим какой резон залезать в эти дебри, где черт ногу сломит. Для общего же развития ограничился сообщением, что психиатрам знакома органическая неспособность ко лжи у некоторых больных. Он, Путинцев, сообразил, каким образом намеренно вызвать подобный симптом у вполне нормального индивида. Остальное было делом техники, как говорится. Тем и притягивала путинцевская затея, что обещала преодоление сложностей путем элементарным: по таблетке утром и вечером — и лады: режь в глаза правду-матку кому захочешь, не бойсь, опыт все спишет.

На ближайшем же семинаре Теракян, дипломат и политик, некоронированный чемпион в академическом стиле, вдруг прилюдно обнаружил ошибку уважаемого коллеги. Угляди он нечто подобное раньше, до путинцевских опытов, вероятнее всего, поделился бы сомнениями в коридоре, полусшепотом, колеблясь и недоумевая, а уж кто-то из правдолюбцев, каковые до конца никогда не переводились, возможно, и подхватил бы его колебания, протранслировал громогласно. Ну а если бы в крайнем случае сам от высказывания не удержался, прозвучало бы оно приблизительно в таком духе, что в интересном, поучительном, в чем-то даже блестящем, многообещающем сообщении уважаемого имярек, лишний раз подтвердившего профессиональный уровень, непонятным-де образом проскочила предосадная шероховатость. Так бы высказался проницательный Теракян, даже если под шероховатостью таился провал, пропасть, в которую рушилось у коллеги все без остатка. Зато ныне, обнаружив ошибку в расчетах, существенную, пожалуй, однако же не коренную, отнюдь, обходительнейший Тер тем не менее без подготовки пальнул: мол, наука не терпит приближенности и спешки, а простая небрежность чревата фальсификацией результатов, и, припомнив огрехи в предыдущих работах Эн Эн, подвел к выводу, что пред нами не оплошность, но метод. Тут возникла немая сцена, что продлилась, однако, не долго. Под воздействием поданного примера (и путинцевского, разумеется, препарата) коллеги сообща накинудись на еще недавно уважаемого собрата, только пух во все стороны полетел.

Происшествие это послужило началом. Продолжения? Они не заставили себя ждать. Путинцев не хотел оттолкнуть никого; заносил фамилию в список, ставил крестики в рабочей тетради. Как известно, чем больше участников в эксперименте, тем для достоверности лучше. Но не менее известно и то, что на статистику полагаться не след, если не подкрепить ее кой-какими добавочными ухищрениями. Скажем, слепым методом не ввести контрольную группу. Это значит, что части подопытных, того не подозревая, предстоит проглотить — взамен испытуемых — таблетки пустые, по виду не отличимые от настоящих. Шифр, кому что дается, у Путинцева хранился отдельно, в секретном местечке. Будет ли разница в действии — вот вопрос. По идее-то, ясно, должна проявиться.

Не успел осесть пух от заклеванного коллеги, как в соседней с путинцевской лаборатории взбунтовался тишайший Е., аспирант: наотрез отказался не грить и не воевать на своего шефа, а когда шеф, сопротивляясь действию антилжина, попросил уточнить сей сомнительный термин, Е. открыто уподобил того вурдалаку, присосавшемуся к аспирантским свежим мозгам. Невосприимчивый к препарату шеф в ответ потребовал фактов. И требуемое сполна получил. Вследствие чего самого проняло.

Грош цена голым идеям, заявил он. «Сказать все можно, а ты, поди, демонстрируй!» Из того, что он дает возможность рассуждать и высказываться, чтобы после из моря бреда выудить сколь-нибудь стоящее, крупницы, молодой человек вывел неверное заключение. Черт-те что возомнил. «Я, по-вашему, вурдалак? Да вы сам сосунок! Не я высасываю ваши мысли, а вы мой опыт. Что естественно, впрочем. Как естественно, что по бедности расплачиваетесь мелочишкой. Медяками!.. Не беда, рассчитаетесь, придет время!..»

Если честно сказать (а умельцев говорить по-другому что ни день убывало), не одни научные отцы и дети занялись сведением счетов. На поверку оказывалось, что правда — отнюдь не безобидная штука. Даже, может быть, ее следовало приравнять к веществам особо опасным, обращаться с коими надобно с осторожностью и сноровкой. Как сострил Теракян, на сосуде с этим субстратом надлежит отныне изображать череп и кости.

Он сострил так после того, как Путинцев явился к его сотруднице строго выговорить ей за то, что она-де манкирует. Забывая вовремя получить таблетку, мисс, быть может, того не желая, нарушает чистоту опыта, неужели не ясно. Что же неясного, отвечала сотрудница Теракяна, по старинке называемая Путинцевым «мисс», хотя давно стала миссис, только ничего она не забыла, а сознательно из игры вышла, с нее лично хватит. Витя сильно обеспокоился. Почему? По какой причине? Это был первый случай отказа. «Мое право. И отчета я давать не намерена!..» — «Так-то так,— согласился с ней Витя (вернее, вынужден был согласить-

ся), — но пойми, мне желательно знать...» — «Зря настаиваешь. Я таблетки не приняла, захочу и сокру!» Но, немного смягчившись, мисс, она же миссис, поведала, что муженек ее благоверный, оказывается, тоже записался к Путинцеву в опыт, она и не знала. «Ну так в чем криминал?» — не уразумел Путинцев. До тех пор, оказывается, считалось, что мистер вечерами посещает какие-то курсы, занятие через день, а тут открылось, что за курсы на самом деле... «Из-за опыта твоего дурацкого расходимся мы!» И в слезы. Витя это плохо переносил. «Ты бы лучше мне сказала спасибо...» — «Тебе?! Это, интересно, за что же?!» Он пустился было в объяснение по науке, относительно преимуществ честности в жизни, вот тогда Теракян своей остротой его и прервал. Сказанул про череп и кости. В меткости этих слов предстояло еще не раз убедиться, в том числе на собственной шкуре.

Наблюдатель, экспериментатор, до поры до времени он взирал на происходящее, как в микроскоп, с неподдельным, захватывающим интересом, однако же трезво и несколько отстраненно, олимпийцу подобно. Наблюдатель обязан фиксировать факты, для достоверности выводов набирая статистику. И в принципе мало что изменялось оттого, что под нацеленным окуляром на предметном стекле не молекулы, не инфузории корчились, а человеческие экземпляры. Так, во всяком случае до некоего момента, полагал научный сотрудник В. Путинцев. Представления эти, были, однако, поколеблены, и весьма ощутимо, стоило лишь самому попасть под прицел. Подопытные коллеги откровенности не стеснялись. Довелось-таки кое-что услышать о себе. Так, по общему мнению, Витя был везунчик, счастливчик, а согласно законам сохранения (интересно, чего?) счастье одного, оно строится на несчастье другого. И за тем, что ему удастся резвиться в науке, как форели в чистом горном ручье, проступает согбенная тень труженика, изнывающего под поклажей. Он открыл, что коллеги завидовали ему... Неужели правда, вдобавок к прочему, непременно должна быть горька? Он когда-нибудь отлынивал от положенной порции груза? То, что названо «резвостью», разве это взамен, разве это не сверх распределенной нагрузки?! Кому много дано, с того много и спросится, поясняли ему, и тогда к ощущению горечи примешивался медовый привкус.

Горьким медом повеяло и от признания Юленьки В.

Безотказнее, безобиднее и беззащитнее Юленьки в институте не было существа. Кому, впрочем, могло прийти в голову ее обижать? Все равно как обидеть младенца. Хотя Юленька, ясно, была далеко не младенец. Сколько Вите Путинцеву помнился институт, столько помнилась и Юленька В. Неизменно в работе, в хлопотах, в стремлении по возможности облегчить окружающим жизнь, а сама незаметная, фоном, на дальнем плане, она, казалось, просто растворена в бытие институтском, никакого иного не зная, без остатка в этих биорасторах, над которыми вечно шаманила, колдовала. Разумеется, в стороне от путинцевского

эксперимента она не осталась. И где-то после четвертой дозы, уловив минутку, когда они с Витей оказались вдвоем, объявила, что любит его, Витю. Давно и серьезно. И его, Витина, Лена уже тоже, как говорится, в курсе, он же сам виноват со своим антилжином, иначе... иначе под пыткой бы ни в чем не созналась. В серьезности ее слов, равно как ее чувств, сомневаться не приходилось. Серьезность вообще была свойственна ей, равно как правдивость, да, Юленька, она, конечно, из тех, кто в препарате для честности не нуждался, без того бы не соврала. Но промолчала б, конечно... «Под пыткой!..» Так могла выразиться только она, с ее пристрастием к старомодным романам. Словом, Витю-«везунчика» точно гром разразил, никому бы не пожелал очутиться на своем месте... А на месте Юленьки В.?! Его первым движением было прикрыть ее от опасности, защитить... Но как? От чего?! Со слоновьей грацией попробовал обратить все в шутку. Ну конечно, он же сам не глотает таблеток, заметила на это Юленька с грустью, да ей и не требуется от него правды, сама прекрасно ее создает. Из-за проклятого антилжина смолчать не сумела!..

А следом за Юленькой ополчился на Витю его мальчик, его подопечный, до крайности недовольный тем, что ему, видите ли, уделяется мало внимания, поскольку руководитель, шеф, вместо того чтобы выполнять свое педагогическое предназначение, увлекся незапланированными экспериментами, совершенно к тому же для лаборатории непрофильными и практиканту, стало быть, бесполезными. Ползунок, с четверенек не вставший, ему, Путинцеву, смел указывать, как он должен себя вести! Чтобы яйца курицу учили!.. Но Витя сдержался и наглеца не срезал, признал в его претензиях долю правды. Взяв за руку, вместо этого отвел к Теракяну. Вот, мол, не угодил достопочтенному сэру, не пристроишь ли его у себя. Теракян выслушал обе стороны и согласился по дружбе. Лишь напоследок заметил, что в создавшейся обстановке не обязательно лопать таблетки, чтобы не держать кукиш в кармане. «Что же в этом плохого?» — спросил Витя, к неприятностям от эксперимента начиная уже привыкать. Но коллега не пожелал вдаваться в детали. На обратном пути Витю кольнуло: уж не заподозрил ли его мудрейший Тер?!

Долго мучиться неизвестностью ему не пришлось. И ответ на свой вопрос не от Теракяна услышал. Сам Б. Ш. удостоил Путинцева такой чести.

Едва вернувшись к себе, он узнал, что его разыскивает Генриетта Акимовна. Ангел-хранитель при Б. Ш. (согласно иной точке зрения — демон), она не тревожила по пустякам. Так что стоило Путинцеву объявиться, как он тут же предстал пред ясные очи.

Сияние, каким его встретил Б. Ш., похоже, ничего доброго не предвещало.

— Рад тебя видеть, мои ами Витя, однако же попенять должен: совсем старика забывать начал, ни посоветоваться не зайдешь, ни похвастать... В щель забился, усов не видеть...

— Ну что вы, Константин Эдуардыч,— забормотал в ответ Витя,— совестно отнимать у вас время...

— По-прежнему мягко стелешь, месье таракан запечный, не то что некоторые от твоего антилжина. Довелось кое-что выслушать...

— Надеюсь, не враки?

— Не враки, голуба, не враки. Все как есть, лукавить не стану. А удовольствия мало...

— На правду не обижаются,— сказал Витя.

— Вот в этом как раз наша с тобой ошибка... Непростительная, дружок, между прочим. Что враки, утайки, даже наветы? Ну, раздражают, злят, портят жизнь, возмущать могут. Обидна же по-настоящему только правда. Потому — от нее нету честной защиты. В мое время увлекались футболом, игра такая, ты не застал? Так вот, самый страшный штраф без защиты, верняк, назывался пенальти. Именно такой удар правда.

— Перестал понимать вас, Константин Эдуардыч.

— Непонятлив, стало быть, мой одаренный, драгоценный мой, трансурановый... Недошвина заклезали? В лаборатории драчка? В семьях разлад? У тебя самого неприятности? Я, спасибо тебе, с три короба получил... Верно: череп и кости, мои шер коллег!

— С информацией у вас поставлено!..

— И не только с нею... во всяком случае, было!

— Согласитесь, Константин Эдуардыч, разве Недошвина понапрасну? И в лабораториях, в семьях, и меня самого?!

— О какой напраслине ты говоришь? Что ты, золотце Витя. Исключительно все справедливо. Целесообразно ли, вот суть.

— От вас ли я это слышу, дорогой учитель, Большой Шеф! — не выдержал Витя.— Позвольте спросить, а целесообразно ли, простите меня, Солнце?

— Целесообразно ли, интересуешься, Солнце? Сиречь природа, мироздание и тэ пэ? Хитрый сэр поросенок... Даю ответ: покуда мы не в силах его приспособить, мы сами приспособляемся к нему!.. Покуда, возлюбленное мое чадо. Покуда!..

— Так разве не похожая ситуация с правдой? Нам надо приспособить себя, по вашей же терминологии, к ней. Дайте время — и она станет служить нам, правдивыми ставшим, верой и правдой!

— Правда правдой! Где ты набрался этого стилю? Варварский стиль, мои дѣ, не замечал никогда за тобой,— заворчал Б. Ш.— Нынче критика вошла в моду. И стало быть, библиография вместе с нею. То вроде бы до всего своим умом доходили. Во всем первые. А то — ссылка на ссылку!.. Сколько же времени тебе надо, покуда этот самый твой,

как его... антилжин не переделает нас? Кстати, это, надеюсь, без дураков, диар френд, твоя собственная идея?

— Идея-то моя,— потупился Витя.— Да препарата,— развел он руками,— не существует!

— Повтори, мой милый. Недопонял.

И по-стариковски рупором приложил ладонь к уху.

В этот рупор Витя сказал:

— Мысль о том, чтобы намеренно вызвать симптом неспособности ко лжи, характерный для некоторых разновидностей шизофрении, эта мысль, как докладывалось в свое время на ученом совете, действительно принадлежит мне, Путинцеву В. В. Равно как разработка соответствующего препарата, названного антилжином. Однако объявленные его испытания у нас в институте на самом деле не проводятся и не проводились.

— Так я и думал! — с неожиданным облегчением откликнулся на этот рапорт Б. Ш.— Ну и хулиган же ты, Витя!.. Если б мне кто раньше сказал, ни за что б не поверил. Удивил старика. Но к чему эта дичь, объясни ты на милость. Где тут смысл? Ради чего блефуешь?!

— Объяснить? — переспросил Витя.— Хорошо, пожалуйста, объясню. Я в действительности приготовился наработать партию препарата, но кой-чего малость недоучел, просчитался. И я подумал: даже к лучшему эти трудности с препаратом. Полоса такая, что ли, настала. Народ настолько стосковался по правде, подтолкни, и все сдвинется. Сама пойдет!.. В такой обстановке контроль попросту невозможен, до того всем надоело держать кукиш в кармане. Жизнь научная, она ведь тоже полосато течет, или, может, циклично. То так, то эдак. То одна мода, а то другая. В патовом положении окажемся со своим испытанием, а зыбь мертвую попадем, в тупик, как в той притче о критянах, ей-Богу. Разумеется, помните эту притчу?

— Помню, помню... а ты напомни.

— Классический же пример софизма, Константин Эдуардыч. Один критянин говорит, что все критяне лгут. Но он — критянин и, следовательно, лжет тоже. А если так, стало быть, на самом деле все критяне говорят правду. И этот, значит, тоже говорит правду, то есть, правда, что все критяне лгут... и тэ дэ и тэ пэ.

— Ну а в чем тут изъян, в рассуждении этом, хоть докумекал? — залюбопытствовал Б. Ш.

— Обижаете...

— Ну а все же?

— В невероятности обобщения... В человеческой натуре.

— Так... И ты решил схулиганить. Хороша диалектика, мил человек: на обмане строить здание правды!

— Ну, во-первых, не помните,— возразил Витя,— когда именно я докладывал на совете? Первого, между прочим, апреля! А во-вторых: тьмы низких истин нам дороже...

— Стихи! — восхитился Б. Ш.— Притча! Уж не азбучной ли грамоте ты, случаем, обучился?!

— Комп покамест справляется с этим...

— Хорошо,— подобрался Б. Ш.— Ну, допустим, поставим опять твоё сообщение на совете. С чем ты выйдешь?

— С тем, что есть... естественно, с чем же? И надеюсь, мы с препаратом сладим. Но испытывать следует в другом месте... Там, где свыклись... на Крите!

Время Витино вышло: Б. Ш. поднялся. В размышлении протянул Вите руку. В глаза заглянул.

— Ещё последний вопросец, мой мальчик... деликатный,— он замялся.— А как ко всему к этому твоя половина?

— Ленка?!

Витя Путинцев только рассмеялся в ответ:

— Мы с ней к этому, как ни странно, оказались готовы.

Моноспектакль

Как ни велик город и ни разнообразны городские круги, неожиданные пересечения вполне вероятны и, скорее всего, при любых обстоятельствах, как тогда с Теракяном, неизменно нескстати. Если верить Лене, Теракян совершенно опешил, когда Витя его не узнал. А что было бы с вами на его месте? Вы бросаетесь к человеку, с которым бок о бок работаете не один год, видите из дня в день и, понятно, давно на ты, а он упирается в вас стеклянным взглядом и заявляет, что, к сожалению, вы обозначились. В собственном, мягко говоря, здравомыслии усомнишься. Теракян, правда, по словам Лены, сначала было принял это за розыгрыш, даже похлопал художника по плечу, и трудно сказать, чем бы кончилось дело, если бы тот не смягчил ситуацию, произнес спасительную фразу о близнеце-брате, заготовку для подобных случайностей. Знаете ли, нас вечно с ним путают, и все такое. В юности друг за друга на свидания ходили и оплеухи схлопывали. А вдобавок тут же попросил попозировать. Прямо там, в компании, не сходя с места. Так сказать, без отрыва. Сам Витя, правда, не помнил, как это получилось, но по Ленкиному рассказу хорошо себе мог представить. Извините, сказал вроде бы ни с того ни с сего, вас не затруднит в такой позе посидеть минут десять? А сам уже карандаш схватил, лист бумаги... Разговаривать, пожалуйста, можно, хотя лучше не нужно. Дышать? Да, это сколько угодно... Плохой он был бы мазилка, если б прошел мимо такой модели. Единым махом ухватил суть и перенес на бумагу этот огонь на

мерзлоте, мгновенно, целостно и беспощадно. Огнедышащий вулкан с ледяным нутром. Не зря Теракяновы предки столетиями поклонялись священной снежной горе. Любопытствующие, которых всегда набиралось сверх меры, только ахнули, по утверждению Ленки. Портрет этот понравился и самому Вите, когда Ленка уговорила его пойти посмотреть.

Но прежде, а точнее наутро после непредвиденной встречи, Теракян прибежал в лабораторию сам поделиться вчерашним. До чего похож, восклицал, прямо одно лицо. А портрет! А талант! Ты, Витюша, кремень, никогда ни полслова о таком замечательном брате. Познакомь! Пригласи! А едва извержение стихло, ударился в меланхолию: странно все-таки, генетические близнецы, а ты... а он! Бесполезно было прерывать Теракяна, так что Витя его дослушал, извинился, сославшись на поставленный опыт, и по-свойски вежливо выставил за дверь. О брате, мол, как-нибудь другой раз.

И все-таки этот визит, этот набег Теракяна кое-что значил для всякого, кто разбирался в институтской жизни. Его появление как примета, поразительное чутье на успех, за то и любят его в институте... за то и не любят. «Что-то Тера давно не видно — дурной знак...»

А с этим художником Путинцевым с ума посходили, весь институт гудел, чуть не врывались в лабораторию. Мол, правда, твой родственник? Ну, предположим, родственник, да вам до этого что? С каких это пор вы живописью заболели, синие вы чулки? Как с каких, как что? Это же гениально! Надо обязательно заманить его к нам, на клуб интересных встреч! Да что его заманивать, не инопланетянин, не экстрасенс, не монстр, почему вы думаете, что встреча с ним интересна? Равно, впрочем, как встреча с вами... Все, что мог и хотел, он своими работами высказал! Куда там! Особенно после случая с Теракяном не хотят ничего слышать.

Витя, в сущности, никогда не увлекался изобразительным искусством, на вернисажи его надо было вытаскивать, что требовало немалых усилий от Ленки. Наготове имелась дежурная отговорка, облеченная, впрочем, в наукообразную форму, — о том, что данная старинная ветвь культуры усохла от времени, себя изжила. От этого, как от спички, неизменно вспыхивала дискуссия. Витины доводы: реальность куда полнее передается объемной цветной съемкой с помощью разнообразной оптической аппаратуры... Ленка женским чутьем улавливала, по-видимому, нечто недоступное Вите. Ну а в данном конкретном случае, помимо всего прочего, условия эксперимента не требовали обязательного знакомства с работами художника П. Но такой повсюду вокруг поднялся гудеж, что Витю разобрало-таки любопытство.

В самом деле, многое выглядело необычно на устроенной новоявленными почитателями выставке. Эти метафоры, рожденные в лишенном солнечного света мозгу, и пронзительное проникновение в глубь

характеров и предметов. Правда, композиции были порою не выверены, несоразмерны, а колорит своеволен, но все вместе передавало, как это принято говорить, эпоху. Из плоских прямоугольников в сложности и противоречивости возникала изощренная городская цивилизация технотронной эры. Вершиною же, в самом деле, был портрет Теракяна.

Витя высказался по этому поводу с определенностью, заметно обострившейся у него по ходу эксперимента.

Минута перекинуться фразой-другой, как правило, выдавалась за завтраком. Отпивая по глотку свой кофе, Витя просматривал беглые Ленкины заметки и от комментариев, равно как и от вопросов, не считал нужным воздерживаться. На сей раз Ленка, однако, не стала растолковывать ему записанное, как поступала обычно. Точнее, с тех пор как начала эти заметки вести, едва только сделалось ясно, что без них он просто не в состоянии держать под контролем эксперимент. Она не стала на сей раз отвечать на вопросы, отметила только, что его суждения о живописи не более чем показания оптического прибора. От этого замечания не удержалась. А потом заявила, что валится с ног, от постоянного недосыпа все время плавает, как в тумане, словом, заданный режим для нее не по силам. Добром это не кончится, если не придумать чего-то.

Витя спорить не стал. Что ж тут спорить. Должно быть, она действительно замучилась с ним. Режим в самом деле утомительный для нормального человека. Хотя, впрочем, что считать нормой, пустился он в рассуждения. Треть жизни, потерянную на сон? Умственные способности, не используемые и наполовину? Наконец, помехи, постоянно создаваемые полушариями мозга друг другу? Действуя методом тыка, на ощупь, эволюция столько наворотила... или, может быть, Елена Александровна с ним не согласна? Отвергает с порога самую возможность того, что истинно природную норму именно ему, Путинцеву, удалось приоткрыть?!

Ничего Елена Александровна с порога не отвергала.

— ...Но раз ты не в силах посочувствовать мне, попробуй логически вывести: когда человек спит в сутки часа три, ему необходима смена... Без сменщика я долго не протяну!

— Дневной мозг, по-видимому, вполне справляется с самоконтролем,— возразил Витя.— В надзоре со стороны нуждается, в сущности, только ночной мозг. А ты вполне могла бы отсыпаться днем. Для этого достаточно взять себе отпуск.

Рисковое заявление, если учесть, с какой ревностью относилась Елена Александровна к собственным институтским делам. Тем более это легко было истолковать как умаление их. Брось, мол, все и ко мне наподхват! И все-таки Витя отважился: знал свою Лену.

Ни один из них не имел права забыть: соблюдение режима было первым условием для успеха эксперимента. Чтобы выполнить это условие, поначалу пришлось прибегнуть к хитроумным уловкам. А там вскоре Путинцеву судьба улыбнулась. Не без помощи добрых друзей, а точнее благодаря тому же неподржаемому Теракяну, вышел на некоего превеликого знатока медицины восточной, античной и прочей.

Это теперь достаточно стало, возвратившись из института, прилечь на часок-полтора, чтобы почувствовать себя другим человеком. И одежду из гардероба, вздремнув, выбирал совершенно иную, и душа, по-новому облаченная, жаждала приключений и бурь, и руки зудели. Без рассуждений! Все, что только глаз замечал, все просилось на холст, на картон, на бумагу. И уж ясно, никакого контроля этот новый Витя над собою ни за что бы не потерпел. Ну а Лена была верной подружкой и порою надоедала, так что он старался от нее улизнуть и, когда удавалось, мог под утро обнаружить себя в незнакомом доме и даже городе или даже постели. Между тем навязанный экспериментом режим уже делался как бы собственным биоритмом, и тогда, возвращенный к себе дневному, Витя строго выговаривал Лене, что не уследила за тем, ночным, и, следовательно, допустила в эксперименте пробел. А возможно, и срыв! Оправданий не принимал, не говоря уже об упреках.

Поначалу, однако, было вовсе не просто добиться биоритмизации заданного режима. К счастью, сама природа заранее позаботилась о Путинцеве, протянув для питания кровью к каждому из мозговых полушарий собственную свою жилу. Ну а древнему врачеванию было издавна ведомо, как при помощи несложных манипуляций на этих «артериях каротис» — сонных! — безо всяких наркозов погрузить в сон человека. Например, скажем, воина — дабы безболезненно вытащить наконецник копья из чресел... Превеликий знаток медицины восточной, античной и прочей обучил Путинцева искусным древним приемам, а уж Витя, наверно за тысячи лет впервые, попытался разделить их на лево- и правосторонние таким образом, чтобы на ночь засыпало одно полушарие, тогда как на день другое.

Так он зажил двойной жизнью, самый первый в роду человеческом б и ц е ф а л, или, по-простому, д в у м о з г и й, на работе оставаясь почти что прежним, без труда узнаваемым коллегами Витей, как всегда погруженным, согласно институтскому плану, в необходимые замыслы, лабораторные опыты и идеи, привычно замкнутый на повседневных заботах скрупулезный испытатель природы, который между тем вечерами с неотвратимостью смены дня и ночи тайком от коллег превращался, подобно уродливой гусенице, что становится яркой бабочкой, в ослепительного человека искусства. На выставку его картин в любую погоду выстраивались хвосты, корреспонденты брали у счастливых-зрителей интервью, а критики-искусствоведы с чьей-то легкой руки принялись

рассуждать о наступлении — после эры кибероботехнизма, до сих пор представлявшейся бесконечной, — Нового ренессанса, имея в виду, что Старый приходился по современному летосчислению на середину второго тысячелетия. Разлетелись слухи, будто Художественный совет собирается объявить Путинцева лауреатом года. По традиции присуждению Лавров предшествовало широкое публичное обсуждение. С каждым разом становилось труднее отбояриваться от многочисленных приглашений, просто счастье для Вити, что удалось подавить Ленкин бунт в зародыше, на подобные мероприятия отправлялась она, благо отпуск еще продолжался, и о том, что ему наступит конец, не хотелось даже и думать.

Но Путинцев все же не избежал худсовета. Тот собрался для подведения итогов.

Заседание назначили на десять утра. В институте Витя сказался нездоровым, он вернулся домой переодеться и захватить с собой Ленку. И на сей раз крепко надеялся на нее. Разумеется, внешность дневного, левополушарного Вити не так-то мудро было скрыть под экстравагантным костюмом — свободная блуза, пестрый шейный платок... пресловутый стиль боз-ар не позднее двадцатого века. Но ведь внутренне он оставался самим собой, экспериментатор, аналитик, рационалист. Как бы чуткие члены Совета не учуяли инстинктивно подлога, опасения были отнюдь не напрасны. И однако же все обошлось — благодаря Ленке. Взволнованная обилием восторженных слов, она, должно быть, своими эмоциями, как панцирем, обволокла невозмутимого Витю. Обсуждения, в сущности, не было, одни дифирамбы, и, казалось, тянуться им до скончания веков. Триумф наследника Гойи и Босха! — вот так восприняли это присутствующие, все, за исключением двоих. Лена с Витей проникли на большую глубину. Это был и на самом деле триумф, — но научно-го эксперимента.

Между тем приближался вечер, то есть час превращения. Оборвав очередного хвалителя, без пяти минут лауреат поднялся, суховато поблагодарил всех и, ничего оригинальнее не придумав, как сослаться на нездоровье, не дождался конца, уехал. Непорядок, чепэ! Ведь Совет завершало голосование и торжество — увенчание новоявленного лауреата!.. К торжеству готовились, существовала традиция, отшлифованный ритуал, в конце концов это был общий праздник, чествование Искусства, и вдруг перед самым поднятием занавеса главное действующее лицо исчезает!.. Но менять что-либо, увы, было поздно. И деваться уже некуда, столько наговорили. А у Путинцева тоже выбора не оставалось, биоритм не допускал отступлений. С превеликим трудом успел Витя добраться до койки. Что касается Лавров, их с достоинством приняла по поручению художника Ленка.

Институтских его поклонников лауреатство окончательно вывело из равновесия. Так и не забывшие случая с Теракяном, коллеги не желали теперь знать никаких отговорок. Подавай им близнеца-брата, и баста! Отпуск Ленкин был на исходе, на продление рассчитывать не приходилось, а это неминуемо означало, что эксперименту так или иначе конец. Посоветовавшись с Ленкой, взвесив все за и против, Витя сдался, назначил день встречи. Разумеется, именно день, а не вечер. Причуды знаменитости служили аргументом неоспоримым. Раскрывать же коллегам истинную причину, само собой, Витя не торопился. Втайне надеялся, что, может быть, в последний момент еще воспротивится институтское руководство.

Энтузиасты, однако, готовы были смести любое препятствие. Выставку из Дома художников перевезли в институт, в конференц-зал. Отпечатали многокрасочную афишу с крупной надписью на фоне репродуцированного портрета Теракяна: научный сотрудник В. Путинцев представит собравшимся лауреата художника В. Путинцева. Разослали приглашительные билеты. В результате в назначенный день в зале яблоку негде было упасть. Вообразите разочарование этих настроенных на праздник людей, когда научный сотрудник В. Путинцев появился на сцене без обещанного лауреата.

Другого выхода у него не было.

Он стоял одиноко с рулоном чертежей в руках возле кафедры с краю сцены в надежде переждать бурю. Уразумев, что это надолго, повернулся отважно спиной к залу и, развернув свой рулон, принялся развешивать, словно перед обычным ученым советом, схемы, графики, диаграммы поверх выставленных на сцене шедевров. От такого кошунства возмущение публики достигло крещендо, но Витю не поколебало. К моменту, когда страсти несколько поутихли и у него появилась возможность вымолвить слово, от рулона ничего не осталось. Все схемы и графики, как Вите и требовалось, красовались у публики перед глазами.

— Художник Путинцев задерживается, просил за него извиниться,— молвил Витя и указал на плакаты.— Сейчас вам кое-что станет ясно.

Обманутая в своих надеждах аудитория взорвалась снова. Но на сей раз ее уже ненамного хватило. Так что вскоре Витя сумел продолжить.

— Дело в том,— запинаясь, сказал он,— что мы с художником в известном смысле как бы... ну, словом, тут действует некое правило, напоминающее известный в физике принцип дополнительности. Как нельзя одновременно определить положение и скорость движения электрона, а только одно что-нибудь, так нельзя одновременно увидеть и нас обоих, только кого-нибудь одного... Поэтому мы с ним, извините, не в

состоянии здесь предстать перед вами, как говорится, рука об руку, принципиально не в состоянии, вот в чем загвоздка...

— Что за мистика! — закричали из зала. — Абракадабра! Так пускай тогда выйдет художник! Позовите художника! На тебя мы и так насмотрелись, глаза каждый день мозолишь! Художника сюда! Лав-ре-а-та!!!

Впрочем, стоило Вите поднять руку, зал послушно затих, чем-то, видно, его уже зацепило.

— Обещаю вам, художник придет. Но всякому овощу... А пока прошу немного внимания. Я позволю себе доложить уважаемой аудитории итоги довольно-таки любопытного эксперимента.

Как коллегам известно, не всегда удается выделить в чистом виде момент зарождения идеи. Да и, правду сказать, далеко не всегда интересно. Так вот, он берет на себя смелость считать, что в данном случае это не так в полной мере. Кто по собственному опыту не знаком с функциональной асимметрией организма! Но вовсе не каждый хоть однажды задумывался над тем, отчего сердце слева, печенька справа, а одна рука искуснее, чем другая. Так вот, он, Путинцев, задумался. Благодаря Пастеру. Да, да, тому самому, великому бактериологу прошлого. У всех ли на памяти его биография? Известно ли, что замечательные открытия совершил человек, владевший лишь одной половиною мозга, тогда как другая после кровоизлияния, по сути, бездействовала в течение без малого тридцати лет. А ведь именно в эти годы ученый выделил знаменитые свои вакцины — против бешенства, холеры, сибирской язвы!..

На него, Путинцева, эти факты возымели сильное впечатление. Поразительнейший же пример возможностей, скрытых сил организма. Плюс к тому свидетельство в пользу парадоксального, на первый взгляд, положения: часть бывает не только не меньше целого, а возможно, что даже больше. Далее нанизывалась логическая цепочка, обоснованная современными знаниями о мозге: отключение правого полушария освободило цифровой компьютер левого, как если бы тормоза отпустили. Когда бы выключилось, наоборот, левое, это, видимо, могло привести к раскрепощению интуиции, подсознания, образности восприятия... Как проверить? Единственный достоверный способ — на опыте... А на ком же удобнее ставить опыты, чем на себе, когда сам у себя всегда под рукой... Оставалось выдумать выключатель — по возможности, безопасный, кровоизлияние «по Пастеру» в качестве метода подходило едва ли... Так же точно, как, скажем, хирургический нож. Словом, подытожил часть первую своего сообщения Витя Путинцев, идея сделалась осуществимой, когда удалось подобрать блокатор межполушарных связей.

Он почувствовал себя как спортсмен на промежуточном финише, можно малость перевести дух и чуть-чуть осмотреться. Аудиторией ему удалось овладеть, это точно, слушали, словно напрочь забыли о том, что

сюда привело. Между тем разъединение мозговых полушарий, еще недавно само по себе эксперимент ультра-си, играло в задуманном вспомогательную, в сущности, роль. Основная была, конечно, не легче — поочередное их отключение, попеременное погружение в сон... Вторая часть сообщения, когда Путинцев излагал ход событий, иллюстрируя их развешанными диаграммами, пошла под аплодисменты, не слабей, чем в театре. И вполне выглядело естественным, что перед третьей частью объявили антракт.

Это вовсе не означало, что в моноспектакле Путинцева прерывается действие. Его лишь переносили на другую сцену, под диктовку биоритма в преддверии метаморфозы. После сообщенного Витей не было надобности пояснять это. Он лишь предложил уважаемой аудитории выбрать себе в сопровождение двух-трех доверенных наблюдателей, предпочтительно мужеского полу, на что зал откликнулся незамедлительно и охотно. Само собой, в числе избранных оказался и Теракян.

До Путинцевских апартаментов добрались без приключений, и, едва переступив вожделенный порог, Витя камнем плюхнулся на диван. А доверенная комиссия под опекою Лены заняла позиции вдоль стола. Это было последнее, что сквозь слипающиеся веки разглядел Витя Путинцев: Теракян и с ним еще двое коллег и Лена на неусыпном посту.

Минул час, или час двенадцать минут (комиссия выступала за точность), когда Витя, нахмурившись, снова на них взглянул, причем так, словно видит впервые. И, схвативши картон, принялся за набросок с этих обмерших истуканов.

Теракян, придя в себя, изумился:

— Ты забыл, что народ тебя ожидает?!

Но художник, точно от комара, отмахнулся.

Тогда Лена вмешалась:

— Нас действительно люди ждут в институте. Пора отправляться.

Пока он собирался, все молчали, и после длительной этой паузы Теракян произнес проникновенно и мрачно, словно бы верша суд:

— Послушай, Путинцев, знаешь, кто ты? Ты гений!

— Наконец-то и вы по достоинству свой портрет оценили, — появив легкомысленный шарфик на шею, невпопад отозвался художник. — Я готов, ваша милость.

Антракт, по обычным меркам затянувшийся немилосердно, едва ли кому при этом наскучил. Когда, выполняя Витино обещание, сопровождаемый наблюдателями художник Путинцев наконец перед собравшимися появился, недавно столь горячо желаемое событие осталось почти незамеченным. Зал был уже захвачен другим. Два мозга, два сознания, две личности в одной физической оболочке — что, в сущности, это могло означать?! Сообща докапывались до сути. Одни склонялись в пользу

того, что найден замечательный путь к удвоению человеческой жизни, к исчерпанию заложенных природой возможностей, к осуществлению великого лозунга «от каждого по способностям» и, стало быть, к полной реализации личности. Только что мыслитель, и вот уже художник... То прозорливец, провидец, а то рационалист, логик... Другие же опасались неизведанного пути: как бы не привел вместо удвоения к раздвоению жизни, явлению болезненному, чреватому осложнениями. Между двумя крайностями полыхала дискуссия, тут и там разгораясь от подбрасываемых вопросов. А представьте себе не лабораторное исследование, но некое общество, социум, целую планету даумозгих — каково это будет и что обещает?.. А не расчищаем ли мы природную почву для двоемыслия, двуличия, двоедушия?.. Призадумайтесь над экологией личности — по небрежению не нарушить бы... А что, если то или иное полушарие включать не в определенные биоритмические сроки, но в зависимости от ситуации, от потребности в том или ином способе деятельности?!

Сказать честно, художник Путинцев не придал никакого значения оказанной ему встрече и труда себе не дал вслушаться, а тем более вдуматься во все эти мудреные, отвлеченные, далекие от реальности суждения, к тому же противоречащие друг другу. Да он и вообще к словам потерял какой бы то ни было интерес. И не по этой ли самой причине не придал значения предупреждению Лены, сообщившей о решении дневного Путинцева кончать с приемом блокатора, даром что это определяло завершение эксперимента и, стало быть, понятно, судьбу художника тоже. Что было ему до всего этого, когда, едва переступив порог зала, он мгновенно нутром ухватил сгусток мыслей, концентрацию умственных сил, бурю мозговых биотоков, недоставало слов сказать, что еще, что заставило выдернуть лист из папки, чтобы покрыть его летучими линиями и штрихами, из которых мало-помалу раз за разом проступали все яснее детали — позы, жесты, рты и глаза, он вычерпывал их из пространства и швырял с лихорадочной щедростью в прямоугольник листа, торопясь уцепить, заарканить, обратить в красоту этот вихрь человеческого общения, этот пир разума. Примостившись на приступочках возле сцены, в этот, может быть, последний в своей жизни сеанс он испытывал безотчетное наслаждение и оттого, что никто не маячил у него за спиной, вперив взгляд в оживающий лист и шепча невразумительные междометия. На него, на художника, в час публичного самосожжения на пиру не обращали внимания, слава Богу!

Охлаждение

Среди ночи она повернулась с боку на бок, умащаясь поудобней, вытянула руку и тут же отдернула, ожегшись не об огонь, о лед.

— Ви-итя! — закричала спросонок. — Ви-итенька!!

Он даже не шелохнулся.

В ознобе припала к холодной, точно у неживого, груди. Там, в глубине где-то, еще гулко постукивали, только очень медленно, как бы останавливаясь, часы.

Вскочила, кое-как набрала «03». Господи, спят они там, что ли?!

Когда наконец ответили, крикнула:

— Человек умирает!

— Адрес! — потребовали оттуда.

1

Предназначенный Путинцеву сверток под новогодней икебаной был хоть и невелик, а увесист.

Чмокнув жену в щеку, Витя предположил:

— Слиток золота? Надгробный камень?

— Почем мне знать? — слушавила Лена.

Оставалось вскрыть упаковку. Пластиковая коробка заключала в себе весы медицинские. Подарок со значением... Ленкин почерк!

Борьба с возрастом занимала в ее жизни все больше времени. Мало того, что возымела привычку ни свет ни заря в любую погоду трусить рысцой (рысить трусцой?) по окрестным дворам, так еще приобрела абонемент в бассейн на три вечера в неделю (косметика там разная, макияж — не в счет). Ученый муж подтрунивал над не менее ученой женою в том смысле, что с ее энергией, если тратить на это все свое время, почти наверняка удалось бы время остановить... как будто на гравитационном радиусе, коллега!

— Парадокс, однако, заключается в том, — прибавлял к этому Витя, — что в таком случае не останется времени на что-либо другое... в том числе, в частности, и на саму жизнь.

И предупреждал глубокомысленно и туманно, что на том безвременном радиусе возможно также искривление пространства.

— Неужели это тебя не пугает?

— Ремешок-то еще на брюшке сходится? — резала в ответ Лена. — Вот уж где на самом деле искривление пространства!.. Подключайся, пока не поздно, чем попусту зубоскалить!..

Слов нет, выглядела Ленка отлично, тогда как он, Витя Путинцев, из вечера в вечер искушаемый тягой к дивану, действительно стал расползаться. Назначение новогоднего подарка ему не составило труда разгадать.

Но не так-то было легко пронять Витю.

Он не просто себе безыдейно отлеживал члены, а, как подо все остальное в жизни, и под диван подвел базу.

Постулат первый гласил: «Против шерсти трава не растет». Это можно было трактовать в том духе, что не следует делать того, к чему душа не лежит, начиная с бега трусцой или даже зарядки, ибо всякое действие подобного рода не только не служит преодолению собственной инерции и несовершенства, а есть насилие над личностью и как таковое противопоказано.

Постулат второй: «Лень — источник прогресса» восходил к Жан Жаку Руссо, замечавшему, что все науки происходят от лени, и подтверждался историческими легендами, как то изобретение экскаватора землекопом, которому надоело махать лопатой, или открытие законов планетного движения астрономом, изнемогшим от расчетов по Птолемею.

При всем том никакие увертки типа «не от котлет, а от лет» или «ничто так не старит, как возраст» не снимали проблемы, подарок Ленин свое сигнализировал. Этого было еще недостаточно, чтобы нарушить жизненный распорядок, однако оно и не проходило бесследно, заставляло сосредоточиться на проблеме, причем не насильно, не под давлением, а как бы само собой, из неявных внутренних побуждений, что так высоко Витей ценилось (см. Постулат первый).

В молодости, размышлял вечерами на диване Витя Путинцев, пока его жена изнуряла себя в бассейне (по утрам, когда Ленка рысила, он дрыхнул), в молодости для организма прежде всего характерен интенсивный обмен веществ, что с годами встречает все больше препятствий различного толка. То, что делает Ленка, есть, по сути, не что иное, как попытка энергично одолеть такие барьеры, энергично в прямом смысле, усилением энергетических трат... что, однако, не отвечает долговременным интересам, как любое насилие над собой (Витя оставался себе верен). Ведь, с другой стороны, как раз замедление обменных процессов (при ограниченном питании, например, или охлаждении организма в пору зимней спячки животных) притормаживает старение, как бы растягивая время жизни, продлевая ее... Положа руку на сердце, Витя во все не прочь был бы впасть на зиму в спячку, уподобясь сурку, жаль, что это фантастика для цивилизованного человека. Не потому, что биологически не осуществимо, наверняка можно кое-что попридумать, социально невозможно, вот заковыка. Стоит вообразить, как после трехмесячного отсутствия явишься в институт из норы... Ну хорошо, а если не в одиночку, предположим, весь институт с декабря по март в сон?.. Значит, что же, повсюду жизнь, а один институт отключился? Абсурд! Нонсенс! Уж если подобный прерывистый режим, то для всех... для всех вместе. Для города... страны... человечества! В этот век массо-

ности в науке Путинцев принадлежал к тем, кто не разуверился в возможностях единичной человеческой головы с ее серой начинкой, он не поленился — прикинул, что может для человечества выйти из его досужих раздумий, сперва мысленно, потом на компе.

3

Мысленно представил себе, как заблаговременно по радио, по ТВ, в газетах объявили ко всеобщему сведению, что с 0 часов 1 декабря повсеместно вводится зимний режим, в связи с чем предстоящие недели надлежит использовать для подготовки к анабиозу. Как всем гражданам будут введены препараты-анабиотики, как будут отключены тепловые, электрические, газовые и прочие сети, остановлены станки, конвейеры, печи, роботы, компы, поезда, корабли, машины, все замрет, все заснут... А непрерывные производства: химия, биотехнология, металлургия?.. Как быть с ними, если к побудке закозлит печи, заколодит реакторы, если вырвутся из-под контроля вирусы и микробы?.. Стало быть, необходимо, чтобы не вырывались... Автоматическая регуляция, то есть... как тогда быть с энергией? Все так связано, взаимозависимо, переплетено, стоит только потянуть ниточку... цивилизация — уязвимая штука! Стоп, скомандовал себе Витя. Что-то, друг, тебя занесло. Давай-ка допустим: технологические сложности одолимы. А человеческие? Скажем, некие граждане по недосмотру не получили дозы, или получили недостаточную, или сумели вообще уклониться из каких-то своих тайных расчетов. Эти бодрствующие или прежде срока проснувшиеся, что они станут делать посреди спящего мира? Не предпримут ли действий во вред ему? Не воспользуются ли исключительным своим положением для захвата, к примеру, власти? Исторические случаи известны... Но даже если отбросить рецидивы варварства, то просто, наконец, как сумеют просуществовать до весны? И этого мало, сообразил Витя очередным вечером, едва Лена, согласно принятому распорядку, отправилась в свой бассейн. А география, друг любезный! Во что станет проект тропическим странам? И Южное полушарие каким образом подключить, где в нашу зиму жаркое лето?! По скользящему графику, что ли? Опять же кто поручится, что и в таких обстоятельствах коварный умысел исключен?! А в итоге весьма извилистого пути — весьма сомнительные результаты, вот что, братец, придумал. Так что впору тебе усомниться в единичной своей серой начинке... Тут всего лишь отсрочка, оттяжка, за продление жизни или молодости, если угодно, ее никоим образом не сочтешь, потому как и в жизни, и в молодости, точно в хоккее, ощутимо только чистое время. (Единственным отвлечением Вити от диванных раздумий был хоккей, разумеется, по ТВ.)

Словом, все стало Путинцеву ясно, для очистки совести поставил на машину задачу. Комп, естественно, выдал не более обнадеживающие результаты.

4

Упрямый Путинцев все же не распрощался ни с досужими вымыслами, ни с диваном, даром что шкала дареных весов все сдвигалась в известную сторону. До дивана своего доползал после полного трудов дня в институте, где вдобавок к плановой теме выбил-таки себе партию лабораторных крыс и плюс к ним лаборантку для проверки на опыте кое-каких диванных находок. Нет, Обломовым от дивана не пахло.

Половине подопытных они снизили температуру тела, воздействуя на отдел мозга, где находится ее регулятор, тогда как другая половина служила для сравнения и контроля. Охлажденные на несколько градусов особи старели заметно позднее и жили дольше, только помилуйте, что это была за жизнь, вялая, как при замедленной съемке. Притом зверьки неоспоримо тупели. Это проявилось в особенности наглядно, когда крыс из обеих групп запустили в общую клетку. От своих нормальных собратьев охлажденные отставали во всем, не успевали ни поесть, ни попить, ни снюхаться с самкой, ни сообразить, где выход. Продленная молодость оборачивалась для них проигрышем!.. — и такой путь, по мнению Виты, тоже не устраивал человечество, не о крысах же он пекся.

Однако, вопреки очевидности, будоражило ощущение, что разгадка где-то вблизи. Вокруг да около бродит. Некий внутренний голос упрямо ему это твердил, заставляя снова и снова прокручивать в мыслях все с начала и до конца и обратно с конца до начала.

Постоянное охлаждение — нет! Чересчур велика плата за это. Если все же прерывистое... Только не на зиму, не на сезон... на то время, которое так и сяк пропадает... Есть такие потери в человеческой жизни? Ежедневно! Еженочно, точнее! Когда бы сонную треть жизни удалось вычеркнуть из нее, начиная с рождения, Вите не было бы еще тридцати! Тоже, верно, не отрок, но помолодел бы бесспорно.

Наконец-то Путинцев четко сформулировал для себя: анабиотик типа снотворного, вот что нужно!

Он вскочил от возбуждения с дивана. Ужо Ленке придется попрыгать!

5

Препарат подходящий подобрал скорее, чем думал. К чертям крыс. Пересчитав потребные дозы, предпочел испытать их на себе. Ясное дело, никому ни гу-гу, Ленке в первую очередь, такую волну погонит!.. В один прекрасный вечер, занятый у нее, приступил.

Чего-то он, по-видимому, все-таки недоучел. С определением дозы, увы, перебрал малость. Уснуть-то по-сучьи уснул, не дожидаясь Ленкиного возвращения, да в себя пришел утром благодаря вызванной ею неотложке...

На Ленке лица не было, пока врач над ним колдовал, но стоило медицине, сделав дело, уехать, дала волю эмоциям.

— Ну ты, Путинцев, дошел! Достукался, довалялся! Считаю, звоночек тебе прозвенел, суди сам, не слишком ли рано?!

Он еще блаженно потягивался, не вставая, хоть очухался, можно сказать, вполне, правда, в толк не мог взять, с чего, собственно говоря, весь этот сыр-бор, гвалт, самум и по какой причине они оба опаздывают на работу.

— В институт я уже позвонила,— отмахнулась она,— и к тебе, и к себе,— и неожиданно припала к нему губами, пересоленными, как невымоченная селедка,— теплый, тепленький... ну и напугал ты меня, Витя!..

Тут, похоже, забрезжило, начал догадываться, что стряслось, однако виду не подал, прикинулся, будто бы невдомек.

— ...Я пришла вечером, ты уж дрыхнешь, ну я и легла, не в диковинку у нас стало... как там, Витя, ни спорь, охлаждение между нами... а под утро нечаянно тебя тронула, прикоснулась, а ты как ледышка, и не могу добудиться, Витя, милый, что ты вытворяешь с собой... с нами... не хочу быть вдово-ой!..

От рыданий Ленкиных стало совестно немого, потеряв хладнокровие, он рискнул ей открыться в надежде ее успокоить и, кто знает, может быть, даже увлечь... в напрасной, как выяснилось, надежде.

— Только этих еще завихрений не доставало, героических опытов на себе!..— взвилась Ленка.

Никакими доводами не удавалось ее пронять, заявила даже, что, случись подобное у нее на работе, руки-ноги поотрывала бы такому горе-герою, ни больше ни меньше.

Вите, впрочем, не рискнула поотрывать, несмотря на то, что он от своих завихрений не отступался.

Более того. Вскорости стал без опаски вставать на подаренные ему весы. Не то чтобы постройнел заметно, однако же превозмог предательское уползание шкалы.

Еще через какое-то время и его потянуло в паре в Ленкой чуть свет порысать, а вечером побултыхаться в бассейне, а затем и она, в свой черед, попросила дать для пробы глотнуть на сон грядущий таблетку Эксперимент расширился, таким образом.

Впрочем, оба отдавали себе отчет в ограниченности испытываемого препарата, в том, что он обладает не более чем тормозящим эффектом, Путинцев так его и назвал — метаторм, по науке. В просторечии

же раствор, из коего готовили таблетки, именовался по-шоферски: тормозная жидкость.

Половинчатое, в сущности, средство. Паллиатив. Дабы двинуть вспять процессы старения... механизмы обмена, по идее, требовалось — в переводе с биологического языка на физический — обратить ось времени... Всего-навсего! Не тормозить, а включить задний ход. Перед нами чисто транспортная проблема, уверял друзей Витя Путинцев. Перебраться в сжимающуюся Вселенную.

Александр КЛИМОВ

ШАГАЮЩИЕ В ВЕЧНОСТЬ

Въезжая в новую квартиру, бухгалтер Петров чувствовал себя счастливейшим человеком на свете. Собственно, квартира была вовсе не новая, а как раз наоборот — старая. Но в этом-то и состояла вся прелесть.

Затаскивая свои тючки и чемоданы по широчайшей винтовой лестнице на третий и последний этаж, Петров буквально физически ощущал, как его начинает обволакивать тихое и немного грустное очарование старинного московского особняка. Чудился запах пожелтевших книг, отблески розовых восковых свечей, шуршание кринолинов. С чердака явно доносилось звяканье шпор.

Дом поражал безлюдьем в эти вечерние, обычно оживленные часы. Не прыгала по ступенькам детвора, не громыхали гульки жестянки почтовых ящиков. Не пели, не кричали, не плакали. Даже лифт — и тот не грохал створками по той простой причине, что в доме его не было.

За высокими скрипучими дверями, безусловно, текла какая-то жизнь, но Петров ее не ощущал. Ему казалось, что он — хозяин огромного пустого замка, и фантазия помимо воли населяла комнаты и коридоры ушедшими в прошлое обитателями.

А с фантазией своей Петров бороться положительно не умел. К сорока годам он пришел к твердому убеждению, что в мире есть всего лишь две вещи, бороться с которыми человеку не под силу: фантазия и тараканы. И то и другое при внешнем различии одинаково неисребимо.

На службе Петрова, как ни странно, побаивались. Старик Стаканов-Скрипкин — счетовод с дореволюционным стажем утверждал, что Петров не так прост, как хочет казаться. Мол, бухгалтер-мечтатель — явление в природе настолько невероятное, что за этим кроется не иначе как карьеризм высочайшего артистического класса.

В семье же — человек как на ладони. Когда лет десять назад жена уходила от Петрова, вернее, навсегда уезжала в Сочи с красавцем капи-

таном дальнего плавания, она остановилась на пороге и, гневно поправив поясok платья, сказала:

— Петров! Ты даже не ничтожество! Ты что-то невообразимо более мелкое. Даже дождевой червяк и тот заботится о своей самке...

Петров хотел было заметить, что совсем в этом не уверен и, мол, вообще сильно сомневается, что червяки бывают разного пола, но Нина хлопнула дверью и исчезла из его жизни.

С годами забылось многое: даже полный превосходства взгляд брюнетистого капитана. Бухгалтеру начало казаться, что он никогда и не был женат. Но слова эти, грохочущие и какие-то оскорбляюще липкие, помнились. Они удвоили его природную житейскую неуверенность, все глубже толкая в спокойное надежное одиночество.

Поднимаясь вверх с последней пачкой книг, Петров лоб в лоб столкнулся с высушенной остроносой старушкой, выходившей из двери номер четыре на втором этаже. Не зная почему, он сразу окрестил ее «камергершей».

Старуха подозрительно оглядела нового жильца, зачем-то потрогала рукав его пальто и, вдруг повеселев, игриво промурлыкала:

— Если бы не старость, кругом остались бы одни сумасшедшие.

— Что? — опешив, переспросил бухгалтер.

На седых, будто припорошенных мукой, волосах старой дамы в неустойчивом равновесии закачалась шляпка с фантастическими цветами и вуалеткой:

— Раньше и привидения были другими. Какими-то благородными, утонченными. Дамы, рыцари...

Петров уронил книги.

— Вы в какую квартиру? — поинтересовалась «камергерша», заглядывая в глаза остоленевшему бухгалтеру.

— В шестую! — почти крикнул Петров, обрадовавшись, что наконец-то услышал что-то доступное пониманию.

— Шестая — это что рядом с пятой, — глубокомысленно заметила старуха.

— Что? — еще раз с довольно глупым выражением лица переспросил Петров.

И тут «камергерша» сделала такое, что повергло бухгалтера в глубочайшее изумление: подпрыгнув, она поцеловала его в лоб, затем перекрестила и, смахнув слезинку, выбежала во двор.

Петров еще несколько минут постоял в растерянности, потом собрал книги и пошел к себе на третий этаж. Сначала он хотел было расстроиться, но передумал.

«Милая, сумасшедшая старуха», — подумал он и улыбнулся.

На лестничную клетку третьего этажа выходило всего две двери. На одной была выведена белой эмалью кособокая шестерка, а на другой красовалась медная табличка. Смысл надписи практически утерялся в обилии завитушек, и Петрову удалось расшифровать только фамилию своего соседа из квартиры номер пять: ОРГАНОВ. Бухгалтер еще стоял, размышляя, на какую букву правильнее будет поставить ударение, когда откуда-то сверху раздался невыразимо печальный голос:

— Мое гениальное открытие похищено врагами! Сейф взломан и пуст...

Петров обернулся так резко, словно в спину ему воткнули булавку.

На лестнице, ведущей к чердачному люку, сидел мужчина весьма странной наружности. Могло показаться, что его присыпали золой — такой серый, пыльный, сразу и не определишь, где заканчивается костюм и начинается его обладатель. Вздрыбленные патлы открывали лоб такой невероятной высоты, что невольно закрадывалось сомнение: осталось ли место для темени и затылка? Огромные очки в черепаховой оправе, казалось, тяжестью своей вот-вот продавят переносицу. Петров также обратил внимание, что галстук незнакомца почему-то завязан морским узлом, а все пуговицы и даже шнурки вырваны с мясом.

— Великое открытие в руках негодяев! — крикнул странный мужчина и вырвал клоч из своей фантастической шевелюры. Затем он вытряс на ладонь таблетку валидола и прохрипел:

— Водыыы...

Бухгалтер вышел из столбняка и метнулся в квартиру. Чертыхаясь, он принялся искать стакан, попутно соображая, где же раньше встречался с этим человеком.

— Видел ведь его. И не один раз! Но где?.. — бормотал Петров себе под нос, выкидывая вещи из хозяйственной сумки.

Наконец со стаканом в руках он вернулся на лестницу. Мужчины, у которого негодяи похитили великое открытие, и след простыл. Петров прислушался, но лестница безмолствовала.

«Веселенькое новоселье», — подумал бухгалтер и выпил воду.

Он вошел в квартиру и запер дверь не щеколду. Хорошего настроения как не бывало. Исчезли звон шпор и аромат свечей. Отчетливо запахло плесенью и невымытыми полами.

Воскресенье прошло в хозяйственных заботах. Петров взмок, но с удовольствием отметил, что новое жилище стоило трудов. Десять книжных полок, письменный стол, два разномастных стула и раскладушка — просто, удобно и привычно. Вместо платяного шкафа — вбитый в стену большой гвоздь с плечиками, похожими на лук с натянутой тетивой. На подоконнике бурлил аквариум с одинокой золотой рыбкой, по карнизу вилась лиана с экзотическим и жутковатым названием «монстр». Теплые розовые обои приятно контрастировали с дождливым

мраком за оконным стеклом. Старинные метровые стены не пропускали в комнату грохот и лязг большого города, но странным образом не задерживали шепот мокрой листвы, стук капель, цоканье одиноких каблучков по скользкой булыжной мостовой.

Петров не заметил, как размечтался. Ему виделся дом, свежий, яркий, пахнущий известкой, и его владелец — мрачный сухопарый чиновник в мундире, с орденом на шее. Лошадиное ржание сливается с криками лоточников. В тени лип прогуливаются барышни: шелковый чулок с искоркой, нитка жемчуга, перстенок... Толстый багроволицый поп с громадным серебряным крестом, трущим рясу на животе, плывет в толпе, как кит в стае дельфинов. Идут со смены рабочие. Черные лица, ввалившиеся глаза, задубелые руки. И вот — вихрь революции! Листовки, песни, флаги, голод и режущие удары пуль!..

«Об этом можно написать книгу», — подумал Петров и пожалел, что он бухгалтер, а не писатель.

Прошло несколько дней, тихих, мягких, задумчивых. Петров ходил на службу, бывал в кино, подолгу гулял. Он уже начал забывать о проществе на чердачной лестнице, относя его к непредсказуемым жизненным ситуациям, когда действительность внесла свои суровые коррективы.

Петров сидел на кухне и, промокая лоб носовым платком, пил крепкий обжигающий чай. На коленях его лежала раскрытая книга с засаленными углами, на стене тикали ходики. Лампочка в желтом бумажном абажуре освещала стол, на стенах замерли размытые коричневые тени.

И вдруг тишину разрезала заливиная трель звонка.

Петров встрепенулся и, поплотнее запахнув полы халата, поспешил к двери. Гостей он не ждал, да и не мог никто прийти к нему в столь поздний час.

— Кто там? — спросил он, держа руку на щеколде.

За дверью послышалось неясное шуршание.

— Кто там? — уже настороженно спросил Петров.

Шуршание стихло, зато чей-то могучий нос засопел громко и отчетливо.

— Свои.

Голос был скрипуч, прокурен и страшен. Петров вздрогнул. Таких «своих» у него быть не могло.

Бухгалтер снял руку с замка и, стараясь не дышать, попятился в кухню. Опустившись на стул, он попытался собраться, но колени противно дрожали, сердце, екая, колотилось о ребра.

В прихожей послышались тяжелые шаги. Дребезжа, покатилося ведро. Петров сжался, ощущая, как волосы его начинают вставать дыбом. Он хотел крикнуть, но не смог.

Дверной проем закрыло что-то темное и огромное. Еще мгновение, и в кухню вошел мужчина зверского вида. Он приблизился к столу решительно сказал:

— Вчера поспели ананасы.

Петров икнул.

Мужчина вытащил из кармана окурок и ловким движением приклеил его к нижней губе.

Гость был необычен во всех отношениях. Одет он был в потрепанный ватник, галифе и грязные кирзовые сапоги. На пальце сверкал бриллиант. Чудовищно широкие плечи поддерживали крошечную голову без шеи. Щеки и даже уши заросли сивой щетиной.

Петров, хоть и был напуган до полусмерти, опять почувствовал, что видел этого человека неоднократно.

— Шеф велел передать, что последнее задание ты почти завалил, очкарик,— мужик вытащил из сапога финку и помахал ею перед носом Петрова.— Еще такой трюк, и будем тебя ликвидировать.

Бандит устрашающе напрягся. Взбурлились мышцы, ожили фиолетовые татуировки.

Бухгалтер отпрянул и стукнулся головой о стену. Должно быть, это несколько прояснило его мысли, потому что он вполне членораздельно произнес:

— Послушайте, вы, наверное, ошиблись квартирой...

Громила остался глух.

— А сейчас получи свою долю,— сказал он как-то лениво, без огонька, и начал выкладывать на стол неимоверно толстые пачки денег.

Выкладывал он их долго, и было непонятно, как все они умещались в относительно маленьком кармане телогрейки.

Бандюга-миллионер закончил отсчитывать деньги, сплюнул окурок в аквариум и направился в переднюю. Обернувшись в дверях, он мрачно посоветовал:

— К Косому не ходи. Продался чекистам...

Бухгалтер хотел было заверить, что к Косому ни в коем случае не пойдет, но мужчина уже скрылся в мраке прихожей.

Петров некоторое время с нетерпением ожидал, когда лязгнет замок, но так ничего и не дождался. Минут через пять он набрался мужества, вышел из кухни и зажег свет.

Прихожая была пуста, дверь заперта изнутри...

Пошатавшись, бухгалтер вернулся к столу и обнаружил, что деньги тоже исчезли. Даже окурок, плававший в аквариуме, таинственным образом растворился. Лишь золотая рыбка испуганно таращила глаза и жалась в угол.

Петров повалился на раскладушку, обхватил голову руками и затравленно подумал:

«Профессионал! Не оставил никаких следов. Кажется, я влип...»

Наступила ночь, но Петров не спал. Он ворочался, скрипели пружины. Мысли будто тоже поскрипывали от натуги. Бухгалтер начал понимать, как и, главное, почему ему удалось совершить такой удачный обмен квартирами.

В стекла стучал мутный рассвет, когда Петров наконец провалился в сон. Спал он крепко, но беспокойно. Ему снились грабители в кринолинах, небритые камергерши в ватниках и со шпорами, полоумные ученые с финками в руках.

Когда бухгалтер проснулся, то обнаружил, что проспал работу, а за окном — чудесный осенний день. Вечерние страхи как-то рассосались, и старый московский переулок снова наполнился призрачным неуловимым очарованием.

Петров почувствовал, что не может идти на службу. Душа не пускает. Он позвонил к себе в контору и предупредил Стананова-Скрипкина, что берет отгул по семейным обстоятельствам. Счетовод недоверчиво хмыкнул. Всем было известно, что у Петрова не может быть семейных обстоятельств, поскольку нет самой семьи.

Не завтракая, бухгалтер вышел на улицу и сразу же зажмурился от пронзительно-яркого, по-октябрьски чистого солнечного света. Воздух хрустел и обжигал легкие. Под ногами шуршал красный кленовый ковер. Замшелые тополя-патриархи тянули черные руки к синему небу.

Петров шел крошечными неухоженными сквериками, узкими крутыми переулками и видел себя то в форме гусара, то в скрипящей комиссарской кожанке, но непременно большим, сильным и удачливым.

Москва уже тонула в сумерках, когда бухгалтер очнулся, почувствовал, что замерз, и поспешил домой. На углу он столкнулся с «камергершей», вежливо раскланялся и хотел было пройти мимо, но старуха придержала его, опять дотронулась до рукава и преданно заглянула в глаза.

Дома Петров попил чаю и рано лег спать.

В час ночи его разбудил крик:

— Помогите! Убивают!

Бухгалтер зажег свет, прислушался. Крики доносились из квартиры соседа. Петров вспомнил громилу с финкой и покрылся холодным потом.

«Органова ликвидируют!» — молнией пронеслось в его голове.

Петров бросился к телефону, но тут же вспомнил, что в его новой квартире таковой отсутствует.

Крики за стеной перешли в хрип.

Бухгалтер выбежал на лестничную площадку, заметался и, вдруг ощутив прилив смелости, решился на отчаянный поступок. Он разбе-

жался и тараном врезался в дверь. Та неожиданно легко отворилась, бухгалтер пробежал коридор и упал головой вниз. Удар был силен, но Петров выдержал. Он вскочил на ноги и стал свидетелем жуткой сцены.

Давешний небритый бандюга, повалив на пол мужчину, у которого негодяи похитили великое открытие, по-хозяйски бил его кулаком в высокий лоб и приговаривал:

— Вот тебе. Вот тебе, предатель! Прибью — и весь сказ!

Предатель при каждом ударе жмурился и хрипел.

Петров бросился в бой, попытался обхватить и повалить громилу, но... руки прошли сквозь его тело, не ощутив ни малейшего препятствия. По инерции бухгалтер отлетел в угол, а фигуры дерущихся начали истончаться, таять. Еще какое-то время в воздухе жил кулак, старательно молотивший пустоту, потом исчез и он.

В комнате повисла тишина. Петров огляделся.

Обилие ковров, тяжелая старая мебель. Глухие плюшевые шторы. На стене — коллекция сабель, отсвечивавших тускло и мрачно.

В кресле за столом, откинувшись, сидел худой седовласый человек. Казалось, он спит, и, только присмотревшись, бухгалтер различил, что от головы его отходят тоненькие проводки, исчезающие в тумбе письменного стола. Там что-то жужжало, тонко и назойливо, как запуставшийся в волосах комар.

Мужчина тяжело вздохнул, содрал с головы провода и открыл глаза. А в глазах была грусть великая...

— Извините, — сказал Петров, вдруг почувствовав себя очень неловко посреди чужой квартиры, ночью, в пижаме.

— Вы кто? — устало спросил мужчина.

— Сосед. Из квартиры номер шесть.

— А-а-а... Ну что ж. Органов. Писатель.

Возникла напряженная пауза.

— Вы видели... это? — спросил Органов.

Петров присел на краешек дивана и вкратце описал ночные события. Органов молчал, и бухгалтер позволил себе задать вопрос:

— А кто это был? В очках. И небритый. Галлюцинации?

— Образы, — мрачно ответил Органов. — Действующие лица моей будущей детективной повести. В очках — положительный, небритый — отрицательный.

Петров попытался постичь услышанное, но не смог и заерзал на диване.

Органов встал, неслышно прошелся по мягкому ковру и сказал:

— Уж коли вы оказались свидетелем моего творческого процесса, не имеет смысла что-либо скрывать. И так дом слухами полнится. Только прошу, чтобы все это осталось между нами.

Бухгалтер согласно кивнул. Органов, набираясь решимости, еще раз обошел комнату, ударил кулаком по столу и выпалил на одном дыхании:

— Мне удалось в корне изменить сам процесс написания книги! Ведь что получается: сидит человек, творит, курит сигарету за сигаретой, выпивает жуткое количество кофе, а образы — расплываются, ускользают... Сколько времени уходит в пустых попытках поймать их за хвост? И что обидно: умом представляешь себе героя, а начнешь писать — получается фантастическая уродина! Миг же озарения краток.

— Но ведь в этом-то и состоит, наверное, радость творчества,— робко заметил Петров.

— Это все демагогия! — отрубил Органов.— Дело надо делать, а не слюни пускать! В век научно-технического прогресса все должно быть поставлено на промышленную основу.

Бухгалтер представил прокатный стан, выплевывающий вместо труб произведения искусства, и ужаснулся.

— И вот,— с воодушевлением продолжал Органов,— я изобрел, а потом и собрал установку моделирования образа и действий персонажей! Смотрите, как просто!

Органов подошел к столу, нацепил на голову корону с проводами, щелкнул чем-то в глубине тумбочки и в три секунды сотворил нечто, отдаленно напоминающее пса-рыцаря.

Петров ахнул. Дюжий детина в кольчуге и шлеме недобро ухмылялся и поигрывал мечом. Могучий торс покоился на крошечных кривых ножках. Волевой подбородок торчал вперед, создавая, наверное, значительные неудобства владельцу при приеме пищи.

Бухгалтер немного пришел в себя и с сомнением покачал головой. Рыцарь, по его мнению, был каким-то неуклюжим и ненатуральным.

— Такой язычников не покорит. Пародия на человека,— заметил Петров, и, словно в подтверждение его слов, воин закачался, развалился и растаял.

— Да, неважный экземпляр,— подтвердил Органов.— Но в этом-то и есть главное достоинство моего устройства. Есть возможность взглянуть на плод своей фантазии в натуре и забраковать неудачное. Если же герой тебе подходит, остается только описать увиденное. Что может быть проще?

— Почему же они рассыпаются?

— Время существования фантома зависит от степени его достоверности. Лучшие мои творения жили до сорока секунд.

Петров подумал, что это, наверное, очень обидно, если твое детище растворяется на сороковой счет...

— Скажите, а они не того... не представляют опасности для окружающих? — спросил он.

— Ни малейшей! — улыбнулся Органов. — Они бестелесны и по составу своему фактически ничем не отличаются от воздуха.

Бухгалтер понял, почему «камергерша», прежде чем заговорить, всегда щупает рукав его пальто.

Писателем я решил стать давно, еще в раннем детстве, — Органов присел на край стола. — Не мучился, не выбирал, просто решил стать — и все. Поставил задачу, как говорится. А характер у меня суровый, волевой.

— А вас печатают?

— Пока нет, но скоро все изменится. Раньше-то я работал, как все, по старинке, а теперь с установкой!..

— На что же вы живете? — спросил Петров и с запозданием понял бестактность своего вопроса.

— Телевизионным мастером работаю. Бывает, импортную аппаратуру чиню — такую, за которую никто не берется. Так сказать, хлеб насущный.

«Неплохой хлеб, — подумал Петров, скользя взглядом по коврам и тяжелой старинной мебели. — И чего человеку не хватает? Талантище какой, собрал установку, о которой наука пока и мечтать не может, так ведь нет! Лезет с поразительным упорством туда, где талант его не действует. А сколько еще таких — издерганных, неудовлетворенных? Все-таки жестока жизнь».

Бухгалтер потер виски и сказал:

— Мне кажется, вы взялись не за свое дело. Посмотрите: все ваши образы, созданные при помощи машины, ужасающе скучны, вторичны. Это не люди, а манекены бездушные. А ведь настоящие литературные герои — шагающие в вечность!

— Как вы смеете! — взорвался Органов. — Да что вы в этом смыслите?! Ко мне давеча писатель знакомый заходил, так такого мушкетера создал, что помереть со страху можно! А ведь профессионал!

— Да поймите же! — Петров начал злиться. — Штамп остается штампом, что в голове, что в машине. Глядя на ваших героев, невозможно отделаться от ощущения, что видел их тысячи раз. Поверьте, вы ошиблись в выборе цели. В вас пропадает великий изобретатель!

— Умный какой! — закричал разъяренный Органов. — В тебе-то кто пропадает?!

«А действительно, кто? — с грустью подумал Петров. — Плохой бухгалтер, неудавшийся муж... У Органова — талант на поверхности, только он его не замечает. А у меня-то где? Кто во мне пропал?»

— То-то же, — смягчился Органов. — Сначала о себе надо подумать, а потом других учить. Попробуйте сами создать что-нибудь... шагающее в вечность! А я посмеюсь.

«И попробую!» — вдруг решил Петров.

Его начала бесить безапелляционность органовских суждений. К тому же стало обидно. За что именно — Петров сформулировать не мог. Просто обидно — и все!

Он пересек комнату, погрузился в мягкое кресло и нацепил провода на лысину. Попытался сосредоточиться, но мысли разбегались, путались. Решимость и уверенность таяли.

Петров уже хотел было встать из-за стола и расписаться в своем бессилии, но вдруг вспомнил, какие чудесные — отчетливые, как на цветном снимке, — образы рождались в его голове, когда он въезжал в старинный особняк, бродил по усыпанным желтым листом скверам, дотрагивался до бурых, отполированных веками стен. Дом представился ему батареей, генератором фантазии, в стенах которого должно получаться все!

Бухгалтер плотнее вжался в спинку кресла и огляделся. Взгляд его остановился на прекрасной фотографии тигра, дремавшего в зарослях зеленого бамбука.

«Чудесная кошка!» — подумал Петров и почувствовал, что ему хочется создать нечто подобное.

Он закрыл глаза и представил себе желтый с черточкой глаз, широкие мягкие лапы, кожаный влажный нос, искорку на кончике клыка...

Когда он очнулся, посреди комнаты на ковре лежал бело-палевый, с темными полосами тигр. Морда — на лапах, хвост вытянут.

— Боже мой! — раздалось откуда-то сбоку. Бухгалтер повернулся. Глаза Органова вылезли из орбит. — Как живой!

Петров почувствовал прилив гордости.

Тигр проснулся, потянулся и беззвучно зевнул. Затем он поднялся и с интересом уставился на людей.

Бухгалтер почувствовал себя неуютно. Он снял с головы провода и принялся считать. Досчитав до сорока, а потом и до ста, Петров понял, что его фантом относится к долгожителям.

Тигр выпустил когти, снова втянул их в подушечки лап и двинулся к столу.

— Черт побери! — крикнул Органов и запустил в кошку пепельницей. Бронзовая раковина ударилась о полосатый бок и отскочила! Тигр зарычал.

— Живой... — выдохнул бухгалтер, покрываясь холодным потом.

Органов пришел в себя и, ругаясь, принялся сдирать саблю со стены.

— Клетку! Срочно представляйте клетку! — кричал он окаменевшему Петрову.

Бухгалтер дрожащими пальцами нацепил корону.

«Каким же я его себе представлял: сытым или голодным?» — крутилось в голове.

— Клетку! Клетку!!! — ревел Органов, заглушая рев тигра.

Петров закрыл глаза и начал создавать образ надежной, плетеной решетки...

Андрей САЛОМАТОВ

ПРИВЕТ АБОРИГЕНАМ

Разведчики с трудом продирались через заросли инопланетной сельвы. Прорубая дорогу допотопным мачете, Хенк ругался на всех известных ему языках и то и дело стряхивал с себя отвратительных насекомых. Бойко, следуя за товарищем, не забывал поглядывать назад и по сторонам. В руке он наготове держал плазменный пистолет и, будучи новичком, постоянно наводил его на подозрительные предметы, будь то причудливо сплетенные ветви или разлапистый, сгнивший пенёк. Бойко впервые принимал участие в исследовании еще не изученной планеты, поэтому он одновременно испытывал и страх, и восторг, и уважение к своему более опытному товарищу.

Совершенно неожиданно лес расступился, и разведчики вышли на небольшую живописную поляну. Посреди поляны свинцово поблескивала лужа, облепленная насекомой мелочью, а с противоположной стороны виднелись следы, похожие на медвежьи, только много меньше.

— Сущий рай! — радостно воскликнул Бойко и выскочил из зарослей на нетоптаную траву.

— погоди ты со своим раем,— пробубнил Хенк.

В это время листва на другом конце поляны дрогнула, на землю упали несколько срубленных веток, и в просвете показалось странное существо с необычным топориком в необычной руке.

— Назад! — крикнул Хенк, но Бойко поднял руку с пистолетом и взял аборигена на мушку. — Не стреляй,— шепотом приказал Хенк. — Попробуем так разобраться.

Абориген стоял не двигаясь. Во второй руке, прижатой к животу, у него откуда-то появилась странная штука с широким раструбом на конце. Отверстие раструба было направлено на Бойко, и землянин, при всей своей неопытности, сразу догадался, что из этой штуки запросто может вылететь либо пуля размером с мандарин, либо, что еще хуже, нечто похожее на заряд его собственного орудия.

Минуты две представители двух цивилизаций смотрели друг на друга и ничего не предпринимали. Наконец Хенк осторожно, без резких движений, прижал свободную руку к груди, слегка наклонил голову и как можно приветливее произнес:

— Мы не сделаем вам ничего плохого.

— Так он тебя и понял,— не отрывая взгляда от аборигена, сказал Бойко.— Может, пальнуть и сразу упасть? Кто первый, тот и выиграл.

— Я тебе пальну,— прошипел Хенк.— Опустит пистолет.

— А если...— начал Бойко.

— Я сказал, опусти пистолет! — перебил его Хенк. Сам он бросил на землю мачете и жестом предложил аборигену сделать то же самое.

— Ну, бросать-то я его на всякий случай не буду,— сказал Бойко и опустил руку с пистолетом. На другом конце поляны немедленно последовали примеру землян: абориген швырнул топорик в траву и убрал в складки одежды свое необычное оружие.

— Ну вот, мир, дружба,— убирая пистолет в кобуру, радостно сказал Бойко. Абориген что-то громко залопотал ему в ответ, немного отодвинулся, и из-за его спины высунулись еще две головы.

— Да их там целая рота,— воскликнул Бойко и полез было обратно за пистолетом, но Хенк ударил его по руке и сделал два шага к аборигенам.

Через несколько секунд он продвинулся еще на три шага, демонстрируя свои пустые руки и широкую американскую улыбку.

Незнакомцы оказались очень симпатичными и сообразительными ребятами. Жестами они объяснили, что гуляют по джунглям, собирают всякую мелкую живность. Затем они предложили устроить на поляне совместный привал, а заодно и побеседовать. Земляне с удовольствием согласились.

Вскоре на поляне запылал большой костер. Три аборигена и два землянина устроились вокруг костра и принялись оживленно беседовать, помогая себе и руками, и ногами, и головой. Не снимая с лица улыбки, Хенк приказал Бойко ни в коем случае не говорить о космическом корабле и спрятанном в километре от поляны катере.

— Ну ты меня совсем за идиота считаешь,— обиделся Бойко.

Он подвинулся поближе к аборигену и жестами попросил его показать удивительный пистолет. Абориген, не проявив при этом никакой подозрительности, охотно дал разведчику одну из «пушек», а Бойко, в свою очередь, протянул ему свое оружие.

И земляне, и аборигены долго с удивлением рассматривали и хвалили незнакомое оружие, кивали головами, цокали языками, а затем Бойко поднял раструб пистолета вверх и нажал на курок. Не было ни грохота, ни вспышки. Лишь тонкий лучик ушел в небо да послышалось что-то вроде пения комара.

— А ведь он этой штукой мог порезать нас на антрекоты,— удивленно сказал Бойко.— Правда, и я бы успел сделать из него подгоревшую котлету, но боюсь, что не увидел бы этого.

— М-да,— покачал головой Хенк,— надо бы сообщить на корабль, но так, чтобы они не догадались.

— А ты думаешь, они нас за незнакомых зверушек приняли? — язвительно спросил Бойко. — Если они здешние, то уж, наверное, знают, какие твари водятся у них в джунглях. Так что надо расконспирировать. Зачем ваньку валять? Они нас засекли и, может, даже шли к нам на встречу. — Говоря все это, Бойко не переставал улыбаться и делать вид, что рассматривает пистолет.

— Я тебе расконспирируюсь, — так же улыбаясь, ответил Хенк. — Засекли — значит засекли, а наше дело помалкивать.

— Отличная вещь, — сказал Бойко, возвращая аборигену оружие. Для убедительности он поднял большой палец кверху, хохотнул и хлопал владельца пистолета по плечу. Абориген сделал то же самое: пальнул вверх, восхищенно охнул и вернул пистолет владельцу.

* * *

Хоппер рубанул топориком по веткам, и они упали на землю, открыв космонавтам небольшую поляну. На поляне, в двух метрах друг от друга, стояли два аборигена очень странной наружности. У одного в руке был большой металлический нож, у другого — непонятого назначения блестящая штуковина. Едва аборигены заметили космонавтов, как тот, что был ближе, направил конец «штуковины» на Хоппера. Опытный космонавт понял, что это означает. Неуловимым движением он выхватил из кармана комбинезона щегольской бластер с широким раструбом и направил его на незнакомца. Хоппер слышал, как аборигены о чем-то тихо переговаривались. Он и сам успел шепнуть позади стоящим товарищам, чтобы они не шевелились, но один из аборигенов неожиданно бросил на землю нож, а второй тут же опустил руку с блестящей «штуковиной».

— Ффу, — облегченно вздохнул Хоппер, — кажется, они не совсем идиоты, — сказал он тихо. После этого Хоппер последовал примеру незнакомцев.

Один из аборигенов, тот, что был дальше, сделал несколько шагов к космонавтам. Он показывал свои пустые руки и сильно морщил лицо.

— Бойтся, бедняга, — сказал Хоппер и дал команду всем выйти на поляну.

Аборигены оказались очень милыми и доброжелательными существами. Они все время размахивали длинными передними конечностями, морщились и не переставая лопотали. Неожиданно один из них принялся собирать палки, а когда набрал большую охапку, то сложил их шалашиком и поджег чем-то похожим на допотопную зажигалку.

— Техника-то у них на уровне, — сказал Хоппер.

— Надо бы на связь выйти, — забеспокоился один из космонавтов.

— Подожди пока,— отмахнулся Хоппер.— Догадаться. Еще не хватало, чтобы к нам на корабль пожаловали гости. Кто их знает, кто они такие. Это сейчас они такие доброжелательные. Шарахнут по кораблю из какой-нибудь бандуры, и крышка.

— А ты думаешь, они считают нас своими, из зоопарка, например?

— Неважно, что они думают. Про корабль — ни слова.

Аборигены худо-бедно объяснили космонавтам, что гуляют по лесу, ищут всякую живность. Затем один из них попросил показать пистолет, и Хоппер достал свой посеребренный бластер, а взамен получил блестящую «штуковину» незнакомцев.

Аборигены внимательно разглядывали оружие космонавтов и о чем-то оживленно болтали. Хопперу показалось, что он уловил в интонациях аборигенов нотку восхищения, и с гордостью подумал о достижениях своего народа. Он бы с удовольствием продемонстрировал жителям этой планеты свое оружие, но один из них поднял руку и нажал на спусковой крючок. «Жаль, что не по деревьям,— подумал Хоппер,— вы бы в действии его посмотрели».

Повертев в руке оружие аборигенов, Хоппер поднял пистолет и выстрелил. В воздухе мелькнула бледная черточка, и на высоте около километра вспыхнул небольшой взрыв.

— Плазма! — охнул Хоппер. Вернув пистолет владельцу, он покивал головой, опустил один из пальцев вниз и добавил: — Замечательно. Черт, а вы, ребята, не так просты, как кажется.— Затем он при помощи жестов объяснил новым знакомым, что им пора уходить, а своим приказал: — Все. На корабль. Они ребята неплохие, но вот что там их правители удумают, одному богу известно.

Прощание было очень теплым. Аборигены очень энергично пожимали космонавтам руки, а космонавты похлопали в знак дружбы в ладоши.

Едва космонавты сделали несколько шагов к лесу, как из кустов на поляну выкатились два милых зверька. Они по инерции пробежали почти до самой лужи, но, увидев людей, остановились.

— Ну вот и фауна,— удовлетворенно сказал Хоппер.— Может, захватим одного? А то как-то неудобно возвращаться с пустыми руками.

Аборигены тоже остановились и о чем-то заговорили.

— Эй,— окликнул их Хоппер и показал на зверьков.— Они не ядовитые? Собственно, что я спрашиваю? — Хоппер жестами объяснил, что хочет поймать зверька, и аборигены согласно закивали головами.

На ловлю зверьков ушло не более минуты. Их поделили пополам между группами. Хоппер попытался просто так, из любопытства, выяснить, съедобны ли они. Он поклацал зубами и ткнул пальцем в зверька, и один из аборигенов мимикой и жестами объяснил ему, что делать этого ни в коем случае не надо. Он прижал руку к груди, наклонил голову и смачно сплюнул на землю.

— Несъедобны,— прокомментировал Хоппер немой монолог аборигена.

Еще раз попрощавшись, группы разошлись в разных направлениях. Зверек в руках у Хоппера дергался и надрывно кричал. У него совсем не было когтей, и почему-то шкурка отставала от тела.

* * *

Чак бился в лапах у гигантского чудовища и пытался разглядеть сквозь ветви, куда унесли Тюи. Последнее, что он слышал:

— Чак! Чак, дорогой... кто это, Чак?! Спаси меня, Чак!!!

Павел АМНУЭЛЬ

НЕ МОГУ ПОСТУПИТЬСЯ ПРИНЦИПОМ!

Хорошо, граждане судьи, постараюсь быть последовательным и кратким. Как вы знаете, я работаю в Бюро патентов. Сам ничего не изобретаю и ни одного закона природы не открыл. Но я их регистрирую. Это очень ответственно — после всех экспертиз и доказательств я вношу изобретения и открытия в Реестр, и с этого момента из области гипотез они переходят в разряд истины. Но от меня-то самого это не зависит, верно ведь?

Не все, однако, это понимают. Я мог бы рассказать, как меня шантажировали, как подкладывали под стул бомбу, как угрожали расправиться со всеми потомками до тридцать седьмого колена, если я не занесу в Реестр, что гражданин Икс открыл закон природы, который... и так далее. Вы понимаете, что я не могу этого сделать. Я человек честный. Если по закону природы не принято решение, что он есть, значит, его нет. И все тут.

Короче, с авторами я работать привык. А в тот день пришел не автор. Точнее — пришла. Ну да, потерпевшая, Бог ее прости. Молодая, красивая, глаза, как сливы. И разговор у нас пошел такой:

— Принцип Горми вы регистрировали?

— Какой,— говорю,— принцип? Горми, ага, вот. Я регистрировал. Три дня назад.

— Вот вам ластик, вот ручка,— говорит она.— Подчищайте и вычеркивайте. Чтоб и духу его в Реестре не было.

Я растерялся. Такого еще не случалось. Ну, вы понимаете, принцип Горми — закон природы, его открыли, проверили, обсудили и приняли. И все тут. Что же подчищать? И что изменится в природе от моей подчистки? Ни-че-го. И все тут. Я пытаюсь это ей объяснить... потерпевшей то есть. И слышу в ответ:

— Вы не понимаете, на что покусились? Ведь этот ваш принцип отменяет принцип Сосо!

— Ну да,— говорю,— отменяет. Новые принципы, новые законы природы всегда или дополняют старые, или отменяют, если выясняется, что старые были ошибочными. Ведь методы познания пока несовершенны, но мы познаем природу все более точно, и... Ну, понимаете.

— Принцип Сосо! — кричит она. И это ей очень идет, граждане судьи. Она, когда молчала, очень много теряла в своей привлекательности. А в крике она была... Грудь вздымается, вся она натянута как струна и, что я сразу заметил, смотрит не на меня, а в сторону, и вижу я только профиль. Вот-вот, я тоже понял — принцип Сосо в остаточной фазе. Я ей так и сказал.

— Именно! — кричит она.— И этот главный принцип всего нашего славного прошлого вы хотите вымарать своим принципом Горми!

— Лично я ничего не хочу,— начинаю объяснять,— но есть объективная реальность... Ведь согласно принципу, открытому шестьдесят лет назад известным ученым-биологом Сосо...

— Гениальным! — кричит она.— А кто этот ваш Горми?

— Гражданка,— объясняю я,— законы природы не зависят от того, кто их открыл,— известный Сосо или пока неизвестный Горми. Так вот, согласно принципу Сосо каждый индивидуум должен жить, повернув голову вправо, и чем более принципиальная личность, тем большим должен быть угол поворота.

— Именно! — Когда она кричала, я не мог оторвать взгляда, я даже плохо вникал в смысл, так красив был ее профиль.— Это был настоящий принцип, вошедший в плоть и кровь народа. В свое время все — понимаете, все! — следовали этому принципу.

— Конечно, вошел в кровь,— бормочу я.— Попробуй не последовать, когда тут же вмешивается Принципиальное совещание и выворачивает вам шею так, как положено.

— А как же иначе? — удивляется она, искоса глядя на меня и все более отворачиваясь.— На то и принцип, закон природы, чтобы соблюдался неукоснительно. Все — значит все. Вбок — значит вбок. И чем больше угол поворота головы, тем разумнее личность. Все четко. Не то что сейчас, господа, хаос-то какой! Этот ваш принцип Горми — полное отсутствие принципов вообще!

— Почему? — сопротивляюсь я.— Нормальный принцип. Вы же знаете, чем заканчивалось следование принципу Сосо. Одни, стараясь быть лучше всех, так крутили головой, что сворачивали себе шею, но подавали пример другим, и их называли верными принципами. А многие просто физически не могли, и им сворачивало шею Принципиальное совещание. Смертельный номер! Государству нужны живые личности, а не мертвые.

— Государству нужны личности, соблюдающие принцип,— говорит она, и я вижу, как из ее левого глаза вытекает слеза. Может, и из правого тоже, но в профиль это незаметно. Пододвигаю стакан с водой и чувствую себя совершенно разбитым. Будь моя воля, я, возможно, и согласился бы, что принцип Сосо — лучший в мире. Но от меня-то ровно ничего не зависело, сами понимаете. Закон Горми зарегистрирован в Реестре, он действует, и что я мог сделать для этой красивой, но совершенно потерявшей рассудок женщины? Жаль мне ее стало, я видел — она отварачивается все больше, так и хотелось обежать кругом, вытереть ей слезы, но ведь я был на работе, я должен был убеждать посетителей, а не жалеть их.

— Послушайте, уважаемая,— говорю,— поймите, что принцип Сосо годится лишь для очень немногих личностей, у которых шейный аппарат так устроен, что позволяет голове поворачиваться хоть на полный оборот. Частный случай, но был ошибочно возведен во всеобщий принцип. Вы должны видеть, что после введения принципа Горми народ стал здоровее...

— Разве может стать здоровее народ, поступившийся принципом? — удивляется она.— Разве может стать здоровее общество, в котором все вертят головами куда хотят?

— Но если уж смотреть в одну сторону,— резонно замечаю я,— то лучше вперед, чем вправо или назад.

— Нет! — она почти визжит.— Вперед должен смотреть тот, кто открыл принцип, а все, кто этому принципу следует, должны смотреть на того, кто принцип открыл, или назад, чтобы видеть пройденный путь и понимать, как плохо было раньше и как стало хорошо теперь!

Господи, думаю я, когда же кончится рабочий день, не могу я ее уговорить, и выгнать не могу, и сам уйти. Вот так, граждане судьи, дотянул я до конца смены и сбежал. Думал, что она больше не придет. Она пришла. Явилась и на третий день, и на четвертый. Я чувствовал, что при ее появлении у меня самого голова начинает произвольно поворачиваться вправо до боли в позвоночнике. Это было наваждение. Ее ничто не убеждало. В объективность природы она не верила. А я ведь тоже личность, граждане судьи. Она не давала мне работать. За три дня я не сумел зарегистрировать ни одного изобретения. Я детально изучил ее профиль: две родинки на левой щеке, ухо чуть удлинненное, но удивительно привлекательное, прическа строгая, короткая, деловая. Но нервы не выдержали.

— Послушайте, уважаемая,— я к ней все время так обращался,— вас не убеждает, что принцип Горми позволил наконец понять: шея обладает значительно большим числом степеней свободы — так биологические законы были приведены в соответствие со всеми прочими законами природы. Вы утверждаете, что не можете поступиться принци-

пом, но ведь вы и следовать этому принципу не можете, физически не в силах, потому что это противоречит природе личности!

Она замерла, будто я вlepил ей пощечину. Ей — женщине!

— Вы ответите за свои слова,— сказала она очень тихо, и у меня мороз пробежал по коже.— Для тех, кто верен принципу Сосо, нет преград. Ни в море, ни на суше.

— Принцип Сосо действительно гласит,— продолжаю я скучным голосом,— что верный принципал способен повернуть голову на сто семьдесят градусов. Всем известны имена героев, которым это, как говорят, удавалось. Правда, сейчас мы знаем, что это было враньем, что подобное не под силу личности, если она действительно личность. Ну а фотографии, что публиковались в прессе, были просто...

Пока я говорил, ее щека становилась все более пунцовой от ярости.

— Я не могу поступиться принципом,— четко сказала она,— и докажу вам.

Она поворачивала голову все дальше, я увидел ее правое ухо, мы как-то отвыкли за последнее время от подобного зрелища, туловище ее оставалось неподвижно, я видел, как пленительно вздымается в волнении ее грудь, а выше отложного воротничка — напряженная в страшном стремлении свернуть позвонки прекрасная шея, и тогда я услышал хруст, у меня потемнело в глазах, я покинул рабочее место, подхватил женщину, которая медленно оседала на пол, попробовал влить ей в рот воду, но... В общем, сами понимаете, граждане судьи, вам ведь известны результаты гипертрофированного следования принципу Сосо. Я... Я к ней до того страшного мига и пальцем не прикоснулся. Прошу квалифицировать этот случай как самоубийство. Прошу освободить меня от уголовной ответственности по этому делу, поскольку никто из нас не поступился принципом. Я — новым, она — старым, и неверным. Такая женщина, Господи Боже мой... Но ведь она сама... Граждане судьи, обещаю, что буду честно выполнять служебный долг и, когда в будущем откроют новый принцип личности, я занесу его в Реестр и буду следовать ему неукоснительно. Ну то есть пока не откроют еще один принцип, ведь, как известно, природа бесконечна...

Татьяна ГРАЙ

«СГИНЬ, ДИКАЯ СИЛА...»

Снега уже подернулись черным, осели,— словно скисли. Ветер дул резкий, сырой — весна... День хоть и воскресный был, да что-то нерадостный. Низкие тяжелые облака нависли прямо над головой, время от времени из чернеющих клубов вываливались на землю белые огромные хлопья, но едва лишь касались дороги — таяли, добавляя тяжелые

капли к жирной грязи, и без того уже непролазной. Невеселый наступил день, муторный. Ни свет вокруг, ни тьма — все колеблется, все неверно, неустойчиво. Да только Анне было все равно. Муторнее ее дум никакой день быть не мог. Анна шагала с самого рассвета, переночевав в маленькой деревушке, верстах в пяти отсюда, — пустили добрые люди, обогрели, накормили... Анна расспросила хозяйку, далеко ли село, велико ли да каков там батюшка. Рассказали. Село зовется Никодимское, большое, по праздникам там ярмарки, и народ веселый живет. А поп в тамошней церкви новый, ничего пока о нем не знают. Прежний-то батюшка был хорош, добрый да безотказный; за требы много не брал, а с кого спросить нечего — даром и венчал, и крестил. Преставился в начале зимы, упокой, Господи, его душу... А теперь — отец Варсофоний, молодой. Из ученых. Знает-то он много. А каков человек — не разобрались еще.

И пошла Анна в село Никодимское, как к последней своей надежде стремясь — к отцу Варсофонию.

А как и он не поможет?

... Жила-была девочка Нюрка, ясноглазая, смешливая... Росла у батюшки с матушкой, горя не зная, — дом был не из бедных, работать ей не приходилось. Бегала с ребяташками по грибы да по ягоды, зимой — в теплом тулупчике да новых валенках, в платке пуховом — с горки каталась; долгими вечерами сказки слушала, что матушка рассказывать была мастерица. И шел уже Нюрке тринадцатый годок, как стряслось с ней неслыханное несчастье. Упала беда — как падает внезапно дождь... Что-то проснулось в девочке — темное, страшное, — от чего люди отkreщивались как от нечистой силы. А чем она виновата?

Село их было большим, людным, проходила через него почтовая дорога, стояли два трактира, а на базары по воскресным дням и по праздникам из всех окрестных деревень люд собирался — чужих, проходящих всегда хватало. И вот как-то в воскресенье у вдовы Агриппины, что жила через два дома от Нюрки, свели со двора козу. Агриппина и без того с хлеба на квас перебивалась, ей без козы — хоть на погост, детей вовсе кормить нечем... Нюрка проснулась утром от крика — тетка Агриппина бегала по дворам, причитая во все горло, жалуясь на несчастную свою долю. Нюрке не было дела ни до Агриппины, ни до ее козы — она занялась своими детскими забавами. А ближе к полудню вместе с соседскими ребятами побежала на базар. Лазали между возами, шныряли в рядах, заглядывая в корзины, — баловались. Но вдруг Нюрку словно что толкнуло, и она, уставясь на мужичонку в драном армяке и заплатанных портах, взвизгнула:

— Ты у тетки козу свел!

Почему Нюрка так крикнула — она и знать не знала. Просто ей в один миг увиделось, как мужичонка крадется вдоль плетня, подманивает козу, тащит ее за крутые рога...

Поднялся шум, бабы заверещали, сбились в кучу вокруг мужика, — а он как встал, опустив руки и вытаращив глаза на Нюрку, так и стоял, пока толпа не разворошила его воз. И нашли там связанную и закиданную сеном козу. Но никто в тот день не назвал Нюрку ведьмой. Это уж потом, к осени...

Дорога круто взбегала вверх, на пригорок, и Анна замедлила шаг — не было сил; издерганная душа ныла в усталом теле, молодом годами, но таком старом от бесконечных скитаний... За пригорком открылась широкая равнина. Дорога расходилась росстанью и направо шла к большому селу — тускло поблескивали в утренней сырости купола пятиглавой церкви, а налево — терялась в бескрайних полях. Вдохнула Анна и, перекрестясь, пошла к селу.

... А потом, ближе к осени, в день Успения Богородицы, случилось такое, что Нюркины родители испугались не на шутку. Великая Пречистая, день Успения — праздник большой, по всей Руси православной в этот день гудят колокола, стар и млад в день Господнин нарядны с утра, и работать нельзя: если в день Великой Пречистой за работу взяться, на другой год урожая не будет. И Нюрка с отцом и матерью с утра в церковь отправилась, чтобы молитвой начать праздник. А после службы, когда не спеша шли по сельской улице, встретился им дед Василий. Дед Василий был великий искусник: зверей вырезал из дерева, лисицы да собаки у него совсем как живые выходили. Вот и в тот день дед тащил под мышками деревянных барана и медведя — к постоялому двору шел, хотел своих зверей продать. Пока Василий с Нюркиным отцом говорил, Нюрка на барашка смотрела, глаз оторвать не могла — уж так ей захотелось игрушку получить... Вот и попросила:

— Дед Василий, отдай мне барашка!

Дед уставился на нее, да возьми и выругайся (грубый был мужик) в том смысле, что баран денег стоит, а даром раздавать вещи он, дед Василий, не приучен. Рассердилась Нюрка на деда и брякнула:

— Да зачем тебе деньги-то? Все одно помрешь к Малой Пречистой!

Тут уж не только дед Василий, а и Нюркины родители разгневались. Отец дал Нюрке по затылку и велел идти домой. Дома ругали ее и отец, и мать, говорили, что над жизнью и смертью один Господь властен, и человеку в это вступать не положено, а уж говорить такое, как Нюрка сказала... Нюрка не могла толком объяснить ничего, только твердила, что видела она, видела... «Что видела?» — допытывалась мать. Видела, как деда отпевают.

А в первых числах сентября, как раз перед Малой Пречистой, дед Василий и в самом деле помер...

Снег стал дождем. Большие холодные капли плюхались вокруг Анны, не задевая ее, а небо словно падало, падало ей на голову, и Анне все время хотелось поднять руки, чтобы остановить его падение... Вдоль дороги редко торчали голые ветлы, и Анне казалось, что облака цепляются за верхушки, застревают в черных безлистных ветвях и дождь идет оттого, что ветки процарапывают в облаках дыры. Сорвался внезапно ветер, заметался, как шальная птица, загудел басовито. Анна постаралась идти побыстрее и наконец вошла в село. Шагала, не глядя по сторонам — тошно ей было смотреть на чужие ладные дома, на чужую спокойную и сытую жизнь... Народу на улице не было, все в церкви — сегодня Сорока мученикам празднуют... Наконец добралась до церкви и Анна. Войти-то она вошла, но остановилась у самой двери, не решаясь сделать лишнего шага. Пала на колени, молилась горячо, прося Бога избавить ее от беды, — но мысли разбегались временами, и снова Анна возвращалась в прошлое, и каждый день ее горькой жизни казался бывшим вчера, и не приходило забвение, и не было ей покоя, и молитва не помогала душе уйти от многолетних мук...

— ...Больная у тебя корова-то, тетка Настасья! — словно кто дергал ее за язык, говорила Нюрка. И корова околевала...

...И батюшка ее святой водой пользовал, и к знахаркам ее мать водила, и по святым местам, по монастырям ездили — нет, ничего не менялось. Видела Нюрка внутри человека темное — значит, не жилец. Видела в животных синие пятна — болезнь... А люди кричали ей вслед: «Ведьма!» — и забрасывали камнями, и комя грязи летели ей в спину, и все шарахались от нее — злая сила... Нюрка росла, и становилось ей все хуже и хуже, и к семнадцати годам, после того, как заметили односельчане, что Нюрку дождь обходит, ни одна капля не упадет на ведьму, — ушла Нюрка из села. И с тех пор, третий год уже, шагает Анна по дорогам, от церкви к церкви, от монастыря к монастырю, надеясь, что где-нибудь да помогут ей. Но везде слышала она лишь проклятия... Сколько раз собиралась Анна руки на себя наложить — да как возьмешь такой грех на душу? И без того — хуже некуда. Неужели и ученый отец Варсофоний не сумеет избавить Анну от дикой силы, от дьявольского наваждения?..

Народ не спеша выходил из церкви, но на улице, попав под холодный дождь, люди пускались бегом. Анна стояла у двери, сжавшись, свернувшись внутри себя в тугой узел, — а ну как опять слово сорвется? На Анну не обращали внимания — мало ли нищих богомолков приходит

сюда? Она стояла терпеливо — и боялась того момента, которого ожидала со страстной надеждой.

Наконец церковь почти опустела. Отец Варсофоний в левом приделе говорил тихо с какой-то бабой, да шуршали черными юбками две старушки, гася догорающие свечи, — и никого больше. Анна собралась с духом и медленно, словно лениво, пошла к батюшке. Каждый шаг давался ей с мукой. Подошла, остановилась поодаль. Баба, поцеловав руку батюшке, ушла, и статный, с холеной русой бородой священник вопросительно обернулся к Анне.

— Батюшка... — прошптала Анна. — Отец Варсофоний... за помощью пришла, не откажи...

— Говори, чадо, — мягко, ласково откликнулся священник. — Ты в доме божьем.

От звука его теплого, бархатного голоса Анна вдруг ослабела, и слезы, так долго не находившие себе выхода, полились по изможденным щекам. Захлебываясь, она говорила, бессвязно, отрывисто, — рассказывая историю своей нелепой жизни и повторяя: «Нет моей вины, нету... Нет во мне зла...» Пальцы Анны безудержно теребили концы платка, повязанного вроспуск, по-монастырски, — Анна говорила, говорила, но уже понимала, что помощи ей и здесь ждать не приходится. Откуда пришло это понимание — кто ведает? Только в отце Варсофонии ощутила она что-то... Анна не смогла бы объяснить словами, что именно. Не верил ей батюшка. За юродивую принял. А может, и похуже что подумал...

Анна внезапно замолчала. Отец Варсофоний смотрел на нее в раздумье. Он, несмотря на всю свою ученость, мало что понял из сумбурной речи женщины, — понял только, что она прослыла ведьмой, но почему? Ее слова звучали слишком странно, чтобы священник мог им поверить. «Что ей надо? Чего она, собственно, от меня ждет?» — как-то неуверенно бродило в голове отца Варсофония. И, чтобы не молчать, чтобы как-то проявить участие, спросил:

— Где дождь-то переждала, милая?

— А...

«А нигде не переждала, батюшка», — чуть было не сорвалось у Анны, да успела вовремя остановить глупый свой язык. И прошптала едва слышно:

— Переждала...

И слезы высохли.

Не сумеет ей помочь отец Варсофоний.

А священник пытался сообразить, что же ему делать с этой ненормальной? Одни глаза ее чего стоят... огромные, провалившиеся.. и цвета не разобрать. Правда, в церкви темновато... похоже, что черные. Или темно-серые? Наконец отцу Варсофонию показалось, что он нашел выход. При церкви была небольшая богадельня, где призревались без-

ПРОСТИ, БЫЛОЕ

Напротив статистического бюро, на стене облупленного зеленого дома появилась вывеска — «Институт времени». Когда именно возник черный квадрат с серебристыми буквами на привычно-пустой стене, Евгения Егоровна не знала. У нее не было обыкновения смотреть в окно в рабочее время. Но в этот мутный осенний день Евгения Егоровна слегка нездоровилось, и она, отложив таблицы, рассматривала непонятную надпись. «Что значит — «Институт времени»? — немного вяло соображала Евгения Егоровна. — Что можно делать со временем? Ну измерять, само собой... Но ведь не ради этого существует институт? А что еще? Ускорять, замедлять? Разве это возможно?..» Однако довольно скоро мысли эти сами собой растаяли, улетучились, и Евгения Егоровна занялась работой. Но что-то неявное застряло в памяти...

Осень плавно перетекла в зиму, дни уходили в никуда незаметно и однообразно. Евгения Егоровна существовала по инерции — так же, как многие годы до сих пор: работа, вечером — пустой одинокий дом, иногда — к подруге, в кино... а в общем жизнь бессмысленная и никому не нужная, цепочка мелких дел. Евгения Егоровна жила воспоминаниями, события теперешних дней проходили мимо ее сознания, и она вряд ли хотела бы иного. Вот только судьба не спрашивает, каковы наши желания. И судьба распорядилась по-своему.

В тот день Евгения Егоровна задержалась на службе дольше обычного, и, когда она вышла на улицу, из дверей напротив бюро, тех самых, возле которых красовалась загадочная вывеска, вытекала тонкая струйка сотрудников Института времени. Евгения Егоровна машинально отметила, что в институте работа заканчивается на полчаса позже, чем в их бюро, и пошла по узкой тропке между высоченными сугробами — к остановке автобуса. На остановке толклись замерзающие сотрудники института вперемешку с запоздавшими статистиками. Евгения Егоровна встала немного в стороне и смотрела на обледеневшую дорогу, прикидывая, чем заняться вечером. Чья-то рука осторожно дотронулась до ее рукава:

— Женья?

Евгения Егоровна всмотрелась в подошедшего к ней человека. Не сразу в полноватом лице начинающего стареть красавца она увидела знакомые черты. А увидев, вскрикнула:

— Господи, Андрей, ты?!

— Женька,— рассмеялся бывший одноклассник Евгений Егоровны,— я уж думал, ты меня не узнаешь.

— А ты меня сразу узнал?

— Представь — сразу. — торжествуя объявил одноклассник.

— Ну и ну,— покачала головой Евгения Егоровна.— Вот не предполагала, что меня можно признать с одного взгляда.

— А ты не изменилась, Женя. То есть я хочу сказать — в тебе что-то сохранилось... главное. Это видно сразу.

— А может быть, я просто остановилась в развитии? Кстати, как твоё отчество?

— Вообще-то Федорович. А зачем тебе?

— Да так, для информации.

— Надеюсь, ты не намерена величать меня полным титулом?

— Нет, что ты,— улыбнулась Евгения Егоровна.— Но как-то странно... Мы ведь с тобой ни разу не встречались после школы. И вдруг...

— Вот именно — вдруг! Женька, это надо отметить.

— Ой-ой!

— Никаких «ой»! Идем в мороженицу. И не спорь, не отпущу. Или... тебе нужно домой?

— Нет, Андрей, куда мне не нужно.

Андрей Федорович взглянул внимательно, но промолчал.

Из-за поворота, фыркая и загребая колесами, выкатился автобус. Втиснувшись на заднюю площадку, сжатые до превращения в плоскостные изображения, Евгения Егоровна и Андрей Федорович доехали до центра и наконец вылетели из автобуса, как шпонка из рогатки.

— Уф, добрались! — воскликнул Андрей Федорович.— Ну, теперь я заведу тебя в уютнейший уголок. Ты наверняка представления не имеешь, какое здесь неподалеку есть кафе. Мечта!

Название кафе, надо сказать, мало отвечало представлению Евгении Егоровны о мечте — на вывеске значилось: «Столовая № 18». А на маленьком куске картона, небрежно сунутом в застекленное окошко для меню возле двери, — «Вечернее кафе».

— Мечта номер восемнадцать,— уточнил Андрей Федорович, помогая спутнице снять пальто.— Днем здесь молочные супы, а вечером — молочные коктейли.

Они вошли в кафе, и Евгения Егоровна была приятно удивлена. Уютный небольшой зал с низкими сводчатыми потолками, мягко освещенный, наполненный тихой музыкой...

Они устроились поближе к окну и, когда симпатичная официантка поставила перед ними вазочки с мороженым и кувшинчик абрикосового сока, занялись воспоминаниями. Но как-то сами собой воспоминания перешли в разговор о сегодняшнем, и постепенно выяснилось, что оба они одиноки, с той лишь разницей, что Евгения Егоровна равнодушно ждет выхода на пенсию, а Андрей Федорович занят работой, не только составляющей смысл всей его жизни, но и открывающей новые перспективы для всего человечества.

— И все-таки, Женя,— в какой-то момент Андрей Федорович вернулся к уже оставленной теме,— я не совсем понимаю. Неужели ты не могла найти кого-то другого?

— Могла,— усмехнулась Евгения Егоровна,— и нашла. Только эта находка в моей биографии не задержалась. Видишь ли, я все время сравнивала... Ох, если бы возможно было вернуться в прошлое! Я бы не упустила счастья.

— Ты уверена в этом?

Евгения Егоровна подумала немного.

— Да... Теперь-то я знаю, в чем были мои ошибки. Я не совершила бы их вторично. И все могло сложиться иначе, вся моя жизнь,— если бы тогда, в молодости, я умела видеть так, как сейчас.

— Увы,— развел руками Андрей Федорович,— мудрость приходит с годами, к сожалению. Истина достаточно избитая, но живучая, как кошка.

— Ну, теперь нет смысла в сожалениях,— отмахнулась Евгения Егоровна от нахлынувшей грусти,— все уже позади.

— Как знать, как знать,— пробормотал Андрей Федорович.

Зима начала естественным образом превращаться в весну, но, обиженная превращением, сопротивлялась долго и упорно. Тем не менее метаморфоза совершилась. Неуклонно близилось время летних отпусков. И вот однажды, сидя напротив Евгении Егоровны все в той же мечте номер восемнадцать», Андрей Федорович спросил:

— Женя, а ты всерьез хотела бы вернуться на тридцать лет назад?

Евгения Егоровна не раздумывала ни секунды:

— Конечно.

Ей показалось, что мгновенность ее ответа вызвала тень на лице одноклассника, но, ошарашенная невероятной надеждой, она не обратила на это внимания.

— Так... Я, пожалуй, сумею тебе помочь.

— Ваш институт?..— Евгения Егоровна как-то сразу и безоговорочно поверила, что Андрей Федорович не шутит.

— Да, наш институт решил проблему — практически. Теперь мы занимаемся сооружением теории.

— Извини, не поняла. Разве так может быть — практическое решение на пустом месте?

— Сколько угодно. Пример первый — рефлексотерапия, то бишь иглоукалывание. Можно проводить операцию на брюшной полости без лекарств, вызывающих сон,— только при помощи иглоаналгезии. Понимает кто-нибудь, в чем тут дело? Уверю тебя, что нет. Пример второй — лозоходство. Знаешь?

Евгения Егоровна пожала плечами.

— Что-то слышала.

— Вот-вот. Все что-то слышали, что-то видели, как-то использовали, а в чем суть явления, никто не имеет не только выраженного представления, но и тени догадки. Зато масса терминов: биолокацион-

ный поиск, радиоэстезия... существуют институты по изучению этого явления, есть школы лозоходцев... но все это ни на шаг не приближает к объяснению феномена. То же самое и у нас. Мы знаем, как отправить неживой или живой объект в прошлое, как вернуть его обратно,— но если бы мы могли хоть что-то в этом понять!

— Но как же вы добились этого... то есть возможности перехода?

— Ох, Женя, это такая цепь случайностей, которая может выпасть один раз в десять миллионов лет. Ошибки расчета, наложенные на ошибки проектирования... небольшие неточности при изготовлении — в общем, строили один аппарат, получили совсем другой.

— Ну хорошо, вы отправляете человека в прошлое. А что происходит при этом с тем, кто уже есть в этом самом прошлом? Их становится двое?

— Нет. В этом как раз завыка, о которой я вообще думать не хочу, ум за разум заходит, честное слово. Объект, видишь ли, исчезает в настоящем и сливается с самим собой в прошлом. Удвоения не происходит. А при обратном ходе — объект снова возникает здесь, не нарушая структуры прошлого.

— И ты мог бы вернуть меня на тридцать лет назад?!

— Если ты не возражаешь.

Евгения Егоровна рассмеялась счастливо:

— Я не возражаю, Андрей. Я нисколько не возражаю.

— Но учти, что сначала нужно уладить все на месте, то есть в сегодняшнем дне.

— Тебе могут не разрешить?

— Нет, я о другом. Ты ведь не можешь исчезнуть со службы без объяснений? Значит, тебе надо уволиться, я оформлю тебя к нам в институт. Боюсь только, что зарплата...

— Какая зарплата, Андрей, о чем ты? Я же уйду в прошлое!

Андрей Федорович потер ладонью подбородок, промычал что-то неопределенно, помялся, но все-таки решился сказать:

— Видишь ли, Женя, все, кого мы отправляли в прошлое, очень быстро возвращались обратно.

— Почему?

— Предпочитали настоящее,— коротко ответил Андрей Федорович.

— Я не предпочту,— заверила его Евгения Егоровна.

— Ну хорошо, примем как рабочую гипотезу. Дальше — сложности адаптации в прошлом. Ты вернешься туда, вооруженная опытом пятидесяти двух лет жизни. Тебе будет трудно общаться с родными...

— Я детдомовская, Андрей, ты забыл?

— Прости... в самом деле забыл. Значит, с этим все в порядке... хотя, конечно, какой это порядок, если нет родных?.. Ну, остальное мело-

чи. Инструкции — непосредственно перед переброской. Так что дело за тобой.

— За мной дело не встанет.

...Евгения Егоровна в смутно-обобщенном состоянии дорабатывала последние дни в статистическом бюро. Она и прежде плохо видела настоящее, а теперь уже окончательно погрузилась в прошлое — то самое, вернуться в которое в самом буквальном смысле предстояло ей вскоре. Недоуменные вопросы сотрудников («С чего это вы, Евгения Егоровна, решили уволиться? Тридцать лет на одном месте, и вдруг срываться неведомо куда?»), уговоры начальства — все проходило мимо, не задевая сознания. Скорей бы, поскорее...

Но вот, крепко прижимая к себе сумочку с трудовой книжкой, Евгения Егоровна вошла в двери Института времени. Андрей Федорович встретил ее у турникета, протянул заготовленный пропуск — и Евгения Егоровна пошла по запутанным коридорам, узеньким крутым лестницам старого здания — навстречу упущенным возможностям. Ей казалось, что в прошлое она ринется прямо сейчас, сию минуту, оно может возникнуть за любым поворотом полутемных коридоров. Но Андрей Федорович сначала привел ее в свой кабинет.

— Формальности, Женечка, прежде всего формальности, — объяснил он. — Вот тебе бумага, пиши заявление о приеме на работу. К сожалению, всех, кто хочет удрать из настоящего, мы оформляем всего-навсего лаборантами...

— Андрей!..

— Ладно, не буду. И — анкета, как полагается. Справку из поликлиники не забыла?

— Не забыла.

Заполнив графы анкеты, Евгения Егоровна протянула лист Андрею Федоровичу и принялась писать заявление. Андрей Федорович, бегло просмотрев написанное, перевел взгляд на одноклассницу, произнес тихо, вслушиваясь:

— Ев-ге-ния Е-го-ровна...

Гремящее сочетание звуков имени заставляло искать выражения внешнего соответствия громяющему наименованию. Но — перед ним сидела женщина с мягкими и в то же время строгими чертами, с пышной прической, немного усталая... Сухие тонкие пальцы, без колец, с коротко остриженными ногтями, нервно крутили авторучку. А уж что творилось в ее серых глазах...

Андрей Федорович выдвинул ящик стола и достал небольшой изящный медальон из серебристого металла, на тонкой цепочке.

— Это ты должна надеть. Когда... то есть я хотел сказать, если думаешь вернуться, открой — там внутри рычажок. Передвинешь, и все.

Евгения Егоровна молча взяла медальон.

— Ну, теперь вычисляй день, в который хочешь попасть.

— День?

Евгения Егоровна задумалась надолго. Она — совершенно неожиданно для себя — обнаружила, что не помнит, когда Игорь Антонович появился в их отделе. То есть она прекрасно, разумеется, помнит год, но не только день, а даже месяц выпал из памяти. Кажется, тогда была весна? Нет, осень... Сохранилось и жило все эти годы только ощущение бесконечной радости — и в то же время муки, охватившее все ее существо. Все-таки это была осень. Да, конечно, она уверена в этом. Осень. И даже поздняя.

— Конец октября,— сказала Евгения Егоровна.— После двадцатого числа.

...Большой зал в подвальном этаже, заставленный аппаратурой, перепутанный проводами, подмигивающий цветными лампочками... Неудобное кресло, похожее на зубоврачебное... Евгения Егоровна не пыталась всматриваться в окружающее, она вся устремилась к своей несбывшейся однажды надежде. Что-то говорил Андрей Федорович, о чем-то ее спрашивали тени в голубых халатах — она отвечала, не задумываясь, не анализируя... И вот...

Пережив ощущение краткого, но в то же время мучительно длящегося полета, Евгения Егоровна осознала себя стоящей на темной вечерней улице. Она осмотрелась. Так... это недалеко от ее прежнего дома. Похоже, сейчас она должна вернуться с работы — в тесную шумную коммуналку, в маленькую комнатку, в которой провела всю свою молодость, одна, почти не имея друзей, незамечаемая соседями... Вдохнув, Евгения Егоровна достала из сумочки зеркало, взглянула — ну вот, ей снова двадцать три. И она решительно зашагала навстречу давно известному неведомому.

Фонарь торчал на повороте улицы мутно светящейся мишенью, и Евгения Егоровна вспомнила, как она останавливалась под этим фонарем, прежде чем свернуть в узкий переулок, в конце которого, закрытая собой тупик, стоял ее дом. Прошлое оказалось своим, узнаваемым, и в то же время странно чужим. Что-то изменилось. Что-то оказалось не таким, каким сохранилось в памяти. Что? Евгения Егоровна не могла понять. И не хотела. Она просто шла домой.

Помедлив мгновение, Евгения Егоровна вошла в темноватый подъезд. Узкая лестница, крутые ступени... шарахнулась из-под ног кошка, задремавшая на площадке. Вот и пришла. Пятый этаж. Обшарпанная дверь, увешанная гроздьями звонков и табличек. Евгения Егоровна нашла свою — «Е. Минаева». И кнопка звонка — зеленая. Сунула руку в карман пальто — ключи на месте. «Как-то все это... не по-настоящему», — промелькнуло в мыслях.

Войдя в комнату, Евгения Егоровна не сразу сняла пальто — сначала она подошла к окну, выглянула на улицу. Все тот же квадратный двор-колодец, все те же освещенные окна напротив. Скорее бы пришло завтра. Евгения Егоровна усмехнулась. Завтра — тридцать лет назад. Забавно...

Задолго до начала рабочего дня Евгения Егоровна уже шла по улице, всматриваясь в силуэты домов, размытые утренним туманом. Ей не хотелось забираться в тесноту троллейбуса, хотя пешком до бюро идти было больше часа. Но Евгения Егоровна чувствовала необходимость этой прогулки. Привыкнуть... к себе самой, к городу, который тоже стал моложе на тридцать лет, к черным деревьям с остатками коричневых листьев... к воздуху молодости...

Войдя в комнату, где располагался их отдел, Евгения Егоровна обнаружила, что ошиблась датой. Игорь Антонович, новый руководитель отдела, сидел за своим столом; и Евгения Егоровна только теперь вспомнила, что он пришел в бюро не осенью, а ранней весной. «Ничего,— подумала Евгения Егоровна,— это совсем неважно». Важно было другое — едва лишь она увидела его смуглое лицо, крепкую ладную фигуру, как вновь ощутила себя той влюбленной девчонкой, для которой каждое слово, каждый жест любимого полны загадки и радости...

— Доброе утро, Женечка,— кивнул ей Игорь Антонович.

Евгения Егоровна вздрогнула. «Ах, да,— тут же сообразила она,— до отчества я еще не доросла. Н-да, придется и к этому привыкать заново...»

— Здравствуйте, Игорь Антонович,— ответила она.

Первые дни промелькнули в сознании Евгении Егоровны как золотисто-розовая полоса, в которой не прорисовывались детали. Но вот минули выходные, а утром в понедельник Евгения Егоровна, вжата в плотную массу пассажиров троллейбуса, неожиданно для себя задумалась над эпизодом, происшедшим в их отделе в пятницу, к концу рабочего дня. Темным пятном всплыло в ее радость ощущение чего-то непонятного и давящего. Казалось бы, ничего особенного не случилось, но...

Ниночка Епишина, ровесница Евгении Егоровны, собиралась сразу после работы на вечеринку к друзьям. Она пришла на службу нарядная, с красивой прической, и сотрудницы не преминули отметить, что Ниночка прекрасно выглядит и ей очень к лицу новое платье. Уже с пяти часов Ниночка нервничала и то и дело поглядывала то в зеркало, то на часы. Женщины улыбались потихоньку, и Евгения Егоровна тоже радовалась за Ниночку, ощущая в то же время раздвоенность мысли: с одной стороны, сочувствовала Ниночке, понимая ее волнение, с другой — знала, что вечер пройдет прекрасно и очень скоро Ниночка выйдет замуж... «Вот бы сказать ей сейчас,— думала Евгения Егоровна.— То-то

было бы радости!» Но почему-то решила, что говорить нельзя. Все должно идти естественным путем. И вот в последний момент, когда все начали складывать бумаги, собираясь расходиться,— Игорь Антонович, взглянув на Ниночку, в последний раз оглядывающую себя в зеркало, сказал с холодной улыбкой:

— И все-то у вас на уме тряпочки-бантики-гуляночки. Лучше бы о работе подумали.

Ниночка вспыхнула, потом побледнела, опустила руки,— и стояла так несколько минут, растерянно глядя на Игоря Антоновича. А тот, словно не заметив произведенного его словами эффекта, спокойно взял портфель и, попрощавшись с сотрудницами, вышел из отдела. Евгения Егоровна, забыв о Ниночке, вышла следом за ним. Ее интересовало сейчас одно — возможность вместе с Игорем Антоновичем дойти до остановки троллейбуса. Жаль только, что ехать им разными маршрутами...

А теперь Евгения Егоровна размышляла об этом случае, ища оправданий своему кумиру. В самом деле, Ниночка не бог весть какой работник, так что Игорь Антонович, безусловно, прав. Но зачем было говорить в такой момент? Впрочем, он ведь не знал, что дело не в вечеринке самой по себе. И все-таки...

Задумавшись, Евгения Егоровна проехала свою остановку, вышла на следующей и в результате опоздала на пять минут, за что и получила выговор от начальника. «Ну вот,— с огорчением думала Евгения Егоровна, раскладывая на столе таблицы,— теперь он подумает, что и я работник вроде Ниночки». Но тут же успокоила себя воспоминанием: за то время, что Игорь Антонович работал в их отделе, Женечка Минаева трижды получала благодарности.

Но что-то изменилось с этого дня. Евгения Егоровна стала замечать, что Игоря Антоновича недолюбливают не только в отделе, но и во всем бюро отношение к нему прохладное,— несмотря на то, что дело свое он знал прекрасно, и собственно, кроме работы, ничто в жизни его не интересовало. Но... Иногда он слишком резко обрывал разговоры в отделе, иногда слишком категорично приказывал сделать то-то и то-то, хотя надобности в подобной категоричности не было; и что-то проскальзывало в его словах, интонациях... Евгения Егоровна боялась назвать словом, что именно.

Как-то в коридоре до Евгении Егоровны донеслись слова, брошенные вслед Игорю Антоновичу:

— Растет из всех сил!

И ее словно ударили по лицу.

Но ведь она слышала это и в прежней жизни?.. То есть в теперешней... то есть... Ну, неважно. В общем, знала, что Игорь Антонович действительно растет из всех сил, резво отпихивая локтями все, что мешает его росту. Знала, но... оправдывала. Ей всегда казалось, что лишь зависть — причина плохого отношения к ее начальнику. И не толь-

ко в молодости, но и позже, много лет спустя, она была все так же уверена в вечной и постоянной правоте Игоря Антоновича. Почему же теперь — только теперь — она поняла, что это стремление выдвинуться, вырваться вперед отнюдь не безобидно в той форме, какую оно приняло у Игоря Антоновича?

Она не верила своему открытию. Ей все еще казалось, что она слишком строго судит этого человека — судит с высоты жизненного опыта, вложенного в теперешнее молодое существо, что мысли Евгении Егоровны мешают Женечке видеть мир просто. Игорь Антонович по-прежнему — как и тридцать лет назад — не замечал ее, и Евгения Егоровна полагала, что в ней просто бунтует оскорбленное самолюбие. Так прошло около месяца.

Заканчивался обеденный перерыв, и сотрудницы уже сидели на рабочих местах, слушая рассказ Анны Николаевны об очередной проказе ее любимицы, кошки Софьи Львовны. Анна Николаевна — одинокая пожилая женщина — считала свою кошку гением животного мира и могла говорить о ней без конца. А поскольку рассказывать она умела, слушали ее с удовольствием, прерывая лишь взрывами хохота. В момент очередного всплеска веселья вошел Игорь Антонович и, выслушав заключительную фразу рассказа Анны Николаевны, сказал:

— Это все ерунда. Вот я вам сам скажу про кошек. Кошки — они, знаете ли, очень разные бывают. Иной раз такая идиотка уродится... Хотя, конечно, — перебил сам себя Игорь Антонович, — для любого кошководельца его зверь — самый умный.

И уткнулся в бумаги.

А в отделе наступила гробовая тишина.

В этот вечер Евгения Егоровна не могла усидеть дома. Маленькая комната казалась ей душной коробкой, стены и потолок сдвинулись, стиснув пространство до размеров почтового ящика, — и Евгения Егоровна вышла на улицу. Она шла, не глядя по сторонам, и, кажется, ни о чем не думала — просто шагала, не видя уже занесенного снегом мира, желтых окон в черных плоскостях стен, проезжающих машин... людей, спешащих домой, к своим семьям и заботам... и, внезапно остановившись, сказала вслух:

— О господи, да ведь он просто непорядочен... и... и глуп!

Проходившая мимо женщина испуганно покосилась на Евгению Егоровну и прибавила шаг. А Женечка Минаева, сунув руку под пальто, нащупала кулон и, мгновенно решившись, вытащила его и открыла.

Все в той же «мечте номер восемнадцать» Евгения Егоровна и Андрей Федорович сидели, забыв о стоящем перед ними мороженом. До сегодняшнего дня Евгения Егоровна упорно уходила от разговора, но вот наконец Андрею Федоровичу удалось затащить бывшую одноклас-

сницу в кафе. Довольно долго она отделялась от вопросов незначительными фразами, но внезапно, словно переключившись наконец на настоящее, спросила:

— Скажи, Андрей, с тобой бывало такое, чтобы полностью изменилась оценка человека? Предположим, ты знаешь кого-то давно, и хорошо знаешь,— и вдруг ты видишь то, чего никогда прежде не замечал? И сразу все поступки этого человека приобретают для тебя другую окраску? Бывало?

Андрей Федорович помолчал немного, потом не спеша заговорил:

— Видишь ли, Женя... такое случается не так уж редко. Но не вдруг, ни с того ни с сего, а, как правило, после серьезных потрясений, когда поневоле пересматривается жизнь — своя и чужая. И меняются не только оценки.

— То есть?

— Например, мне известно несколько случаев, когда у людей, побывавших на грани жизни и смерти, появлялась острота внутреннего зрения, не доступная и не понятная им прежде. Но должен сказать, что таким людям жить становилось намного труднее. Слишком хорошо они постигали внутреннюю суть явлений, слишком прозрачными становились для них мотивы чужих поступков... Такой груз невыносим для души, и человек замыкается в себе, отстраняясь от внешнего, ранящего.

— И ты...

— У меня это возникло после перехода в прошлое. Как и у всех, кстати, кто побывал в нем.

— Так ты возвращался в прошлое? И что?..

— И как видишь, я здесь,— рассмеялся Андрей Федорович.— Сижу вот, мороженое глотаю.

— Может быть, виновата ваша машина?

— Нет, вряд ли причина в аппарате. Скорее в самой структуре времени, в глубинных его основаниях скрыто нечто, прикасаться к чему мы не вправе.

— Почему же ты не предупредил меня?

— А ты бы поверила?

— Пожалуй, нет. Но, Андрей... может быть, в прошлом просто скрывается опыт последующей жизни — мы ведь уже не те, что были в молодости? И структура времени ни при чем?

— Женя, уверяю тебя, если бы ты встретила этого человека в настоящем, не хлебнув прошлого,— ты не заметила бы ничего отталкивающего. А... ты не могла бы мне сказать, что именно заставило тебя вернуться?

— Могу сказать. Я увидела, что он самоуверен и глуп.

— Но ведь прежде ты расценивала его поступки иначе? Вспоминая, думая, ты за тридцать лет не сумела обнаружить этого? Отчего же тебе не помог опыт последующей жизни?

Евгения Егоровна пожала плечами.

— Не знаю,— сказала она.— Может быть, я всегда видела его глазами Жени, а не Евгении Егоровны?

— Возможно,— кивнул Андрей Федорович.— Но видишь ли, многие и многие даже в семьдесят лет видят все глазами... Женечки.

— Так ли это плохо?

— А это ни плохо ни хорошо. Это обыкновенно. Так уж устроены люди.

Долго они сидели молча, глядя на тающие шарики мороженого. Наконец Евгения Егоровна передернула плечами, словно ей внезапно стало холодно, и растерянно спросила:

— Что же мне теперь делать, Андрей?

Андрей Федорович ответил не сразу. Он зачем-то переставил вазочку, передвинул стакан с соком, посмотрел по сторонам, будто ища кого-то... и очень неуверенно произнес:

— А может быть, Женя, тебе попробовать выйти за меня замуж?..

Николай ИВАНОВ

АЛЬТЕРНАТИВА

Экран видеоманитофона вобрал в себя все зрительное пространство Анны. И это было только отчасти из-за его огромных размеров. Главное же — из-за того, что она сидела очень близко, буквально готовая наперекор здравому смыслу прорваться через стекло на ту самую лесную лужайку, где была снята включенная сейчас стереоозвученная лента. Звук был на предельной громкости, но Анна его уже не воспринимала. Глаза ее были красные, распухшие. На щеках — полосы от слез. Этими невидящими глазами она сверлила сейчас экран, механически перематывая назад и запуская вновь и вновь один и тот же кусок.

Постепенно интервалы от запуска до перемотки становились все короче, а отснятый документальный любительский сюжет все более и более ограничивался своим кульминационным эпизодом. Была в том эпизоде бегущая по высокой траве навстречу съемочной камере голубоглазая девочка трех-четырёх лет. Она неожиданно спотыкалась, падала, пропадала за стеной густой травы, а через некоторое время из той травы появлялось ее испуганно-вопросительное личико — в кудряшках и в пуху от одуванчиков.

В конце концов Анна зафиксировала кнопкой стоп-кадра этот последний момент, увеличила план. Ее собственная сгорбившаяся фигура в кресле при этом так же замерла, как и обращенное к ней лицо ребенка на экране...

Она не слышала ни как открылась входная дверь, ни как в комнату вошел Георгий, вставший позади нее, лицом к экрану. Она очнулась от

оцепенения только когда он положил ей на плечи руки. Ее реакцией был скользнувший вниз и упершийся в собственные колени взгляд. Руки ее непроизвольно поднялись, ладони же легли на глаза, как бы удерживая безумный, наполненный внутренним криком взгляд.

— Я сейчас из Центра генетических прогнозов,— собравшись с духом, начал Георгий.— Там, говорят, есть возможность...

— Возможность чего? Разыскать? — скороговоркой перебила Анна, в надежде оторвав руки от лица.

— Нет. Это, в общем-то, не то чтобы возможность... Скорее своего рода альтернатива.— Георгий осторожно убрал руки с ее плеч.

— Аль-тер-на-ти-ва... Ну что ж, давай, что они там предлагают.— Утратив только что блеснувшую в ее глазах надежду, Анна вновь спрятала лицо в ладони.

— Они говорят, что могут с помощью направленного сканирующего радиоизлучения интенсифицировать у... у нее развитие наследственной генетической программы, в первую очередь в отношении умственных способностей. Тогда она сможет самостоятельно что-то сделать. Попросту — сама отыщется.

— Значит, состарить ее...

— Никакой дисгармонии впоследствии не будет. Физическое и умственное развитие они берутся потом согласовать... Но конечно, вспять генетику потом не повернешь.

— И она в этом случае лишится самых... самых...— Анну душили слезы,— го-ди-ков... И их уж никогда не вернуть... Так ведь?

— Но это же лучше, чем потерять ее навсегда. И никогда не увидеть... больше! — Георгий развернулся на 180 градусов и оказался спиной как к креслу, так и к экрану.

— Все мужчины думают только о себе... Но ведь она будет без этого, как его там... в общем, нормально жить и развиваться, как все нормальные дети. Но... только у других людей, рядом с которыми она в итоге окажется. Они же ведь заменят ей...

— Кого заменят? — не дав ей закончить, перебил Георгий.— Мать? Отца? Сказки это. Ничего подобного не бывает никогда.

В наступившей паузе они оба застыли, словно в детской игре «Замри!», уйдя мысленно в самих себя. Только экран с изображением лица девочки еле заметно менял интенсивность свечения от длительного пользования в течение последних нескольких суток.

— Сколько лет... То есть на сколько лет надо ее... ну, это... — первой нарушила молчание Анна.

— Как минимум на пять.

— Пять лет! Пять лет!!!

— Только тогда она сможет осознанно, а значит, надежно сориентироваться в обстановке и разыскать нас либо наш старый дом. Либо как-то дать о себе знать. Без такого возрастного уровня в теперешних

условиях последствий этого ужасного бедствия — землетрясения, — когда у всех служб забот по горло... В ближайшее время ее специально искать не будет возможности, ну, обычными запросами и типа этого. А со временем подкорковую информацию уже не удастся сохранить и перевести в сознание. Она сейчас в каком-нибудь пункте по эвакуации, потом попадет в детский приемник, оттуда в детский дом. Вся эта информационная нагрузка для такого возраста очень велика...

— Ты точно выяснил, что она должна была остаться там жива?

— Точно, здесь не может быть сомнений. — Георгий вторично развернулся на 180 градусов, опять оказавшись лицом к экрану.

— Так как это делается, Георгий? В смысле — интенсифицировать генопрограмму, да? Поподробнее.

Анна откинулась в кресле, стала стирать со щек остатки слез.

— Вычисляют достаточно точно на основе наших с тобой анализов — крови и еще некоторых — структуры индивидуальных генов уже у нее. А потом определяют собственные частоты некоторых хромосомных наборов-комплексов и посылают в пространство модулированные этими частотами радиосигналы, к которым только у нее окажется восприимчивость. Как они говорят, избирательное резонансное поглощение. У них уже были опыты с положительными результатами.

— Понятно. Ну так как ты предлагаешь поступить в условиях такой, как ты сказал, альтернативы? Когда им нужен ответ?

— Завтра, Анна. — Он опять положил ей руки на плечи.

Две пары глаз впились в экран. А с экрана на них устремилась третья, такая им обоим нужная пара голубых, широко раскрытых, удивительных детских глаз.

Александр БИРЮК

КЛАД

Было уже за полночь, когда с Райкиным приключилась неприятность: ему в глаз попал кусочек штукатурки.

— А черт! — выругался он.

Поначалу Гриша, обдиравший противоположную стену, не придавал этой реплике значения и продолжал сыпать на пол куски почерневшей от времени штукатурки, пока не обратил внимания на то, что в углу, где работал Райкин, наступило странное затишье.

Гриша обернулся. Райкин стоял на табурете и, придерживаясь за стену рукой с зажатым в ней шпателем, пальцем ковырял в глазу.

— Что случилось? — спросил Гриша.

Райкин недоуменно пожал плечами:

— Дрянь какая-то в глаз попала, — растерянно ответил он.

— Прямой водичкой.

Но оказалось, что тереть или промывать глаз было бесполезно. Таким способом вытащить осколок было нельзя. Он впился в зрачок и не позволял Райкину моргнуть.

— В глазную скорую надо,— заключил Гриша после осмотра.— Там тебе помогут в две секунды.

— Скорая? — с надеждой спросил Райкин.— Где это?

Гриша разъяснил ему, как добраться до глазной скорой помощи, и выразил желание сопровождать приятеля. Однако Райкин отказался.

— Работай...— простонал он.— Времени терять нельзя.

Грише очень не хотелось оставаться в час ночи в большой пустой квартире, но поделаться ничего было нельзя, и, проводив Райкина на улицу, он продолжил прерванное занятие.

За неделю им предстояло произвести ремонт в трехкомнатной квартире, хозяева которой отправились куда-то на курорт, предоставив строителям свободу действий. Деньги предложили немалые, доплачивали за скорость, поэтому приходилось работать и по ночам. Любая задержка была некстати.

Гриша затушил окурок и подошел к стене.

Было так тихо, что слышен был гул взлетающего самолета в далеком аэропорту. Изредка с улицы доносился шум проезжающего автомобиля, а с моря — заунывный гудок маяка. Окно выходило во внутренний двор, и свет лампочки откуда-то из подъезда отражался в темных окнах противоположного дома.

Гриша вздохнул, присел на корточки и, потихоньку увеличивая темп работы, принялся сковыривать со стены куски старой штукатурки.

Так прошло минут двадцать, пока он не принялся за самый угол. Он отодвинул табурет, на котором до своего ранения стоял Райкин, и провел шпателем по стене.

Вдруг от этого прикосновения штукатурка отлетела вместе с большим куском камня, и в образовавшемся углублении Гриша заметил узкую щель.

Щель была наполовину забита раскрошившимся цементом, и, немного в ней поковырявшись, Гриша заметил бок кирпича, весь в трещинах, а над кирпичом — другую щель, более узкую и сверху почти незаметную. Гриша пригнулся к самому полу, чтобы получше разглядеть, что там находится, но свет от лампы в щель не проникал.

Гришу вдруг охватило возбуждение. Он десятки раз слышал про клады, вмурованные в стены старых домов. Надеясь неизвестно на что, Гриша схватил топор и принялся расширять отверстие.

Ночь больше не пугала его. Он забыл про страхи. Во рту пересохло, но ему и в голову не приходила мысль о том, чтобы хотя бы на секунду оторваться от своего занятия и напиться воды. Он работал как одержимый и вскоре добрался до кирпича, который при каждом ударе по нему

отзывался чистым звонким звуком, сомнений в происхождении которого не могло быть: за ним пустое пространство.

Перед тем как приняться за кирпич, Гриша машинально огляделся и посмотрел на часы. С того момента, как он обнаружил щель, прошло не более пятнадцати минут. Сердце его тревожно билось.

Он подумал, что не выдержит разочарования, если за кирпичом окажется банальная водопроводная труба или что-то вроде нее. За пятнадцать минут в его голову прочно въелась мысль о богатом кладе, который он должен обнаружить. На всякий случай Гриша прикинул, как распорядится найденными драгоценностями, и даже засомневался, стоит ли делиться с Райкиным?

Гриша решил так: если Райкин не успеет вернуться к тому моменту, как он заметет следы, то, пожалуй, знать о кладе ему необязательно.

Проклятый кирпич долго не поддавался. Гриша дрожащими руками бил по нему топором, тщетно пытаясь не очень шуметь. Несколько раз он выглядывал за окно, стремясь удостовериться в надежной толщине стены, и каждый раз убеждался в том, что кирпич не вывалится наружу. Было ясно, что за кирпичом скрывается вместительный тайник.

Наконец побежденный кирпич всхлипнул и исчез во внезапно открывшейся дыре. И тотчас Гриша увидел то, что он жаждал увидеть на протяжении всех последних минут.

Из темноты ясно выступали очертания верхней части металлического цилиндра величиной с пятикилограммовую банку из-под томатной пасты. Гриша побледнел от радости. Он схватил цилиндр, но увы! Дыра была слишком узкой, для того чтобы вытащить добычу наружу. Тогда Гриша принялся расширять отверстие, ежесекундно прислушиваясь, не возвращается ли Райкин.

Работа продвигалась медленно. Топор не был приспособлен для подобных дел. К тому же приходилось работать на короточках в самом углу, что не позволяло как следует размахнуться. Гриша схватил молоток, но от него толку было еще меньше. Руки дрожали. Гриша суетился, проклиная свою неловкость на чем свет стоит. Банка с запрятанными в ней сокровищами звала и манила и в такой же мере затрудняла работу. В мозгу неотступно крутились мысли о свалившемся богатстве, что сбивало с толку, мешало сосредоточиться.

И вот наступил момент, когда по всем расчетам банка должна была протиснуться в дыру. Скорчившись в неудобной позе, Гриша обхватил ее обеими руками, пытаясь извлечь на поверхность, но вдруг услышал в глубине дыры неясный шорох.

Он не обратил на него внимания, решив, что шумят падающие вниз куски битого кирпича, и тут почувствовал, как к его ладони, которую он не имел возможности видеть, что-то прикоснулось. В тот же момент его обожгло страшной болью.

Гриша тонко вскрикнул и выдернул руки из дыры. На левой ладони явственно обозначились следы острых зубов.

«Крыса!» — пронеслось у Гриши в голове.

И в самом деле большая коричневая крыса с широко раскрытой пастью и топорщившимися усами сидела на банке. Рядом промелькнула тень еще одной крысы, и тяжелая банка вздрогнула.

Гриша неуверенно выругался, схватил топор и ткнул им в крысу. Тотчас послышался скрежет зубов о металл, и топор рвануло с такой силой, что Гриша от неожиданности выпустил его из рук. Он не успел понять, что произошло: в следующий момент крыса кинулась ему прямо в лицо.

Защищаясь, Гриша выбросил вперед руку, и крысиные зубы впились в нее с такой яростью, что рука мгновенно окрасилась в алый цвет.

Гриша резко отдернул руку, и крыса шмякнулась о противоположную стену, но тут же снова бросилась в атаку. Не удержавшись, Гриша повалился на спину, но все же успел ударить крысу ногой. Животное вцепилось в ступню и повисло на ней, издавая злобное шипение.

Пока Гриша отбивался от этой крысы, еще одна накинулась на него сзади. Это было уже слишком. Он вскочил и тут заметил, что из дыры выпрыгивают огромные крысы и одна за другой устремляются к нему.

Гриша растерялся. Такого поворота событий он не предвидел. Волосы на голове зашевелились от ужаса, мгновенно мысли о сокровищах исчезли. Не успел он сделать и шага к отступлению, как крысы накинулись на него и с каким-то диким остервенением принялись кусать и царапать.

Не помня себя от боли, Гриша завертелся, пытаясь сбросить повисших тварей. В какой-то мере ему это удалось, и он вскочил на кухонный стол, одновременно выискивая взглядом какой-нибудь нож или палку.

Но крысы неотступно последовали за ним. Теперь их было уже несколько десятков. Не издавая ни единого звука, они гуртом запрыгивали на стол и набрасывались на несчастного человека.

Не обращая внимания на адскую боль во всем теле, Гриша содрал с себя самых настырных и, в панике перевернув стол, спрыгнул на пол. Крысами кишело все помещение. Он схватил с табуретки оставленный Райкиным шпатель и, полоснув им еще парочку нападавших, кинулся к туалету.

Дверь долго нельзя было прикрыть из-за вклинившихся в щель крыс, но, в конце концов выбив их ногами, он захлопнул задвижку и принялся разглядывать трящиеся руки, на которых не осталось живого места.

Руки были изорваны. Все тело болело от многочисленных укусов. Ноги распухли, горело ухо, крысы успели добраться и до шеи. Одежда была вымазана в крови. Где кровь была крысиная, а где своя — разобрать было нельзя.

Однако мысль о кладе не давала покоя.

Проклятье! Нужно немедленно прорваться к дыре и вытащить банку! Но как это сделать?

Шарканье шнырявших по кухне крыс постепенно стихло, и теперь только в противоположном ее конце, как раз в том месте, где была дыра, раздавались невнятные звуки.

Гриша прислушался. Звуки не утихали, крысы затеяли в дыре возню. Нужно было что-то предпринимать, иначе они кинутся на Райкина, который должен явиться с минуты на минуту, и тут уж ход событий предсказать будет сложно.

Для начала следовало защитить руки. Гриша вспомнил, что на окне возле дыры лежит пара строительных рукавиц. Это, конечно, слабая преграда для крысиных зубов, но сам факт, что отбиваться придется не голыми руками, придавал уверенности.

Гриша еще раз прислушался и рывком распахнул дверь.

Крыс на кухне не было. Валялось только несколько оскаленных трупов. В три прыжка Гриша пересек кухню, схватил рукавицы и, с опаской косясь на дыру, принялся их натягивать.

Через несколько секунд из дыры выскочила крыса с очевидным намерением вцепиться в ногу, но кладонскатель был наготове и, удачно попав в цель, разможил ей шпателем голову. Затем он нагнулся к дыре и увидел неприятную картину.

Банка, которая прежде так хорошо была видна, теперь наполовину исчезла в провале, и с каждой секундой, увлекаемая крысами вниз, исчезала все больше. Гриша, не раздумывая, погрузил руки в дыру и, не обращая внимания на укусы, несколько ослабленные перчатками, мертвой хваткой вцепился в металл.

В дыре зашумело, заскрежетало, раздался яростный писк. Но Гриша изловчился и дернул банку на себя. Материя на одной из перчаток треснула, и изувеченную ладонь снова пронзила дикая боль. Но, не обращая на это внимания, призвав на помощь всю свою волю и отчаянно извиваясь, он извлек банку на свет. Вслед за ней из дыры посыпались разъяренные крысы.

Руками обороняться Гриша не мог — они были заняты тяжелой ношей. Гриша согнулся, стараясь защитить шею и голову, но тут под ноги бросилась большая белая крыса, и он, потеряв равновесие, грохнулся на пол. В туалет он вполз на четвереньках, толкая банку перед собой. Крысы с непонятным остервенением кидались на него, а еще пуще — на банку. Они ни за что не хотели уступить ее человеку. Это сбивало с толку.

Зачем крысам банка?..

Свежеотремонтированный туалет был весь забрызган кровью и походил на камеру пыток. Гриша поднес к глазам руки, которые на руки мало были похожи. Крысиные зубы поработали над ними основательно.

Тем временем крысы, оставшиеся на кухне, упорно продолжали штурмовать дверь. Но Гришу это не напугало. Его мысли переключились на клад, и он встряхнул банку.

Она была так плотно набита, что ее содержимое при встряхивании не давало о себе знать ни единым звуком. Банка весила много, даже чересчур много. Это была старинная банка, и секунду спустя Гриша обнаружил выдавленную на ней дату — «1917» и инициалы. Было ясно, что в ней драгоценности — что же еще могли прятать от посторонних глаз в те ненадежные времена?

Гриша попытался открыть банку, но она была или наглухо запаяна, или очень туго завинчена. Гриша тряс банку, бил о пол, пытался сдвинуть предполагаемую крышку с мертвой точки, но сил его израненных рук для этого не хватало. Банка не поддавалась. Значит, требовалось изменить тактику — нужно сматываться отсюда как можно быстрее и дальше, а уж в более спокойной обстановке вскрыть ее.

Дверь, однако, трещала по всем швам. Боевой пыл Гриши несколько угас, и он со страхом понял, что дверь рано или поздно рухнет. Крысы рвались к нему, и теперь их было намного больше. Он ударил ногой по двери, но этот удар не замедлил темпа работы мерзких грызунов, которые не останавливались ни на секунду. Гриша завертел головой в поисках какого-либо орудия, но ничего подходящего не обнаружил. Шпатель остался в кухне. Спаси могло лишь маленькое окошко, в которое, если очень захотеть, можно было втиснуться. От окошка до плит двора было метров пять, и преодолеть их нужно было вниз головой, потому что иначе подступиться к окошку не было возможности.

Что было делать? Гриша несколько раз подбирался к окошку, но стоило ему только выглянуть наружу, как желание воспользоваться этим путем отхода сразу пропадало. Воспользоваться им мог только самоубийца. Далеко внизу под окошком светлели каменные плиты двора, и Гриша, приглядевшись, заметил, что они усеяны движущимися крысами, которые направлялись к дому и исчезали в темных провалах подвальных окон.

Откуда столько крыс? Казалось, шуршал и трещал весь дом. Шум раздавался у него под ногами и над головой. Гриша крепко прижал к себе банку, и тут его ушей достиг пронзительный женский визг, раздавшийся где-то в другом конце дома. За ним последовал еще один, затем еще, и Грише вдруг стало ясно, что в доме творится нечто ужасное. Один за другим на вымощенном дворе стали появляться яркие прямоугольники от освещенных окон, захлопали двери, со звоном вылетело разбитое стекло. Гриша подскочил к двери, не зная, на что решиться, но тут она с оглушительным треском развалилась, и ему под ноги хлынул поток противных мягких тел.

Гриша впрыгнул на унитаз, но банки из рук не выпустил.

Времени на раздумья не оставалось. Гриша швырнул банку в окошко и, чуть не разбив голову об острый выступ водопроводной трубы, выскользнул наружу.

Райкин вышел из поликлиники в приподнятом настроении. Глаз уже совсем не болел. Он остановил такси и удобно расположился рядом с водителем. Машина быстро двигалась по пустынным улицам, и Райкин задумался о своем.

Через некоторое время он услышал удивленный возглас водителя:

— Ну и зараза!

Машину кинуло в сторону, и водитель, крутнув руль, снова выругался.

Райкин сначала ничего не понял. Но, судорожно цепляясь за край сиденья, чтобы не свалиться на руки водителю, он заметил, что дорогу перебегают несколько кошек. Водитель притормозил, затем опять дал газ, и Райкин понял, что это не кошки. Это были крысы. Машина приближалась к освещенному яркими фонарями перекрестку, и Райкин увидел, что по тротуарам, неестественно выгибая блестящие спины, вприпрыжку несется множество зверьков, все в одном направлении.

— Гляди, что делается! — с каким-то удивленным восторгом воскликнул водитель.

Райкин во все глаза глядел на невиданную картину. Такого количества крыс одновременно он не видел никогда, их были сотни, если не тысячи. Из подворотни выскакивали еще и еще, машина, давя самых неосторожных, проехала целый квартал, а крысиный поток не иссякал.

— Наверняка будет какой-то катаклизм, — уверенно сказал водитель. — Что-то вроде землетрясения или наводнения. Иначе бы они не побежали.

Райкин много раз слышал о том, что животные реагируют на приближение землетрясения или прочие бедствия. Лет десять назад в городе было небольшое землетрясение, но убегающих крыс никто не видел. К тому же сейчас крысы двигались не из города, а наоборот — к его центру.

Машина свернула в переулочек, свободный от крыс, затем, сделав петлю по длинной автомагистрали, выехала на улицу, где находилась конечная точка поездки.

Райкин увидел, что возле двора, в который он должен был войти, собралась большая толпа. Это было несколько необычно для двух часов ночи, и Райкина охватили нехорошие предчувствия. Многие были в нижнем белье, и он всерьез подумал о внезапном землетрясении.

Как бы в ответ на его мысли толпа взволновалась, попятилась, выплеснулась на улицу, и люди стали разбегаться в разные стороны.

Из ворот вырвалось облако пыли, и Райкин понял, что во дворе что-то рухнуло. Он быстро сунул таксисту деньги и, выскочив из машины, остановился как вкопанный.

Из-под облака, окутавшего часть улицы, стал выползать как бы край темного ковра. Райкин понял, что это крысы. Они бросались на людей, кусали их, раздавались пронзительные крики. Часть толпы устремилась в его сторону, и Райкин, перепугавшись не на шутку, развернулся и побежал со всеми в обратную сторону.

Тут из соседнего двора навстречу ему выскочил человек, при виде которого Райкин оступился и чуть не грохнулся на тротуар. На появившейся фигуре не было лица в прямом смысле слова — сплошной синяк. Голова была в крови, одежда разорвана. Неизвестный крепко прижимал к себе большую банку, а следом за ним по пятам, словно стая миниатюрных гончих, неслась беспорядочная орава отвратительных созданий.

Незнакомец зацепил ногой мусорный бачок, опрокинул его, но равновесия не потерял и, отскочив от Райкина, кинулся наутек. Это был Гриша.

— Гриша! — крикнул Райкин, пускаясь вслед.

Гриша на бегу повернулся и, задыхаясь, заорал:

— За мной!!! — и припустил еще быстрее.

Райкин толком ничего не понял, но чувствовал, что произошло нечто из ряда вон выходящее.

Крысы отстали, окровавленная спина Гриши приблизилась. Он бежал, заметно прихрамывая, но не выпуская своей ноши из рук. Райкин был не лыком шит, он догадался, что в банке находится нечто такое, что во что бы то ни стало нужно унести и скрыть от посторонних глаз. Он понял, что Гриша нашел клад.

Сзади раздалось урчание мотора. Это было такси, на котором приехал Райкин. Гриша резко повернулся и закричал:

— Останови его!

Но таксист остановился сам.

— Вам помочь, ребята? — раздался из кабины его голос.

Райкин хотел было отказаться, но, заметив несущуюся на него крысиную массу, передумал. Он лихорадочно впихнул Гришу на заднее сиденье, забрался туда же сам и назвал первую пришедшую на ум улицу, находившуюся на другом конце города. Машина рванула с места, давя кинувшихся под колеса крыс, и через несколько секунд уже мчалась по освещенной городской автострате.

Водитель молчал. Гриша кинул банку под ноги и, поминутно оглядываясь, шумно вздыхал и ощупывал себя дрожащими руками.

— Что случилось? — тихо спросил Райкин, пригибаясь к Грише и пытаясь разглядеть его получше.

— Тс-с...— Гриша поморщился и указал заплывшими глазами на спину таксиста. Он размазывал по лицу сочившиеся из ран струйки крови, которые, несмотря на его старания, появлялись вновь и вновь.

Тут таксист подал голос:

— Ну и дела...— возбужденно проговорил он, попытавшись в зеркальце заднего обзора разглядеть Гришу.— Там во дворе дом рухнул. Потому что в него крыс набилось под самую завязку... Прямо нашествие какое-то! Никогда не было такого... Откуда столько крыс?

Грише не понравились эти неуместные разговоры, ему показалось, что таксист догадывается, что в банке не томатная паста.

— Так, папаша...— с угрозой в голосе проговорил Гриша.— Мы тебя не трогаем, так и ты занимайся своим делом!

Водитель замолчал и вел машину молча. Крыс не было видно. Улицы выглядели так, как в такой час и должны выглядеть. Светофоры желтыми огнями мигали на перекрестках, изредка проносились встречные машины. Но Райкин вдруг заметил, что нужный поворот они уже давно миновали.

— Куда мы едем? — с тревогой спросил он таксиста.— Ты правильно понял координаты?

Таксист промолчал. По отсутствующему выражению его лица было ясно, что он что-то замыслил. Машина свернула в сторону, выехала в темный сквозной переулок и резко затормозила.

Гриша схватил таксиста за плечо.

— В чем дело?! — выкрикнул он, но водитель сбросил его руку и вылез из машины.

— Выметайтесь! — тихо, но внятно сказал он, распахивая заднюю дверцу.— Жи-во!

Гриша оглянулся на Райкина, но в тот же миг был схвачен железной рукой за шиворот и выброшен из машины. Резкий удар в ухо лишил его ориентации. Он еще ничего не успел сообразить, как, оглушенный, повалился на кучу мусора.

Райкин выскочил из машины с другой стороны и кинулся на таксиста, но кулак встретил его не в самый удобный для обороны момент, и из глаз посыпались искры. Второй удар свалил его с ног, и пока Райкин барахтался, пытаясь подняться, взревел двигатель, и машина метнулась вдоль по переулку.

— Банка! — истерически закричал опомнившийся Гриша.— Райкин, лови его!

Райкин повернул тяжелую голову вслед исчезающей машине.

Резаный в последний раз ударил молотком по зубилу, и тяжелая крышка отлетела в сторону.

Хек склонился над банкой. Ему не терпелось.

Банка оказалась не банкой, а железной болванкой с выбитым по центру отверстием. Резаный запустил в него руку и извлек бумажный сверток.

— Что это? — удивленно спросил Хек.

Резаный развернул желтую хрупкую бумагу и увидел элегантную маленькую палочку с отверстиями. Это был музыкальный инструмент, что-то вроде флейты или дудочки.

Хек разочарованно дернул плечом и, в свою очередь пошарив в отверстие, достал кипу бумаг, свернутых в тугую трубку.

— Что за чертовщина? — сказал он, разворачивая листы и искоса поглядывая на флейту. — Скрипка какая-то?

— Пианино! — огрызнулся Резаный, кидая флейту на стол.

Оба налетчика были обескуражены в равной степени. Черт бы побрал этого таксиста! Он так цеплялся за эту банку, как будто в ней были бриллианты!

Резаный снова схватил флейту и принялся ее разглядывать. В тот же момент на ту же флейту из всех щелей чердака смотрели десятки горящих бусинок-глаз, и с каждой секундой их становилось все больше и больше. Но Резаный, как и Хек, об этих заинтересованных наблюдателях и не подозревал. Он размышлял о том, не сделали ли они ошибки, кончив того таксиста за двадцать рублей, найденных в его кармане, и за кусок деревяшки? Может быть, эта флейта на самом деле стоит больших денег, но если бы в банке обнаружилось золото или драгоценности, было бы гораздо лучше.

— Ну... что ты там вычитал? — раздраженно покосился он на Хека, который с удивлением на лице разглядывал ветхие листы с неразборчивым рукописным текстом.

— Бред сумасшедшего... — хихикнул Хек. — Послушай только: «Руководство по примъненію...»

Но продолжить он не успел. Из-под стола вынырнула большая ловкая крыса и, прыгнув на Резаного, больно укусила его за руку, в которой он держал флейту. Резаный вскрикнул и разжал пальцы.

И тут же из всех углов помещения и даже с потолка раздался неистовый шорох и треск, словно стала рушиться деревянная кровля. Весь чердак в мгновение ока заполнила масса противных скользких тел. Крысы набросились на перепуганных грабителей и, невзирая на упорное сопротивление, не отступали от людей до тех пор, пока одна из них, ухватив злополучную флейту, не оказалась далеко за пределами квартала и не скрылась в недрах огромной свалки, приткнувшейся к городу.

— Таксиста нашли, товарищ полковник! — доложил краснолицый майор, которому было поручено вести дело.

— Да? — обрадовался полковник. — Ну и как?

— Его обнаружили утром на пустыре в бессознательном состоянии,— ответил майор, теребя в руках папку с документами.— И доставили в больницу. Как только он пришел в себя, его допросили.

— Банка, банка при нем? — сделал нетерпеливое движение рукой полковник.

— Банки нет. Таксист во всем сознался и рассказал, что, когда укрылся в парке и попытался вскрыть банку, на него напали какие-то типы, ударили по голове. Больше он ничего не помнит. Нераскрытая банка исчезла вместе с ними.

— Ну что ж...— разочарованно протянул полковник.— Этим следом придется заняться особо. А что слышно от хозяев квартиры, где работали эти халтурщики?

— Я связался с курортом, где они отдыхают, и говорил с ними. Они поведали мне интересную историю...

Майор сделал попытку открыть папку, но полковник остановил его:

— Своими словами.

Майор пожал плечами.

— Дед хозяйки,— начал он,— был ученым по части биологии и до революции некоторое время проживал в Германии. Хозяйки в то время еще не было на свете, и потому об этих фактах она знает только понаслышке. Так вот, во время революции дед вернулся в Россию, в наш город, и как-то рассказал бабке, своей жене, что привез из Германии верный способ покончить с крысами, а также и с некоторой другой нечистью. Что он имел в виду, неизвестно, но он утверждал, что это средство страшнее любого оружия и что он займется его реализацией после прекращения неразберихи и установления в стране единого и окончательного правительства. Загадочное средство дед держал в банке, похожей по описаниям на ту, что нашли в стене пострадавшие. К банке он никого не подпускал и никому ее не показывал, очевидно спрятав подальше. Но через несколько дней после своего возвращения он был случайно подстрелен на улице во время беспорядков, вызванных вступлением в город Красной Армии, и скончался на месте. С тех пор банки никто не видел, не осталось также никаких его записей.

— Родители хозяйки живы? — спросил полковник.

— Нет,— ответил майор.— Их нет уже давно, ведь хозяйке-то без малого семьдесят!

— Дальше,— потребовал полковник.

— По этому вопросу все,— сказал майор.— Больше хозяйка ничего не знает. Впрочем, сегодня она вместе с мужем вечерним рейсом прилетает домой, так что будет возможность расспросить подробнее.

Полковник встал из-за стола и, заложив руки за спину, задумчиво подошел к окну.

— Ну и каково же ваше мнение обо всей этой истории? — осмелился поинтересоваться майор.

— На этот вопрос вам полнее ответят специалисты,— ответил полковник.— Крысиные миграции, свойства их поведения — это не по нашей части. Мне же пока интересно заглянуть в эту таинственную банку... Я и не склонен думать, что дело именно в ней, хотя когда-то в детстве слышал сказочку про крысолова из Хаммельна...

В этот момент зазвонил один из телефонов на столе.

Полковник взял трубку, долго слушал, что ему говорят с другого конца провода, и майор увидел, как он вдруг побледнел.

— Что случилось? — спросил майор, когда полковник медленно положил трубку на место.

— Случилось? — растерянно откликнулся полковник и как-то странно поглядел на майора.— Пожалуй...

Наступило тягостное молчание. Майор почувствовал недоброе.

— На пляжах города и в порту происходят массовые самоубийства,— наконец встряхнулся полковник.— Люди толпами прыгают в воду.

Майор решил, что ослышался. На шутку это не было похоже — это была бы дикая и глупая шутка. А полковник продолжал:

— И еще сообщили о том, что видели большую белую крысу, которая сидит на молу и играет на флейте...

Как один из многих ярких писателей фантастов-шестидесятников Анатолий Днепров возник — именно со всей неожиданностью и неотвратимостью возник — на пороге тогда только что созданной редакции научно-фантастической, приключенческой литературы и путешествий в издательстве «Молодая гвардия» весной 1959 года. Вместе с толстой рукописью научно-фантастических рассказов объемом примерно в сорок листов он принес нам, редакторам, массу блистательных, забавных и серьезных, порой курьезных анекдотов, баек, рассказов о науке и ученых, об их взлетах и падениях. В запасе же у самого Анатолия Петровича было немало интереснейших идей, о чем он впоследствии в книге «Пророки» скажет: «В «Технике — молодежи» я выступал в качестве научного обозревателя... часто за популярной статьей на эту же тему следовал рассказ или фантастический памфлет».

Писал он быстро и очень неровно. Все его рассказы отличались и привлекали самобытностью, сумасшедшинкой главной идеей, умением так построить сюжет, что читателю до конца не ясно, чем разрешится конфликт, а произведения его всегда остро конфликтны. Правда, в результате ли того, что автора буквально распирало от множества идей, или просто от того, что писал некоторые свои произведения наспех, они порой грешили и схематичностью, и неряшливостью стиля. Тем не менее в первый же сборник научно-фантастических произведений «Молодой гвардии» «Дорога в сто парсеков» (1959 г.) включены два больших рассказа А. Днепров — «Суэма» и «Крабы идут по острову». И одновременно готовилась к печати первая книга молодого писателя-фантаста А. Днепров «Уравнение Максвелла» — она и вышла... под прилавки магазинов в 1960 году. Так родился новый советский писатель-фантаст.

Анатолий Петрович Мицкевич, будущий А. Днепров, родился в 1919 году на Украине, на Днепре — отсюда и псевдоним писателя — и прожил жизнь неординарную, о которой сам он, к сожалению, рассказывал мало, может быть, потому, что права не имел: он был разведчиком. Во время Великой Отечественной войны работал против Роммеля в Африке, затем был в Италии. В кадрах кинохроники о подписании в Карлсхорсте акта о капитуляции фашистской Германии можно увидеть молодого, худощавого, светловолосого лейтенанта, склонившегося сзади к маршалу Жукову, — в нем легко узнать А. П. Мицкевича. Можно только сожалеть, что об этом периоде его жизни ничего не осталось ни написанного, ни рассказанного.

Затем Анатолий Петрович заканчивает МГУ, защищает кандидатскую диссертацию, работает в НИИ военного профиля. Но и здесь он не ищет спокойной жизни: в шестиде-

сятых годах в газете «Комсомольская правда» появилась сенсационная статья об открытии, связанном с действием полупроводников. Я, совершенно неграмотная в этой области, запомнила только, что кпд прибора, представленного в этой статье А. Мицкевичем, было больше единицы. Эта статья А. Мицкевича была тогда же раскритикована в пух и прах. И вскоре после этой неудачи он ушел из НИИ и стал научным обозревателем и зав. отделом фантастики в «Технике — молодежи». Но и на журналистском поприще А. Мицкевич проработал недолго: последние годы своей жизни (он умер в 1975 году) он работал в Институте экономики и международных отношений.

Все эти годы, с 1958 по 1975, А. Днепрова писал и печатался в издательствах «Молодая гвардия», «Знание», «Детская литература». В разные годы у него вышли авторские сборники «Уравнение Максвелла», «Мир, в котором я исчез», «Формула бессмертия», «Пурпурная мумия», романы «Голубое зарево» и «Глиняный бог».

Проблемы физики, кибернетики, биологии в самых различных их аспектах отражены в произведениях А. Днепрова. Причем, это не радужные мечты о будущем — это предупреждение человечеству, к чему могут привести великие научные открытия, попади они в нечистые, своекорыстные руки или в руки людей просто безответственных. «Молекулярная биология и исследование тончайших проявлений жизни на молекулярном уровне открыли перед наукой возможности в одинаковой степени неограниченные и ужасающие...» — вот что всю жизнь волновало, бесконечно тревожило писателя и заставляло его спешить сказать обо всем этом читателю.

И впервые представленные читателю в этом сборнике рассказы «Белая ворона» и «200 % свободы» тоже посвящены этой тревоге. Думаю, и сегодня они не оставят равнодушными читателя, хотя писались в шестидесятые годы.

Б. Ключева

БЕЛАЯ ВОРОНА

I

Вскоре после войны я работал рентгенологом в одной из клиник Москвы, а жил за городом в небольшом деревянном домике со своей шестилетней дочкой Ирой и бабушкой, матерью моей жены, погибшей в последние дни войны. От железнодорожной платформы до моего жилья нужно было идти полем около трех километров. Возвращаясь однажды поздно вечером, я заметил на тропинке два черных шевелящихся комочка. Мороз был крепкий, не менее тридцати пяти градусов.

Я осветил комки электрическим фонариком. Это были птицы, две обыкновенные вороны, которые, очевидно, были сбиты на землю порыв-

вом колючего морозного ветра. Когда я их поднял, они вострепнулись, хотели каркнуть, но из глоток, кроме свистящего шипения, ничего не вышло. У меня в кармане они замерзли совсем.

Дома я уложил ворон в игрушечную кроватку, где спала дочкина кукла, в надежде, что за ночь они отойдут.

Утром я обнаружил, что вороны все еще без признаков жизни продолжали лежать в кроватке и что возле них уже возилась Ира.

— Папа, почему они спят? — спросила она.

— Они, Ирочка, больные. Я вчера их подобрал в снегу.

— А они поправятся?

— Не знаю, сейчас посмотрим.

Я поднял птиц и сквозь жесткие перья нащупал то место, где у них находится сердце. Пальцы почувствовали легкое постукивание.

— Они поправятся. Ты их только хорошенько укрой и не трогай. Дай им попить теплой воды.

Через два дня обе вороны полностью пришли в себя и начали пытаться летать, что немало радовало Иру и пугало бабушку. А еще через два дня обе птицы уже орали во всю глотку, нахально летали по квартире и пожирали все, что попадалось им на глаза.

Моя Ирка была в восторге, а бабушка как-то вечером мне сказала:

— Выпусти ты их, пожалуйста. Не люблю я эту птицу.

— Почему? — спросил я.

— Уж очень каркают нехорошо. Сердце щемит.

Бабушка была суеверным человеком и делила всех птиц на «чистых» и «нечистых».

— Ладно, потеплеет, я их выпущу.

Наступила весна, и в одно из воскресений после долгих дипломатических переговоров с Ирой, во время которых я должен был заверить ее, что после очередной полочки куплю ей в магазине таких же птиц, только с красными и зелеными крыльями, мы решили отпустить наших ворон на волю.

Выдался чудесный солнечный день, и мы открыли окно. В комнату пахнул теплый весенний воздух, птицы сразу вострепнулись и рванулись в окно.

— Улетели,— пропела Ира и махнула ручонкой.

Однако вороны не улетели. Они покружились над домом, после уселись на крышу беседки против окна и, как бы что-то соображая, поглядывали то на голубое небо, то на нас. После этого они решительно снялись с крыши и влетели обратно в комнату.

Ира захлопала в ладошки.

— Господи боже мой! Да они не хотят,— сказала бабушка.

А вороны уселись в свое гнездо на моем книжном шкафу и что-то долго и упорно обсуждали на своем хриплом птичьем языке.

Они были совершенно ручные, и я снял их с гнезда и снова выбросил в окно. Однако они тут же возвратились обратно, укоризненно каркнув мне на лету.

— Неужели они будут здесь до самой моей смерти? — в ужасе шептала бабка.

— Ладно, что-нибудь придумаем. Пусть пока поживут. Они не улетают, потому что наступило время класть яйца. После мы унесем гнездо с яйцами, и они уйдут за ним.

В этот-то момент я и вспомнил про одну научную статью о генетическом влиянии рентгеновских лучей на животных.

«А что, если проверить это на воронах? — подумал я. — Сдохнут, ну и черт с ними. Бабушка перестанет нервничать».

Мною овладел дилетантский интерес к проблеме изменения наследственности. Я тут же смастерил клетку и на следующий же день увез обеих ворон в город, в свой рентгеновский кабинет.

II

Я облучал ворон два раза в день рентгеновскими лучами по три минуты. Это продолжалось до тех пор, пока я не заметил, что самка стала ленивой, неподвижной и все время гнездилась в углу клетки на ворохе сухой травы.

Я привез ворон домой и через пять дней на моем книжном шкафу обнаружил четыре сереньких яичка. Когда я к ним притрагивался, ворониха грозно кричала, норовя клюнуть меня в нос. Ворон, при этом каркая, носился вокруг.

— Господи, вот еще не хватало. Теперь весь дом заселит это воронье, — бабушка очень злилась, что-то про себя бормотала и старалась обходить книжный шкаф, на верхушке которого, присмирев, сидели обе птицы. Ирчонок регулярно, три раза в день ставила стул на стол и доставляла семье корм и воду в игрушечной посуде.

Через восемнадцать дней появились птенцы.

Я влез на стул и посмотрел на семью. Четыре сереньких, похожих друг на друга вороненка копошились в перьях матери. Они вытягивали длинные голые шеи и едва слышно шипели, открывая непомерно огромные рты. Ничего особенного в этих вороненках я не обнаружил. Мне только показалось, что один из них был несколько крупнее, чем все остальные.

Восторг Ирочки был неописуем. Она часами сидела на стуле, уставленном на столе, и смотрела на выводок. Ворониха позволяла моей дочке прикасаться к своим маленьким отпрыскам. Мне этого она не разрешала. Бабушку я успокоил, сказав:

— Неудобно их выбрасывать сейчас. Пусть подрастут, тогда.

Бабушка укоризненно покачала головой:

— Не принесут нам эти птицы счастья, вот увидишь.

— Мама, я проделал над птицами научный опыт и хочу посмотреть, что из этого выйдет.

Бабушкино пророчество стало сбываться дней через десять.

Я пришел с работы и застал дочку в слезах.

— Что такое?

— Умер. Один птеник умер,— прошептала Ира.

В гнезде сидела грустная мать, а поодаль не менее грустный отец. Два маленьких вороненка, изрядно почерневших, копошились в гнезде, а третий стоял в стороне на фанере. Он наклонил голову и смотрел... на крохотный трупик своего братца. В его стойке и в том, как он держал голову, было что-то странное. Я заметил, что он действительно был крупнее всех и, главное, совершенно белый. Он стоял неподвижно и с каким-то удивленным птичьим вниманием смотрел на мертвый растрепанный комочек у своих ног. Затем он глянул в мою сторону, и я чуть не вскрикнул, увидев его глаза. Они были огромными и круглыми, как у совы.

«Мутационный урод,— сразу решил я.— Результат воздействия рентгеновских лучей».

Через два дня умер еще один птенец, а на следующий день еще. Ира плакала дни напролет, бабушка втихомолку молилась богу, а меня пожирало любопытство, что будет с четвертым, с белым вороненком.

Удивительно, что после того, как издох последний черный вороненок, обе взрослые птицы стали вести себя так, как будто бы у них никого больше не осталось. Они не обращали никакого внимания на выжившего птенца, не кормили его, не следили за ним. Более того, они переместились на задвижку печной трубы и стали стаскивать туда всякий хлам, чтобы сделать новое гнездо. Белого птенца с огромными глазами они полностью оставили на попечение моей дочки.

А он стал расти буквально на глазах. Особенно разрастались его голова и глаза, которые он всегда таращил то на Ирочку, то на меня, то на бабушку. Когда ему исполнилось двадцать дней, он уже ел в два раза больше, чем его взрослые родители. У этой птицы были совершенно недоразвитые крылья, лапки были широкими, на коротеньких ножках, туловище не продолговатым, а круглым.

— Папа, он так любит сахар и конфеты,— как-то объявила мне Ира.— Он даже говорит, когда ему хочется сахара.

— Говорит? Как же он может говорить?

— А так: «И-кrrrr, и-кrrr». Я его все учу, учу, а он еще не может сказать правильно «сахар».

Я рассмеялся.

Очередные дела в клинике захлестнули меня, и я долго не обращал внимания на уродливую ворону. Тем более что мне никто об этом не напоминал. Даже бабушка как-то свыклась с тем, что у нас поселились

птицы — две взрослые, черные, и одна молодая уродливая, белая как снег. Я только замечал, что на черных ворон теперь ни Ира, ни бабушка не обращали никакого внимания. Зато они усердно ухаживали за белой птицей.

III

Белая ворона напомнила мне о своем существовании самым неожиданным образом.

Дело было вечером, когда вся наша семья собралась за столом пить чай. Я рассеянно крутил в стакане ложечку, вспоминая результаты сложного рентгеновского просвечивания одного больного.

Внезапно мой взгляд упал на пальцы Ирочки. Она бесцеремонно запускала их в банку с вареньем и затем отправляла прямо в рот.

— Перестань, что ты делаешь? — рассердился я.

— А я так хочу, — сказала она и снова полезла руками в банку.

Я взял ее маленькую ручонку и, хлопая по ней, стал приговаривать:

— Вот тебе, вот тебе за это.

Дочка захныкала, и в это самое время на мою руку вначале упал, а затем вцепился в нее острыми когтями огромный белый ком. От неожиданности я не мог даже пошевелиться.

— Не тронь! — услышал я хриплый, гортанный голос. — Не тронь ее! — зловеще прокаркала ворона.

Я в ужасе уставился на птицу. Собственно, теперь это уже была не птица, а какой-то огромный пуховой шар, с большими, как у человека, глазами, и широким ртом, кончавшимся вместо губ разросшимися вправо и влево костяными пластинками. Чудовище тарашило на меня глаза, из которых искрилась хищная злоба. По обе стороны глаз под зарослями мягкого пуха двигались какие-то желваки, как двигаются скулы у взволнованного человека.

— Не тронь, — повторило чудовище.

На мгновение мне показалось, что я сошел с ума.

Затем, оправившись, я тронул птицу второй рукой, пытаюсь ее согнать. При этом она так больно вцепилась в мою кисть, что я замыл.

— Будешь? — спросила она.

Я отрицательно покачал головой.

— Ага, ага, моя Светка за меня заступается! Светочка,пусти папу, он больше не будет, — радостно хлопая в ладоши, залепетала дочка.

Я почувствовал, как когти уродливой птицы разжались, и она, все еще не сводя с меня злых глаз, неуклюже прыгнула на стол и застыла перед моим лицом.

Заметив, что я не на шутку взволновался, Ира подошла ко мне.

— Папочка, не сердись, — заговорила она, глядя меня по голове, — она хорошая и умная-преумная.

— Это ты ее научила говорить? — спросил я, не сводя глаз с белой вороны.

— Это она научила меня говорить, — произнес урод, и его глаза изобразили что-то вроде человеческой улыбки.

Мне стало не по себе.

— Да, это я научила ее говорить все-все! — повторила Ира.

— А что она еще может делать? — спросил я механически.

— Она умеет читать книжки и декламировать стихи. Она только летать не умеет. Она прыгает. Правда, Светка?

— Правда, — ответила ворона.

— Умная птица, белая, — пропела бабушка. — Не то что те два идола.

Я рассеянно посмотрел на двух идолов, сидевших на печной задвижке. Нахохлившись, они с любопытством рассматривали все происходящее внизу. Затем я перевел взгляд на белую ворону. Она была круглой как шар. Туловище как-то слилось с головой, из-под него торчали толстые желтоватые лапы.

Разглядывая диковинную птицу, я медленно растирал расцарапанную до крови руку. Ворона вдруг раскрыла рот и спросила:

— Больно?

— Да, больно, а что?

— Нужно помазать йодом. Нужно позвать доктора.

— Видишь, какая она умная. Она все знает, — выкликнула Ира, с восхищением любуясь своей воспитанницей.

— Совсем как живой человек, — промурлыкала бабушка.

— Черт возьми, она у меня умнее, чем попугай! — воскликнул я.

— При чем тут попугай? — вдруг возразила ворона. — Попугай только повторяет, но ничего не соображает.

Как ошпаренный кипятком, я вскочил со стула. В этот момент моя последняя надежда рухнула.

— А ты разве соображаешь?

— Конечно, я все соображаю. Я даже знаю, как тебя звать.

— Вот видишь, какая она, моя Светка. Совсем как взрослая, закричала дочка.

— Как же меня звать? — нерешительно спросил я.

— Папа, — ответила ворона очень отчетливо.

Я остолбенел. Не потому, что она произнесла это слово, а потому, что в нем я усмотрел тревожный и роковой смысл. Ведь это я и никто иной виноват в том, что на свет появилось это уродливое существо.

Пока я молча смотрел на уродливую птицу, Ирочка достала из своего шкафчика большую книжку с картинками и стала спрашивать:

— Светка, кто это?

— Корова.

— А это?

— Лошадь.

— А это?

— Курица.

Ворона назвала все, что было изображено на картинках, без ошибки.

Во второй книжке она прочитала какие-то стихи. Да, именно прочитала по слогам, как читает их моя Ира. К концу вечера между ней и Иркой завязалась оживленная беседа, а я смотрел на них и думал, думал до боли в голове, стараясь себя убедить, что эта белая ворона — не мыслящее существо, а что-нибудь вроде талантливого, пусть даже феноменального, но все же попугая.

В этот вечер произошло еще одно событие, о котором следует сказать.

Когда Ирчонок зачем-то выбежала в соседнюю комнату, а я встал из-за стола, чтобы немного успокоиться и привести свои мысли в порядок, в это самое время с печной задвижки сорвались обе старые вороны, набросились на белого уroda и стали его клевать.

Он, совершенно беззащитный, запрыгал по столу и закричал:

— Спаси меня, спаси, Ирочка! Они меня бьют!

Я подскочил к столу и изо всех сил ударил одну из черных ворон кулаком.

Они мгновенно взвились вверх и, шумно покружив по комнате, водворились на свое гнездо.

— Спасибо,— произнесла белая ворона.

— Не стоит...— ответил я и почувствовал себя очень глупо.

Я снова уселся против нее, а она, неуклюже подойдя к краю стола, вдруг скатилась мне прямо на колени.

— Ты хороший,— произнесла птица.

Сдерживая дыхание, я слегка ее погладил. Урод потоптался у меня на коленях и плотно прижался к моей груди. Я почувствовал, как быстро и сильно стучит его маленькое сердце. Почему-то у меня в горле появился комок, который я никак не мог проглотить.

IV

— Я совершил ужасное преступление,— взволнованно говорил я своему товарищу по работе, психиатру Андрею Николаевичу Антонову.

— Ну-ка, ну-ка. Не волнуйтесь. У вас ужасный вид.

— Не успокаивайте меня, то, что произошло, кошмарно. Я теперь навсегда потерял покой. Я виноват в появлении на свет мыслящего существа.

— Ого! — произнес Андрей Николаевич и широко улыбнулся.— Поздравляю. Вам действительно пора жениться. Вот и повод хорош...

— Да нет же, нет! — воскликнул я. — Это не человеческое существо.

Психиатр нахмурился и посмотрел на меня исподлобья.

В течение получаса я сбивчиво рассказывал ему о том, как нашел замерзших ворон, как проделал над ними эксперимент по рентгеновскому облучению и как на свет появилась белая ворона.

— Понимаете, я не могу себе представить, что это только попугай. Ведь она же рассуждает, рассуждает, как человек, во всяком случае, не хуже моей Ирки. Она знает буквально все, что знает моя дочка. Кроме того, у нее совсем человеческие чувства. Она может злиться, веселиться, быть нежной, ласковой. А выглядит она как футбольный мяч, обклеенный пухом. Понимаете, какой ужас! Это почти голова профессора Дууэля, только вполне самостоятельная, на ногах, она может перемещаться...

Психиатр задумался. После, как бы рассуждая вслух, он заговорил:

— Вообще говоря, возможности радиационной генетики колоссальны. Если верить, что способность к развитию большого мозга заложена в химической структуре хромосомного вещества, то я не вижу оснований, почему при помощи мутационных воздействий нельзя перестроить хромосомы любого животного так, чтобы у его потомства развивался большой мозг...

— Что вы хотите этим сказать? — удивился я.

— А то, что наследственные признаки живого организма можно регулировать.

Подумав немного, он добавил:

— Знаете, я должен посмотреть на вашу белую ворону. Обязательно посмотреть, так сказать, профессиональными глазами.

В электричке, по дороге ко мне домой, Антонов рассказал мне о новых работах по радиационной и химической генетике.

— Для сельского хозяйства и животноводства здесь необозримые возможности. Воздействуя на наследственные органы животных, можно добиться выведения совершенно новых пород.

— А если свиньи, или кролики, или коровы научатся говорить человечески? — спросил я мрачно. — Что тогда? Вы тоже будете есть их мясо?

Антонов поморщился.

— Это невероятно. Это практически невероятно.

— Боюсь, эта искусственная генетика приведет к тому, что придется серьезно заняться уточнением, кого следует считать человеком и кого животным.

По пути до самого дома мы молчали.

Открывая калитку, я удивился, что Ирчонок меня не встречает, как обычно. Я почему-то встревожился и, пропуская впереди себя Андрея Николаевича, быстро вошел в дом. Навстречу нам появилась бабушка, вся в слезах.

— Что случилось Где Ирочка? — заволновался я.

Вместо ответа она заголосила:

— Говорила я тебе, что от этих птиц добра не будет. Так оно и стало...

— Да что здесь произошло? Где Светка?

— Иди смотри, что эти дьяволы наделали.

Я и Антонов вбежали в соседнюю комнату. Ирочка лежала на кровати с мокрой тряпкой на голове.

— Что с тобой? — воскликнул я, подбегая к дочке.

— Они, они... Моя Светка... Мою Светку... Они клевали и меня...

Она зарыдала, захлебываясь слезами.

В этот момент в комнату вошла бабушка и протянула нам фанеру, на которой лежало огромное окровавленное тело белой вороны.

— Это все вон те, черные. Они и Ирку клевали. Посмотри на ее личико.

— Я ее так защищала...— прошептала Ира и снова забилась в истерику.

— Когда мы стали гонять этих черных и наконец вытурили их, Светка была еще жива. Перед смертью она сказала: «Поднеси меня к Ирочке». Я ее поднесла вот так, на фанерке, а она, прямо как человек, как заплачет... Затрепыхалась, хотела сползти вниз и умерла...

Антонов тронул меня за плечо и шепотом сказал:

— Не нужно об этом говорить. Давайте выйдем, пусть девочка успокоится.

Мы вышли в сад. Сгущались сумерки. У меня на душе было очень тяжело, как будто умер близкий человек. Я вздрогнул, услышав вдруг над головой знакомое «Каррррр». Совсем низко пронеслись две вороны.

— Ах вы, проклятые,— завопил я, схватил палку и запустил ее в кружившихся надо мной птиц.

Они поднялись высоко, сделали над нашей дачей еще круг и, торжествующе каркая, одна за другой скрылись за соснами.

200 % СВОБОДЫ

I

— Мама, расскажи мне еще раз, как это было.

— Я тебе об этом говорила много раз, мой мальчик. Мне, признаться, эта история надоела. Да и не очень-то приятно...

— Но ведь об этом нужно говорить!

На слове «нужно» Леонор сделал сильное ударение.

— Почему нужно, мой милый?

— Потому что этого никто не понимает! Пока человек что-нибудь не поймет, ему нужно рассказывать одно и то же без конца.

Мать горько улынулась. Она поднялась с дивана и подошла к письменному столу, на котором стояла фотография, заведенная в траурную рамку.

— Ну ты знаешь начало,— начала она, стирая рукой с фотографии пыль.— Я и Фридрих совершали свадебное путешествие. Фридрих всегда любил Восток.

— Фридрих — мой отец?

Мать подняла удивленные глаза на Леонора.

— Ну конечно! Я не понимаю, почему ты спрашиваешь. Портрет отца всегда стоит перед твоими глазами.

Леонор кивнул головой, бросив мимолетный взгляд на фотографию человека в траурной рамке.

— Итак, вы совершали свадебное путешествие. Сколько тебе было тогда лет?

Мать посмотрела на сына с укоризной.

— Неужели ты не соображаешь?

— Соображаю. Но говорят, что женщины часто скрывают свои годы.

Мать подошла к Леонору и нежно обняла его за плечи. Затем, наклонившись к самому уху, она шепотом сказала:

— Мне было, Леонор, всего двадцать лет...

Сын порывисто поднялся с дивана.

— Итак,— сказал он,— вы приехали в Нагасаки девятого августа 1945 года.

— Да.

— Что было дальше?

Мать несколько раз прошлась по комнате, обхватив голову руками. Ей не очень хотелось вспоминать прошлое. Но, взглянув на пытливые глаза Леонора, она остановилась прямо перед ним и произнесла как можно спокойнее:

— Мы приехали в Нагасаки очень рано. Если бы не характер Фридриха, который все делал порывисто и необдуманно, мы бы задержались в Йокогаме. Но ему не терпелось в Нагасаки. Он мечтал посмотреть там, в музее, какой-то камень с древними иероглифами. И еще он хотел показать мне аллею вишневых деревьев, которые, конечно, в августе не цветут... Ах, почему я согласилась!

— Почему? — настойчиво спросил Леонор.

— Не знаю... После Йокогамы у меня было такое чувство, будто я обязательно буду иметь сына.

— Так. Что было дальше?

— Я стала вдруг какая-то безвольная и подчинялась Фридриху во всем.

— Почему?

Мать подошла к сыну и села рядом с ним. На ее глазах блеснули слезы, хотя она и пыталась улыбнуться.

— Когда ты будешь большой, мой мальчик, и у тебя будет жена, тогда ты все поймешь. Почему ты постоянно терзаешь меня этими вопросами?

— Потому что мне многое непонятно. Я, например, не понимаю, почему погиб мой отец.

— Стечение обстоятельств, Леонор. Судьба.

Мальчик пристально посмотрел на свою мать. Его лицо было бледным и равнодушным.

— Че-пу-ха,— сказал он по слогам.— Глупость!

Мать испуганно попятилась к столу, на котором стояла фотография мужа. Она схватила портрет и прижала к груди.

— Леонор, перестань! Ты не имеешь права так говорить. Судьба есть судьба. Ты никогда не можешь сказать, что будет в будущем, что будет даже через пять минут... Ты...

Леонор как-то странно присел на корточки, развел руки и искусственно засмеялся. Смеялся он одними губами, как бы подражая какому-то артисту-комику.

— Я могу тебе сказать, что будет через пять минут, через полчаса, через час, через сутки, через десять дней, через год. А вы, вы не могли предвидеть, что будет через день! После Хиросимы вы не могли сообщить, что следующая бомба упадет на Нагасаки! Ха! Вот уж действительно людская проницательность!

— Леонор! Не смей так говорить! — воскликнула женщина и схватила сына за руки.

Леонор сжал губы. Прошло несколько минут молчания. Затем он тихо, но настойчиво спросил:

— Итак. Что же было дальше?

— Мы остановились в небольшой уютной гостинице на окраине города. Мы немного устали с дороги и прилегли отдохнуть. Шторы в номере были задернуты, и сквозь них пробивался утренний свет, окрашивая комнату в мягкие оранжевые тона. Было очень тихо, и на мгновение мне показалось, что никакой войны в мире нет. Ты себе не представляешь, как мне было приятно. Фридрих, твой отец, вытянулся на диване и сладко дремал. Я чувствовала, как ему приятно после утомительного путешествия из Йокогамы. И тогда что-то сверхъестественное толкнуло меня, тронуло, подняло с постели, и я помимо своей воли подошла к твоему отцу. Я очень его любила, Леонор, очень... Помню, он открыл глаза и посмотрел на меня с удивлением. «В чем дело, Анна?» — «Я хочу тебе что-то сказать. А ты не испугаешься?» — «Раз я не испугался Гитлера...» — «О, забудь Гитлера. Я хочу тебе сказать, что у нас будет сын». После все произошло так, будто изверглись все японские вулканы. Отец вскочил на ноги и вихрем вылетел из комнаты. Я знала, куда он

побежал. Я приоткрыла штору и посмотрела вниз на улицу. Он бежал как сумасшедший, не оглядываясь, к центру города. Я знала, что через несколько минут в нашей комнате будет королевский пир. Я улеглась и, закрыв глаза, стала ждать. Как было сладко ждать, Леонор! После я услышала слабый вой сирены. Ну, конечно, это очередной налет разведывательных самолетов. Не так уж и страшно. Я просто повернулась на другой бок и стала смотреть на кремовую штору, закрывающую окно. Она колыбалась от слабого ветра. Затем стало очень тихо. Сирена умолкла. И вдруг...

— Да. И вдруг? — спросил Леонор.

— И вдруг раздался оглушительный взрыв. Нет, не взрыв. Это был какой-то рев, вопль, как будто сама Земля закричала от невыносимой боли. И вспышка света. О, ты себе не представляешь, что это была за вспышка. Миллион молний одновременно, сто солнц, миллиард лун. Комната, где я находилась, вдруг показалась слишком крохотной, чтобы вместить в себя столько света. Как в кошмарном сне, на моих глазах кремовая шелковая штора превратилась в коричневую, затем в черную и рассыпалась на кроваво-красные тлеющие куски... Комната наполнилась гарью, запахом жженого тряпья, а после этого...

— Что было после этого? — с тем же безжалостным любопытством допытывался Леонор.

— После этого тугая масса горячего воздуха прижала меня к стене. Окна были сорваны с петель и унесены вихрем куда-то на улицу, все здание гостиницы закачалось, присело, потолок рухнул... Я не помню, что было дальше. Только много времени спустя человек в белом халате, кажется японский врач, по-английски расспрашивал меня, кто я и откуда. Это было, по-моему, в открытом поле. На горизонте синели горы, и еще я помню, как кто-то рядом стонал. «Что случилось?» — спросила я. «Американцы сбросили вторую атомную бомбу». До этого я в атомные бомбы почему-то не верила. Тогда я спросила, где Фридрих. «Кто это?» — спросил японец. «Мой муж. Он ушел в город за покупками...» Восточные люди странно улыбаются. Мы, европейцы, скорее чувствуем, чем видим их улыбку... Так было и тогда с этим японским доктором. Он улыбнулся. Наверное, чтобы подбодрить меня. «Смотрите, какая сила. До чего доходит человеческий разум. Вы из Германии?» Он приподнял меня, и я увидела, что нахожусь на вершине зеленого холма, а внизу зияет черная обгоревшая яма. В ней возвышались уродливые стены, закопченные изгороди, виднелись составы искалеченных железнодорожных вагонов. Почему-то мне запомнилась огромная площадь, на которой торчало множество черных дымящихся столбов. «Это был городской парк, — как бы догадавшись, пояснил японец. — Правда, могучая сила — атом?» — «Что все это значит?» — спросила я. «Это? Недавно там, внизу, был город. Назывался он Нагасаки. И вот...»

Анна еще несколько секунд шевелила губами, но ее голоса уже не было слышно. Леонор подошел к окну и задумчиво произнес:

— Любопытно, черт возьми. Очень любопытно.

— Леонор, что ты говоришь! — в ужасе воскликнула мать. — Там погиб твой отец!

— Это понятно. В этом нет ничего удивительного. Мне не понятно, почему он покинул гостиницу, когда было совершенно очевидно, что бомбу сбросят именно на Нагасаки.

— Ты с ума сошел, Леонор. Ты говоришь об этом таким равнодушным голосом. Тебе никогда этого не понять!

Мальчик пожал плечами.

— Я не понимаю, почему ты злишься. Конечно, отец поступил неразумно, оставив тебя одну. Отпраздновать торжество вы могли бы и после взрыва, в безопасности. В Нагасаки вам вообще не нужно было бы ехать. Скажу тебе прямо, мама, странные вы люди. И отец был странным...

— Что значит — странным? — в ужасе прошептала Анна.

— Как тебе сказать... Можно было легко вычислить вероятность того, что вторую атомную бомбу сбросят именно на Нагасаки. Ведь не даром бомбу сбросили именно на него. Как можно было не предусмотреть это событие? Вы, люди, не понимаете одного: если что-то происходит, то так и должно быть. Почему вы никогда не пытаетесь рассчитать свое будущее? Или, может быть, вы не можете?

Мать поднялась во весь рост и подошла к сыну.

— Милый, что ты говоришь? И как ты говоришь?

— Что?

— Ты сказал: «Вы, люди...»

— Да, я так сказал.

— Но ведь...

— А, понимаю. Я имел в виду людей, которые бессильны анализировать события, от которых зависит их жизнь... Если бы отец и ты перед отъездом из Йокогамы подумали хоть капельку, ничего такого не случилось бы. Вы бы никогда не поехали в Нагасаки, потому что этот город был обречен так же, как и Хиросима.

— Но мы ничего не знали!

— О, но это так было легко сообразить. Достаточно было взять карту Японии и карту расположения американских авиационных баз, напечатанную во всех газетах. Судьба Нагасаки вычислялась просто, как по таблице умножения. Я уверен, что большинство людей терпят несчастье из-за своей интеллектуальной недостаточности.

— Леонор! Не смей так говорить!

Леонор посмотрел на мать удивленно.

— А разве я что-нибудь плохое сказал?

— Ты, ты... Разве можно говорить, что у твоего отца...

— Интеллектуальная недостаточность? Неспособность к строгому анализу? А что здесь такого?

— Замолчи! Ты бездушное, холодное существо. Всякий раз, когда я рассказываю тебе о тех страшных днях, ты начинаешь меня мучить. Зачем? Почему?

Анна упала на диван и спрятала лицо в подушку. Леонор некоторое время с интересом смотрел на свою мать, после, вздохнув, произнес про себя:

— Этого я не понимаю. Просто не понимаю.

II

Через неделю Леонора принимал директор гимназии господин Штиммер. Мальчик стал перед письменным столом и смотрел на директора своими голубыми пытливыми глазами. Генрих Штиммер провел рукой по совершенно седой голове и ласково улыбнулся, по-видимому ожидая ответной улыбки.

— Удивительный случай, Леонор. Такого в нашей гимназии никогда не было,— начал директор.

— И никогда не будет,— прервал его юноша.

— Что?

— Того, о чем вы собираетесь мне сообщить.

Штиммер зябко поежился в своем кресле. Он всегда чувствовал себя неловко в обществе этого странного гимназиста. Ему всегда казалось, что тот наделен удивительной, дьявольской проницательностью.

— Тебя кто-нибудь предупредил?

— Нет. На эту беседу я рассчитывал давным-давно. Фактически по данному поводу вы должны были вызвать меня по крайней мере месяц назад.

Штиммер вскочил на ноги.

— Ты подслушивал? Подсматривал в щелку?

Леонор слабо улыбнулся.

— Нет. В этом не было никакой необходимости. Во-первых, делать мне в гимназии нечего. Вы, так же как и я, хорошо знаете, что курс наук по программе я изучил еще два года назад и сейчас делаю на уроках все, что мне заблагорассудится. По существу, за эти годы я разделался с университетским курсом математики и физики. Во-вторых, мое присутствие в вашем учебном заведении очень усложняет положение преподавателей. И в-третьих, этот американец, Стенли Коллар, атакует вас уже полгода, чтобы вы отдали меня ему. Кстати, он подходил со своими предложениями несколько раз и ко мне. Я знаю, что, если я соглашусь работать у них, вы выдадите мне аттестат без сдачи экзаменов.

По мере того как Леонор говорил, директор гимназии все глубже и глубже забивался в угол кресла. Его взгляд беспокойно бегал по

сторонам. Мальчишка точь-в-точь повторял его собственные мысли. Он был не в состоянии ему ничего возразить. Он только спросил:

— Ты согласен, Леонор?

— У меня нет другого выбора.

— То есть?

— Зачем вы спрашиваете? Вы ведь знаете, что мы с матерью одиночки.

— Но это связано с поездкой в другую страну.

— Я знаю. Если я им нужен, они повезут меня за свой счет.

— Да, конечно,— оживился Штиммер.— Условия труда прекрасные. Оплата очень высока. Работа чрезвычайно интересная.

Лицо юноши не выражало ровным счетом ничего. Он, казалось, весь ушел в себя, думая свои собственные думы.

— ... И я понимаю, Леонор, как тяжело привыкать к новой обстановке и особенно к чужим людям! — патетически воскликнул директор.

— Что вы сказали? — как бы проснувшись, спросил Леонор.

— Я говорю, на первых порах тебе будет трудно привыкнуть к другой обстановке и к другим людям. Человек вдали от родины...

— У человека родина — Земля,— сказал Леонор.

— Ну а друзья, товарищи?

— Эти дурачки из нашего класса?

Штиммер вскочил на ноги.

— Вы забываетесь, господин Гейнтц! Не воображайте, что вы необыкновенная личность! Я-то знаю, что ваша гениальность напускная! У вас нет никакой скромности!

Леонор пожал плечами и повернулся к директору спиной.

— Стойте! Вы не смеете так уходить!

— Мне больше здесь делать нечего.

— То есть...

Глаза старика Штиммера выкатывались из орбит. Повернувшись, Леонор насмешливо заметил:

— Станный вы человек, господин Штиммер. Вы меня вызвали для того, чтобы уговорить принять предложение американца. Теперь, когда мы поняли друг друга, вы почему-то злитесь. Где здесь логика?

— Какая логика! Как вы смеете со мной так разговаривать! Вы, вы...

Леонор посмотрел на директора гимназии, как на диковинный экспонат в музее.

Затем он сделал несколько шагов к двери и произнес:

— Скажите господину Коллару, что я согласен ехать куда угодно и когда угодно.

Во дворе его окружили одноклассники.

— Ну как, гений, зачем он тебя вызывал?

— Я уезжаю в Америку,— нисколько не смутившись своего прозвища, ответил Леонор.

— Да ты и впрямь представляешь какую-то ценность для этих янки. Говорят, они никогда деньги зря не тратят.

— Конечно. Я постараюсь продаться как можно выгоднее,— заметил Леонор без тени смущения.

— Не очень-то хорошо звучит — «продаться», а?

— В вашем мире вообще ничто хорошо не звучит. Но уж если он так глупо устроен, то ничего не поделаешь.

— Почему ты говоришь «в вашем мире», Леонор? Он такой же наш, как и твой.

Юноша на секунду задумался, внимательно осматривая собравшихся вокруг него товарищей.

— И все же этот мир ваш, а не мой. Все вы миритесь с его невероятно дикими и глупыми порядками. А я нет. Но я ничего один не могу поделать.

— А как бы ты преобразовал этот мир, Леонор?

Тот пожал плечами и ничего не ответил. Отойдя от толпы ребят несколько шагов, он вдруг повернулся и крикнул:

— Никогда не читайте газет. Не верьте ни одному слову наших политических деятелей. Они глупы и тщеславны. Старайтесь глубже понимать законы природы и законы человеческого общества. В самом захудалом учебнике по математической экономике больше смысла и пользы, чем в сотнях томов, написанных словоохотливыми дураками, которые проектируют земной рай, построенный из бестелесных идей и остроумных изречений. Помните закон сохранения материи. Если, ничего не создав, вы что-то для себя получили, значит, вы украли. Не забывайте и закон сохранения энергии. Если вам что-то досталось без затраты труда, значит, где-то на вас работает раб. Никогда не забывайте подводить строгий баланс человеческого счастья и несчастья. Научитесь его измерять, и тогда все станет понятным.

Леонор прекрасно осознавал, что говорил он все это впустую. Его считали заучившимся чудачком, помешанным на строгих формулировках и заумных задачах. Но он иначе не мог. Его душа, если только она у него и была, не допускала никаких компромиссов между истиной и ложью, между глупостью и разумом. Всюду, в живой и мертвой природе, он видел только строгие законы, а люди, к его удивлению, только тем и занимались, что изо дня в день пытались идти наперекор этим законам, при этом совершенно не осознавая свою обреченность. Для того чтобы оправдать неприспособленность жить в сложном мире причинных связей и количественных соотношений, люди придумали мир эмоций, который, попросту говоря, представлялся ему отвратительным, почему-то ненаказуемым кликушеством. Он откровенно мечтал удрать из своего города, уйти от своих тупых однокашников, зажить другой жизнью среди людей, которые, если судить по их именам и опубликованным научным работам, думали и действовали в полном соответствии

с логикой и разумом. Леонор жаждал поехать в Америку и работать в одном из крупнейших теоретических центров страны. Гарри Кембелл, Эдвард Геллер, Джон Стробери и другие ученые с мировым именем должны наконец сменить компанию умничающих бургеров, которые после восхваления гения Ньютона и Вейерштрасса уходили в ближайший бар и травили свой мозг шнапсом.

«Уродство! Какое умопомрачительное уродство!» — думал про себя Леонор.

Он уж хотел было выйти из ворот школьного двора, как вдруг его кто-то окликнул по имени. Он остановился и осмотрелся по сторонам. Справа и слева от ворот росли высокие кустарники. Затейливая металлическая решетка отгораживала двор от Гейне-штрассе.

— Леонор, Л-у...

Это был голос девушки.

— Кто меня зовет? Если я кому-нибудь нужен, зачем прятаться?

В нескольких шагах от него кусты зашевелились, и в них появилась фигура девушки. Несколько секунд она оправляла платье, а затем виновато посмотрела на Леонора.

— Это вы меня звали? — спросил он.

Она кивнула головой.

— Зачем я вам нужен? Кто вы такая?

Она сделала несколько нерешительных шагов к нему.

— Я... Мы учимся в одном классе...

— Вот как. А я вас что-то не помню.

— Мой стол слева от вашего. Меня звать Эльза. Эльза Кегль.

Леонор сделал вид, что смутился.

— Право, не помню.

Высокая стройная девушка, с красивыми, разбросанными во все стороны золотистыми волосами решительно подошла к нему и стала напротив.

— Значит, вы меня не помните? — спросила она.

— Нет, не помню.

— И не читали моих записок?

— Что?

— Я вам посылала записки. Каждый день, иногда в день два раза.

— Один раз я что-то прочитал, очень глупое. После не читал.

Лицо Эльзы внезапно залилось краской, и она побежала вперед.

Он посмотрел ей вслед и удивился, когда увидел, что она остановилась шагах в десяти от него.

Он подошел к девушке.

— Что с вами, Эльза?

Она вскинула на него заплаканные глаза.

— Вы человек, Леонор, или кто?

Он смущенно пожал плечами. После не очень уверенно сказал:

— Наверное. Во всяком случае, так все считают.

— Ну а вы что думаете?

— Мой опыт говорит мне, что мнение ценно только тогда, когда оно многочисленно. Это закон статистики. Мнение одного человека ничего не значит.

Ничего не поняв, Эльза приблизилась к нему на несколько шагов, затем остановилась, посмотрела в его глаза и бросилась ему на грудь.

Она была немного ниже Леонора, а когда она спрятала свое лицо у него на груди, то показалась совсем маленькой девочкой. Леонор растерянно смотрел на нее сверху вниз и тихонько гладил по плечу. Он как-то в кино видел, что в подобных случаях поступают именно так.

Не поднимая головы, Эльза пробормотала:

— А я вас люблю, Леонор...

— Любите? За что?

Она посмотрела на него красными заплаканными глазами.

— За то, что вы не такой, как все. За то, что вы умный...

Леонор немного отстранил девушку от себя.

— Странно,— прошептал он.— Очень странно. До сих пор такое мне говорила только мать. Значит, по-вашему, и чужие люди могут любить друг друга?

— О, это совсем иначе, чем мать... Леонор! Я так буду ждать того момента, когда увижу вас вновь. Вы ведь уезжаете в Америку?

— Да. А вы откуда знаете?

— Мне говорил отец. Мой отец и господин Гудмейер — совладельцы фирмы, в которой вы будете работать.

— Вот как!

— Если хотите знать, то в вашей поездке в некоторой степени виновата я. Мой отец и капитан Коллар как-то разговаривали о том, что им нужны очень умные ученые. Тогда я и назвала вас...

— Благодарю вас, Эльза.

— Но вы еще ничего мне не ответили...

— Что я должен ответить?

— О боже мой! Неужели вы...

Девушка вдруг отбежала от Леонора и с отчаянием крикнула:

— Нет, вы не человек. Прав господин Штиммер, правы все ребята, права ваша мать! Прощайте! Нет, до свидания! Я приеду в Америку, и тогда, может быть, вы уже будете знать, как нужно отвечать девушке, когда она говорит, что любит вас.

Леонор несколько секунд следил, как по дорожке, вдоль кустов, странно размахивая руками, бежала от него Эльза.

Никогда еще у Леонора не было такого спокойного и одухотворенного лица, как в этот момент. Он стал воплощением разума, и все клетки его мозга, все связи, все контуры и блоки нервной системы, казалось, были настроены на этот миг. Сейчас ему предстоит встретиться с Эдвардом Геллером, человеком, которого знает весь мир как выдающегося инженера-физика.

Когда высокая узкая дубовая дверь отворилась и в ней появился небольшого роста человек с морщинистым, болезненным лицом, передвигающийся вперед мелкими шагами, Леонор понял, что это и есть Геллер. Он не встал со своего кресла, не вскочил на ноги, как вскакивали другие при виде этого человека. Он был уверен, что Геллер точно такой же, как и он, человек большого ума, принявший на себя тяжкую миссию сделать все, что в его силах, чтобы спасти и преобразовать многомиллиардный коллектив живых существ, именующих себя «венцом природы».

Геллер подошел к Леонору и, не подавая руки, произнес:

— Здравствуйте.

— Добрый день,— ответил юноша, и на мгновение ему показалось, что он находится рядом со своим двойником.

Геллер прошел к креслу у книжного шкафа и сел. Несколько минут он и Леонор молчали, рассматривая друг друга, как, наверное, будут рассматривать друг друга разумные существа с разных планет.

— Итак, вы будете работать у меня?

Не отвечая, Леонор кивнул головой и, улыбнувшись, поджал нижнюю губу. Он всегда так делал, когда был очень доволен.

— Говорят, вы хорошо знаете современную математику.

Нисколько не стесняясь, Леонор снова поджал нижнюю губу. Что-то необычное сейчас скажет Геллер, а им не нужно много разговаривать, чтобы понять друг друга!

— Можно проверить? — спросил Геллер.

Леонор улыбнулся. Момент высшего человеческого взаимопонимания приближался. Он слегка качнулся в кресле и кивнул в знак согласия.

Геллер, не сводя бесцветных глаз с юноши, расстегнул ворот клетчатой рубахи, затем вытащил из письменного стола несколько листов чистой бумаги.

— Карандаш есть? — спросил Геллер.

— Есть.

Несколько секунд Геллер что-то молча писал. Затем, пробежав по написанному глазами, он протянул лист Леонору.

— Вот. Условие задачи такое. Государство в состоянии воспроизводить свой экономический потенциал каждые три года. В военном отношении государство очень сильное. Во всяком случае, если будет война,

мы должны рассчитывать на ответные термоядерные удары. Вот список промышленных районов этого государства в порядке уменьшения их экономической мощности. Нужно определить порядок их разрушения.

Леонор вскинул на Геллера удивленные глаза. Несколько минут они молча рассматривали друг друга. Геллер улыбнулся, обнажив ряд золотых зубов. Он ничего не говорил, но выражение его лица показало, что он уверен в неспособности мальчишки решить задачу.

— Вы понимаете смысл задачи, мальчик? — спросил он снисходительно.

В этот момент про себя он подумал: «Этот Коллар — болван. Наговорил сто коробов про мальчишку...»

— Да, я понимаю смысл задачи.

— Тогда решайте, — сказал Геллер и собрался уходить.

— Я уже ее решил, — услышал он в ответ.

Геллер остановился, слегка улыбнулся и покровительственно произнес:

— Не торопитесь, дорогой...

— Я уже ее решил, — твердым голосом повторил Леонор.

Геллер посмотрел на него недоверчиво.

— Ну... Напишите ответ.

— Зачем его писать. Все и так ясно.

Геллер сел. Он внимательно посмотрел на неподвижное лицо юноши, на его внимательные, немигающие голубые глаза и, положив руку на листы бумаги с содержанием задачи, спросил:

— Так какой же ответ?

— Я не буду касаться того, насколько нелепо составлены условия задачи и как неполны ее данные, — проговорил Леонор, — но в той формулировке, которую вы мне дали, задача решается однозначно и немедленно.

Геллер удивленно вскинул брови. Так ему никто никогда не отвечал.

— Решение такое. Нужно в течение трех лет последовательно уничтожать экономические центры противника в порядке убывания их мощности.

Геллер вначале задумался, а после его лицо расплылось в улыбке. Он подошел к Леонору и положил ему руку на плечо.

— Bravo, мой мальчик! Совершенно верно!

Леонор молчал. Внутренне он почувствовал какое-то неудовлетворение, как будто сейчас происходит совсем не то, на что он рассчитывал.

— Чудесно, — продолжал Геллер. — А вот еще задача. Имеется десять овчарен, которые находятся под охраной пяти собак. На овчарни систематически нападают пятнадцать волков. Как нужно распределить охрану между овчарнями, чтобы...

Леонор встал из кресла. Он сощурил глаза и подошел к письменному столу.

— Погодите задавать вопрос. Это тоже военная задача. Но вы еще не сообщили мне, каков радиус разворота каждой собаки и каждого волка. Без этих данных задача не имеет решения.

Геллер застыл с открытым ртом. Затем он обхватил лицо руками и захохотал мелким старческим смехом.

— А ведь действительно вы правы, Леонор. Все, что о вас рассказывал капитан Коллар,— сущая истина.

— Ваши волки — это бомбардировщики противника. Овчарни — военные объекты. Собаки — ваши истребители.

— Совершенно верно, точно, мой мальчик. Разреши тебя обнять. Ведь за всю свою долгую жизнь я впервые вижу такое существо, как ты! Даже не верится, что в Европе могло такое родиться...

— Не в Европе, господин Геллер, а в Японии.

— Где??? — переспросил Геллер.

— В Японии. Точнее, в Нагасаки. Помните, вы сбросили там атомную бомбу. В этот момент я был в утробе своей матери.

Геллер подошел к небольшому шкафу, открыл стеклянную дверцу и извлек из нижнего отделения бутылку коньяка. Он поставил одну рюмку перед Леонором, вторую перед собой и налил.

— Пейте,— сказал он, проглатывая свою порцию.

— Спасибо. Я не пью,— ответил Леонор.

— Не пьете?

— Нет.

— Почему?

— А почему вы пьете? Вы ведь знаете, что это вредно. Особенно для вашего мозга. Он работает правильно тогда, когда не отравлен.

Геллер поморщился. Затем налил еще одну рюмку. Леонор не спускал с него глаз. После четвертой рюмки ученый подошел к юноше и сказал:

— Я вас беру. Беру к себе. Вы дьявольски умная бестия... Черт знает! Откуда только такие, как вы, появляются...

— Вы пьяны,— холодно заметил Леонор.

— Совершенно верно, мой мальчик. Точно. Я пьян. Я хочу быть пьяным, потому что я устал...

— И вам доверяют решать важные научные проблемы? — удивленно спросил Леонор.

— То есть как это — доверяют? — переспросил Геллер.

— Если человек отравляет свой мозг алкоголем, а вы это делаете, господин Эдвард Геллер, он не в состоянии правильно решать серьезные проблемы. А если ему поручать решать задачи, от которых зависят судьбы народов, то это преступление со стороны тех, кто ему дает такое поручение, и преступление с вашей стороны.

— Но-но-но! — произнес Геллер и погрозил Леонору пальцем. — Не умничайте. Я старше вас в два с половиной раза.

— Тем хуже. Значит, вдобавок у вас еще и склеротический мозг. Я просто не понимаю, как можно расчеты политических и военных акций поручать пьющим склеротикам!

— Замолчите, вы, — зашипел Геллер и, налив подряд еще две рюмки, выпил их залпом.

IV

Вдоль реки над головой то и дело проносились электровозы, обдавая прохожих горячим зловонием. Внизу и вверх сигналили автомобили. Был влажный бесцветный осенний день.

— Тебе нравится у нас? — спросил Эрнест Холл.

— У вас, как и у нас, — невозмутимо ответил Леонон.

— Я никогда не был в Европе, но мне рассказывали, что там очень красиво. Во всяком случае там еще не научились загаживать города, как у нас.

Леонон поднял воротник плаща.

— Ты, Эрнест, говоришь так, будто Европа тебя и впрямь интересуется.

— А тебя?

Снова над головой пронесся поезд. Леонон на мгновение остановился и посмотрел ему вслед.

— Двигатель дрянь, — сказал он.

— Это всем известно, — перебил его Эрнест. — Так как же насчет Европы?

— А какая разница! Я вспоминаю наш маленький городок, директора Штиммера и нашу гимназию. Смешно, право!..

— Смешно? Послушай, почему ты корчишь из себя такую бесстрастную скотину? Ведь это довольно противно.

Леонон остановился и пристально посмотрел на своего спутника.

— Холл, если ты действительно хочешь, чтобы мы дружили, давай не будем болтать о чепухе. В конечном счете, если судить по вашим стандартам, я веду себя отлично.

Они спустились с моста и пошли по набережной. Теперь было хорошо видно, какой грязной была вода в реке.

— В Америке был такой ученый, Ленгмюр. Он первый доказал, что пленки масла на воде — это мономолекулярные пленки.

— Ну и что же? — с нескрываемым раздражением спросил Холл.

— Мы слишком мало знаем о мономолекулярных слоях. Мне кажется, что будущая теория материи должна представлять себе атомы и атомные частицы как разбухающие пленки, которые построены из частиц первоматерии.

Холл вдруг остановился и взял Леонора за руку.

— Послушай, дружище. У тебя когда-нибудь появляется чувство неудовлетворенности от того, что ты живешь и работаешь у нас? Тебя не тянет на родину?

Леонор улыбнулся.

— Нет.

— А у тебя не осталась там, в Германии, ну, скажем, любимая девушка?

— А что это такое?

Холл энергично сплюнул.

— Не притворяйся дураком. Ты, парень, знай, что мы, американцы, можем шутить до поры до времени.

Леонор облокотился на гранитные перила.

— Мы американцы, мы европейцы, мы негры... Честное слово, Эрнест, я просто не понимаю, для чего все это говорится. Я не имею никакого представления о любви, и следовательно, никакой девушки у меня в принципе быть не может.

— Ты врешь!

— Я?

— Да, ты.

— Но, Эрнест...

— Леонор. До сих пор я знал тебя как умного парня. Никто никогда не сможет по достоинству оценить все то, что ты сделал для нашей фирмы. Я могу сказать тебе откровенно, что твои работы наши ребята изучают как какой-то особый курс. Это нас заставляет делать Геллер. Но... Но когда я увидел вчера девушку из Европы...

— Девушку из Европы? — спросил Леонор.

— Да. Ее имя Эльза. Она из твоего города, а ее отец совладелец фирмы, в которой мы работаем. Так вот, эта Эльза сказала, что она будет тебя презирать, если ты будешь продолжать свою деятельность у Геллера.

Некоторое время Леонор непонимающе смотрел на Холла, а после начал смеяться, все громче и громче, пока его смех не разнесся по всей набережной. Леонор, извиваясь от смеха, показывал пальцем на Эрнеста Холла и что-то говорил по-немецки. У американского парня задержались скулы. Ему вдруг показалось, что Леонор сошел с ума.

Он стоял долго и ждал, пока его приятель насмеется вдоволь. А когда тот умолк, Эрнест, ничего не спрашивая, зашагал вперед.

Только после того, как они оказались на широкой, ярко освещенной улице, Холл, как бы размышляя вслух, пробормотал:

— Кажется, итальянец по имени Ламброза заметил, что гениальность — явление такое же патологическое, как и сумасшествие...

— Совершенно верно, это сказал Ламброза, — подтвердил Леонор. — Я вспомнил эту девушку, Эльзу... Ты знаешь, перед моим отъездом из Германии она сказала, что любит меня.

Холл резко остановился.

— Ну а ты?

— Я? Ничего. Пожал плечами.

Леонор хихикнул, но Эрнест подошел к нему вплотную и схватил за борт пиджака.

— Вот что. Если ты не перестанешь корчить из себя робота в человеческом облике, я разможу тебе голову. Понятно?

— Понятно. Я очень от тебя устал, Эрнест. Иди своей дорогой, а я пойду своей. Мы никогда не пойдем друг друга. Никогда. Прощай.

Леонор пересек улицу, оставив американского парня на перекрестке.

А вот и здание атомного центра. Было уже очень поздно, и Леонору показалось странным, что возле высокой каменной ограды стояли какие-то люди. Их было немного, всего человек пятнадцать — двадцать, но держались они группой, а в середине кто-то поднимал фанерный щит, на котором было написано «Свободу от атомной опасности!»

Леонор хотел было пройти мимо, прямо к воротам проходной, но его вдруг окружили плотным кольцом.

— Вы отсюда? — спросил кто-то.

— Зачем вы работаете здесь?

— Какое ваше дело, где я работаю.

— И вас не мучают угрызения совести?

— Это когда убивают людей и считают, что так и нужно.

— Я никого не убивал и не собираюсь убивать.

— Но вы работаете здесь. Значит, вы содействуете тем, кто намеревается совершить убийство.

Леонор вышел из круга, остановился и произнес усталым голосом:

— Вот что, ребята. Если бы таких, как я, было много, никогда никаких убийств не было бы. Не было бы ненависти и алчности, необузданных страстей и страха, кровожадности и безумия. Это они порождают все ваши несчастья. Ваши любовь, страсть, тщеславие, страх, борьба за существование, инстинкт размножения и жажда наживы — вот причина ваших войн и кровопролитий. Прежде чем стать свободным от атомной опасности, вы должны освободиться от своих пороков. Боюсь, что это вам не удастся. Вряд ли ваша фанера с лозунгом поможет. Спокойной ночи. Стоять ночью перед стеной просто глупо. Идите отдыхать.

Леонор вошел в ворота, а толпа людей проводила его полными ненависти и презрения взглядами. Леонор всю ночь напролет рассчитывал новый тип взрывного устройства для нуклоновой бомбы нового типа.

— Как он до этого додумался? Как? — снова и снова спрашивал себя Эдвард Геллер, нервно шагая из угла в угол своего кабинета. Большие стенные часы пробили два часа, и одновременно на его письменном столе зазвонил телефон.

— Да? Я, Геллер. Сейчас я поднимусь. Что? Вы ко мне? Милости прошу.

Он быстро поправил галстук, кое-как привел в порядок разбросанные на столе бумаги и стал ждать прихода директора, Роберта Гудмейера.

Гудмейер пришел не один, а вместе с отставным немецким генералом Кеглем, который вот уже несколько дней, как он говорил, «гостил в Америке».

При виде начальства Геллер утратил свое обычное надменное выражение, и со стороны, если бы не было известно, кто он такой, можно было бы подумать, что это обыкновенный чиновник. На его желтом, морщинистом лице появилась тонкая заискивающая улыбочка.

— У меня для вас сюрприз, господин Гудмейер. Вы можете свободно заключать с правительством контракт на новую ядерную установку мощностью, скажем, в пятьсот мегатонн.

— Я это уже знаю, — небрежно бросил Гудмейер. — И мой коллега герр Кегль об этом знает. И вся фирма знает. Все, до последнего лифтера. Вот это-то меня и беспокоит.

Геллер застыл с открытым ртом.

— Послушайте, Геллер. Что вы знаете об этом феноменальном парне по имени Леонор? Он совершенно не понимает, что такое военная тайна.

Геллер на мгновение задумался и ответил:

— Таких, как он, на моем веку еще не было. Именно он и предложил новый метод использования свободных нуклонов. Просто невероятно!

— А вам известно, профессор, что парень ненормальный?

— Что-о-о?

— Ненормальный. Не то чтобы идиот, а скорее... как бы вам сказать...

Гудмейер вопросительно посмотрел на Кегля.

— Урод, — подсказал вице-директор фирмы.

Эдвард Геллер испуганно присел на край стула. Герр Кегль, как бы успокаивая Гудмейера, пояснил:

— Такое среди ученых бывает. Например, у французского математика Блеза Паскаля до конца его жизни не зарастало темя. Говорят, там, в мозгу, был еще и нарыв. А у Пастера вообще не хватало половины мозгов...

— Может быть, вы объясните мне...— пролепетал Геллер.

Ни слова не говоря, Гудмейер вытащил из бокового кармана какой-то предмет в виде трубки и протянул его физику.

— Откровенно говоря, я в этом ничего не понимаю. Но те, кто разбирается, я имею в виду врачей, говорят, что здесь черт знает что.

Предмет оказался не чем иным, как свернутой в трубку рентгеновской пленкой. Когда Геллер рассматривал ее на просвет, его руки слегка дрожали.

— Я ничего не вижу...

— Эту пленку мне передала мать Леонора. Вернее, не мне, а моей дочери Эльзе. Мы собирались в Америку, и она пришла к нам и сказала: «Я очень вас прошу обратить внимание на здоровье моего сына. Дело в том, что в детстве он страдал головными болями, и ему тогда сделали этот снимок. Врачи говорили, что с возрастом все будет в порядке».

— Право, я ничего здесь не вижу,— продолжал бормотать Геллер, рассматривая пленку со всех сторон. На ней был четко изображен человеческий череп, снятый в профиль.

— Для того чтобы вам было понятно, в чем дело, я вам покажу аналогичный снимок головы нормального человека.

Кегль протянул профессору вторую пленку, и, когда тот взглянул на нее, а затем на первую, из его горла вырвался странный шипящий звук. Он вдруг увидел, что едва заметная тень, представляющая мозговое вещество у нормального человека, занимает всего около половины объема черепной коробки. В голове Леонора тень была значительно плотнее и распространялась на всю переднюю, затылочную и заднюю части. Если судить по снимкам, то его мозг по объему был раза в два больше.

— Когда я отдал рентгеновский снимок Леонора специалистам, они пришли в ужас. Они не только установили, что его мозг больше и плотнее, чем обычно, но что в нем совершенно отсутствуют подкорковые области. А это значит, что парень совершенно свободен от каких бы то ни было эмоций. Вы представляете, что это значит?

В этом пункте в разговор вмешался директор Роберт Гудмейер.

— Это значит, дорогой, что он может только рассуждать и ни черта при этом не чувствовать. Побольше бы нам таких уродов, а, Геллер!

Он разразился громовым хохотом.

— Странный случай,— сказал Геллер и вопросительно посмотрел на Кегля.

Тот пожал плечами.

— Ничего странного нет в том, что фрау Гейнтц родила урода. Ведь она пережила атомную бомбардировку Нагасаки.

— Ах, вот оно что...

— А всякие пацифисты вопят о том, что атомная война антигуманна! — продолжая хохотать, рычал Гудмейер.— Теперь ясно, что только

благодаря войне может возникнуть более совершенная раса людей. Вот таких толковых парней вроде Леонора. Теперь понятно, как возникли современные люди. Эволюция по Дарвину — чушь. Просто обезьяны откуда-то получили хорошую дозу радиоактивности и стали рожать уродов, то бишь нас! Ха-ха-ха! Представляю, как чувствовала себя мамаша-обезьянхиха, родив бесхвостого, безволосого, головастого малыша, который вскоре стал повелевать всем обезьяньим царством. А ведь есть такая теория происхождения людей!

Геллер молча кивнул головой.

— Так вот, следующим этапом будет раса леоноров. Ух как заработают все наши научные учреждения и конструкторские бюро! Вот будет любопытный мир! Просто мурашки по телу бегают. И на кой черт тогда будут нужны всякие электронные машины? Один Леонор заменяет сто таких машин. Представьте себе, что наша фирма располагает десятком леоноров...

И директор пустился в пространные рассуждения на тему о процветании его фирмы, если в результате будущей термоядерной войны будут возникать живые мыслящие машины.

VI

Они сидели рядом на веранде пустынного загородного кафе. Эльза курила сигаретку и иногда насмешливо поглядывала на Леонора, который рассеянно смотрел куда-то вдаль.

— О чем вы сейчас думаете, Леонор?

— О том, как странно устроен мир.

— Странно? Что же в нем странного?

— Мне совершенно не понятно, как вы, люди, так страстно любящие жизнь, делаете все возможное, чтобы приблизить смерть.

— Я что-то не очень хорошо вас понимаю. Кто стремится приблизить смерть? Я?

— Нет, не вы. Роберт Гудмейер, ваш отец герр Кегль, профессор Геллер.

— Ну, не обращайтесь на них внимания. Что касается моего отца, то он просто выжил из ума.

Эльза залилась громким веселым смехом и положила руку на плечо Леонора.

— Он просто старый дурак. Все деньги, деньги, еще раз деньги. И страх, что эти деньги отберут у него какие-то коммунисты.

— А зачем ему деньги? Разве вам не хватает?

— Что вы, Леонор! Если бы мой милый глупый папочка в один прекрасный день взял бы их все из банка, то ими можно было бы оклеить все двадцать комнат нашей виллы в Горовитце и еще осталось бы на приличную жизнь десяти поколениям его потомков.

— Так в чем же дело?

— А вот в чем....— Эльза повертела пальцем у лба.— Историческая традиция, наследственный идиотизм, беспричинный страх. И еще черт знает что. Но только не думайте, что я такая. Наше поколение совершенно иное. И мне так противно, что мой отец впутался в эти грязные атомные дела из-за денег.

Эльза вдруг обняла Леонора и, прижавшись к его щеке, шепотом произнесла:

— Мне так не хочется умирать от атомного взрыва, Леонор...

Он осторожно отстранил девушку от себя.

— А какая разница, от чего умирать. Ведь умирать все равно придется.

— Но лучше позже, значительно позже. Хочется пожить, многое увидеть, многое почувствовать. Жизнь интересна и прекрасна, ведь правда, Леонор?

— Наверное,— неуверенно произнес он.

Эльза резко отодвинулась от него и сказала:

— Вы какой-то странный, Леонор. И в гимназии вы были странным. И здесь. Неужели вам безразлично, когда умирать?

Он ничего не ответил.

— Скажите, вам не страшно умереть?

— Нет,— едва слышным шепотом произнес Леонор.

— И даже от атомного взрыва?

— Нет.

— Боже мой, вы врете!

— Нет, не вру. Я просто не знаю, что такое «страшно».

Глаза девушки наполнились ужасом. Леонор смотрел на нее спокойно.

— И вы не пожалеете расстаться с этим голубым небом, с этими цветами, с этой аллеей?

— Я не знаю, что такое «пожалеть»...

— И вам безразлично то, что рядом с вами я?

— Я не понимаю, что такое «безразлично»...

— Ну допустим, вы не понимаете. Но ведь любили вы кого-нибудь?

— Я не понимаю, что такое «любить»...

Эльза поднялась из-за столика и сделала несколько шагов в сторону.

— Боже мой. Вы ужасный человек. Вы страшный человек. Для чего вы живете?

— Чтобы решать сложные задачи. Чтобы разбираться в запутанных технических и научных проблемах.

— Для чего все это?

— Я просто иначе не представляю смысла жизни.

— И вам не кажется, что это...

— Я понимаю, что я не похож на всех. Но я ничего не могу поделать. Есть слова, которые я понимаю. Я так же, как и все люди, понимаю, что такое теорема, что такое логика, что такое доказательство, что такое машина, что такое реакция... Но есть слова, смысл которых для меня не ясен. Я не знаю, что такое любить, что такое привычка, что такое страх...

— Ну а свобода? Вы понимаете, что такое свобода? Я больше всего на свете люблю свободу.

Леонор на мгновение задумался.

— Недавно я видел это слово на плакате, который перед зданием института носила толпа людей. На нем было написано «Свобода от атомной опасности». Я долго думал, что это значит. Мне кажется, что я понял...

— Что?

— По-видимому,— начал он неуверенно,— это такое положение, когда атомная война не мешает людям любить, увлекаться, наслаждаться жизнью... Когда смерть наступит не от взрыва, а от чего-то другого, например от болезни или просто от старости... Когда вы сможете жить без того, что вы называете страхом.

— О, да вы все прекрасно понимаете, Леонор,— обрадовалась Эльза и снова села с ним рядом.— Вы просто оригинальничаете, правда?

Он покачал головой.

— Я это выучил, как учат слова иностранного языка.

После длительного молчания Эльза вдруг спросила:

— Какие минуты вашей жизни для вас самые приятные?

— Когда я пойму что-нибудь очень сложное или когда решу какую-нибудь очень запутанную задачу.

— Наверное, все из области физики и математики?

— Почти да. Правда, сейчас я стараюсь понять нечто другое.

— Что?

— Может быть, это для вас будет смешно. Я стараюсь понять смысл существования людей. В моей голове не укладывается, как они могут жить, будучи такими противоречивыми существами, такими, я бы сказал... неразумными.

— Боже мой! Как я была бы счастлива, если бы вы разобрались в этой, как вы ее называете, проблеме. Я уверена, что вам удастся. И тогда...

— Что тогда?

— Тогда вы бросите работу у Гудмейера и у моего отца...

Эльза снова положила руку на плечо Леонора и мечтательно продолжала:

— Кроважадные старцы скоро вымрут. Останутся только те, кто любит жизнь. Может быть, вы, Леонор, когда-нибудь полюбите меня. И мы вами уедем далеко-далеко. Мы будем совершенно свободны. И счастливы...

На устах у юноши заиграла едва заметная улыбка. Он нервно сжал руки.

— Вы знаете, Эльза, мне временами кажется, что я скоро, очень скоро разберусь во всем. И тогда я найду правильное решение.

— Пожалуйста, Леонор! Найдите его хотя бы ради меня. Я очень вас прошу...

VII

Эрнест Холл, немного пошатываясь, делал неудачные попытки поддерживать фрау Гейнтц под руку. Но в конце концов дело обернулось так, что под руку взяла его она, и тогда они зашагали более уверенно. Намерение Холла было предельно простым: проводить мать к сыну и вернуться в клуб. Но после нескольких минут ходьбы ему захотелось узнать у немки, а что представляет собой ее сын, этот странный парень Леонор, с которым он так неудачно пытался завязать дружбу. Он долго не знал, с чего начать разговор, но тут вспомнил Эльзу и спросил:

— Это верно, что Леонор женится на Эльзе?

Фрау Гейнтц остановилась и приподняла вуалетку над шляпой.

— С чего это вы взяли, мистер Холл?

Тот многозначительно пожал плечами.

— Мне неизвестно, чтобы Леонор выражал желание жениться. Я хорошо помню, что об этом он не говорил даже мне... Эльза? Да, я знаю эту девушку. Она не может найти себе место в жизни, хотя ее отец крупный промышленник. Но Леонор? Нет, я не верю, чтобы он собирался жениться. Вряд ли. Тем более что он не здоров...

Холл по-американски грубовато хихикнул.

Фрау Гейнтц отстранила его руку.

— Да, да, мистер Холл. Именно это я и имею в виду. Дело в том, что Леонор болен, и семейная жизнь не для него. Вспомните Ньютона. Он тоже пожертвовал личной жизнью ради науки.

Эрнест остановился и потер лоб.

— Миссис Гейнтц, Ньютон работал во имя всего человечества. Леонор — против. Так пусть уж он лучше женится...

— Вы думаете, все так просто? Можете ли вы с уверенностью сказать, кто в наше время работает во имя человечества, а кто — против? Я бы не решилась среди ученых проводить такое деление. В конечном счете они могут работать над самыми гуманными проблемами, а их достижения могут быть использованы против людей. Я не верю, что супруги Кюри и сэр Резерфорд исследовали радиоактивность специально для истребления человечества.

Холл остановился и, как бы пытаясь избавиться от хмеля, сильно потер лоб.

— Откровенно говоря, мы щенки по сравнению с вами. Мы не пережили и сотой доли тех страданий, которые пережили вы в Европе. Вы мудрее нас. Вы более опытные. Скажите, почему мы так откровенно работаем на войну?

— Потому что вы таким путем зарабатываете себе на довольно приличное существование. Вы люди дела, и под словом «дело» вам не важно, что понимается. Вас воспитали так, что деньги, добытые любым путем, — хорошие деньги. Вы морально убоги, потому что суровые условия жизни в незнакомой стране лишили ваших предков моральной щепетильности. Здесь выживал тот, кто меньше всего думал о боге и о человеке. За этот порок вашей истории вы сейчас расплачиваетесь. Не научившись ценить жизнь и достоинство людей, вы этим самым лишились способности ценить жизнь и достоинство самих себя. Ваше высокомерие — причина вашего поражения. Вас никто никогда как следует не бил, и из этого вы делаете совершенно необоснованный вывод, что вы можете безнаказанно бить кого угодно. Но это не так. Все наоборот.

Холл снова взял женщину под руку. Возле автомата они остановились, и Эрнест опустил монету, налил по стакану газированной воды женщине и себе... Когда они выпили, он вдруг сказал:

— А ведь вы не правы, миссис Гейнтц. Может быть, то, что вы говорите, когда-то так и было. Собственно, зная своего деда и своего отца, я могу с уверенностью сказать, что так было. Но сейчас иначе. Абсолютно... Особенно после второй мировой войны. Мы-то теперь знаем, что такое человеческое достоинство и что такое жестокость. Наши парни тоже умирали на войне.

Мать Леонора повернулась лицом к американцу и не торопясь произнесла:

— Но ваши молодые будущие матери не попадали под атомную бомбежку!

Холл несколько секунд смотрел на нее непонимающе. На ее тонком худощавом лице играла злая улыбка, и она повторила фразу, стараясь как можно более отчетливо произносить английские слова:

— Ваши молодые будущие матери не попадали под атомную бомбежку...

Смысл фразы не доходил до сознания Эрнеста.

— Что вы имеете в виду, фрау...

— Любой матери приятно, когда ее ребенок родится нормальным человеком.

Американец кашлянул. Что-то серое, холодное и страшное поползло по его груди. Он съежился и прислонился к стене.

— У вас был такой случай... Простите мой вопрос... Я моложе вас...

— Не стесняйтесь, мистер Холл. Вы человек храбрый, самоуверенный и сильный. Спрашивайте и говорите что хотите. Итак, что вас интересует?

— У вас был ребенок после атомизации?

— Да.

— Ну и...

— Это Леонор.

Эрнест Холл странно зашатался, попятился к самому краю тротуара и судорожно вцепился в бетонный столб электрического фонаря.

— Чего вы испугались? — подходя к нему, с неподдельным удивлением спросила фрау Гейнтц. — Вы умный человек, вы читаете книги, вы знаете все, и вдруг вы испугались... Ха-ха-ха! Просто странно. Наверное, мистер Холл, вы тоже скоро женитесь, у вас будет милая хорошая жена. Рано или поздно вы будете ждать милого славного ребенка, и вот он родится...

— Замолчите... — прошептал Эрнест. — Замолчите, умоляю вас... Значит, Леонор...

Фрау Гейнтц горько рассмеялась.

— О, мне еще повезло! Мне ужасно повезло, потому что он не родился физическим уродом, как рождаются многие дети японских матерей еще до сегодняшнего дня. Но он родился без сердца. Вы понимаете, что это такое.

— Вы имеете в виду...

— О нет. Я не имею в виду отсутствие сердца как органа. Но Леонор лишен человеческих чувств. Его уродство в абсолютной интеллектuality. Ему не доступны ни радости, ни горе, ни сожаление, ни любовь. Он способен только мыслить. Как машина. Только мыслить. И когда вы, американцы, это обнаружили, вы купили его у меня, для того чтобы он придумал для вас новую, еще более страшную бомбу. Когда она взорвется, таких, как Леонор, родится много, очень много, в том числе и у вас, в Америке, может быть, даже у вашей жены, мистер Холл, и они, эти новые существа, будут вас презирать, как вы презираете обезьян.

— Боже мой... Боже мой...

Несколько минут фрау Гейнтц и Эрнест Холл брели по мокрым от мороси тротуарам к бульвару, где находился дом Леонора. Эрнест шел лениво, вяло, как человек, совершенно лишенный воли. В его голове на фоне гнетущей тоски как змееныш извивалась мысль, которую он и не пытался остановить. Но когда они подошли к дому с ярко освещенными окнами наверху, эта ускользающая от сознания мысль Эрнеста Холла вдруг зацепилась за какой-то крючок, завертелась на одном месте и раздулась, заполнив ярким светом весь мозг. Он схватил женщину за обе руки и, заикаясь, долго не мог произнести то, что хотел.

— В чем дело, мистер Холл? — мягко спросила фрау Гейнтц.

— Я вас умоляю...

— Что, Эрнест? — спросила она и приложила свою мягкую теплую руку к его холодной щеке.

— Я вас умоляю... Леонор ничего не боится... Через неделю испытания. Его бомбы... Он создал новый взрыватель... Уговорите его... Во имя миллионов людей на Земле.

Молчание. Долгое, мучительное молчание. Возле дома, где жил Леонор, медленно прохаживался часовой. Он уже несколько раз окидывал подозрительным взглядом молодого американского парня и пожилую женщину в старомодной одежде.

Фрау Гейнц посмотрела вверх, где были освещены окна.

— Иди спать, мой мальчик. Все будет в порядке. Я знаю своего Леонора.

— Я вас подожду,— прошептал Эрнест Холл.

— Вы мне не верите? Лучше идите и позвоните своей любимой девушке. Скажите, что вы не боитесь взять ее в жены.

VIII

Когда с высоты семи с половиной тысяч метров, не взорвавшись, в океан упала боеголовка ракеты с ядерным зарядом чудовищной силы, Леонор сидел в шезлонге на корме авианосца и читал математическую статью Вальтерра. О неудаче мгновенно сообщили по радио, и к Леонору сразу прибежали руководитель испытаний бригадный генерал Совнер, научный консультант Эдвард Геллер и представитель органов безопасности Смайлс. Как вкопанные они остановились у шезлонга, не зная, с чего начинать разговор. Леонор нехотя оторвался от математического трактата и устремил взгляд в голубое небо, где парили огромные белоснежные чайки.

— Мистер Леонор...

— О, вы здесь, мистер Эдвард! Как дела?

— Плохо. Машина не сработала.

Леонор слегка нахмурил брови и закрыл журнал.

— Не сработала?

— Взрыва не было.

Леонор привстал, посмотрел на собравшихся вокруг него и скривил брезгливую мину.

— Значит, у вас там круглые дураки.

— Взрыватель устанавливали вы, мистер Леонор.

— Да. Но вся электроника последней ступени создавалась не мной!

— Ее проверяли несколько десятков раз.

Леонор раздраженно бросил журнал в сторону.

— Проверяли, проверяли. Нужно не проверять, а думать. Впрочем,— он весело подмигнул,— дело поправимое. У нас, кажется, есть запасные ракеты.

— Есть.

— Значит, нужно переставить боеголовку.

— Но она упала на дно океана...

— Значит, ее нужно вытащить.

Генерал, Геллер и Смайлс переглянулись.

— Но ведь... Никто не знает, почему заряд не взорвался. А вдруг при подъеме на палубу...

На лице Леонора появилась улыбка. Ни капли не смущаясь, он сказал:

— Вы жалкие трусы. Взрывать бомбы и отравлять атмосферу вы годитесь, а поднять боеголовку с глубины пятьдесят метров вы не способны. Все же какой вы трусливый и мерзкий народец. Плеваться хочется.

У представителя органов безопасности задержалось правое веко, генерал сжал кулаки, а Геллер стал яростно кусать губы. Леонор откинулся на спинку и стал смеяться своим искусственным, артистическим смехом.

— Посмотрю я на вас! Ну и компания! И это от вас зависит судьба человечества. Просто удивительно! Мистер Геллер, когда-то, когда я не знал вас лично, мне казалось, что истинно ученый человек — герой, не боящийся смотреть смерти в лицо. А оказывается, за вашими знаниями прячется трусливая душонка!

Лицо Геллера стало совершенно желтым, но он не двинулся с места.

— Впрочем, разговаривать с вами, все равно что плевать в лужу. Грязнее не будет.

Леонор встал и начал натягивать на себя брюки. До этого он сидел в трусах. После нескольких минут молчания он обратился к генералу.

— Как это у вас называется? За неудачу намылю шею? Направляйте ваше судно туда, где упал снаряд. Я спущусь на дно и сделаю так, чтобы его подъем был абсолютно безопасным. Командуйте, генерал.

Трое неуверенно побрели по палубе авианосца, недоверчиво оглядываясь на Леонора. А он, подобрав журнал, на ходу продолжал читать математическую статью.

Авианосец остановился в миле от места падения снаряда. По приказу руководителя испытаний с места падения быстро ушли почти все маленькие и большие суда. Возле авианосца остался только один небольшой буксир.

Леонор расстался с математической работой Вальтерра только тогда, когда бригадный генерал подошел к нему и злым, сиплым голосом доложил:

— Все готово для спуска.

— Хорошо. Где маска и акваланг?

Ему подали маску и приладили на спине воздушный баллон.

— Какой инструмент вам нужен? — спросил бригадный генерал.

Леонор подумал и сказал:

— Отвертку. Обыкновенную отвертку.

Перед тем как ему сойти на катер, к нему подошел представитель органов безопасности.

— Ну а если...

Леонор окинул его взглядом с ног до головы.

— Не выношу, когда в научно-технические дела суются дураки и полицейские.

Подошел Геллер.

— Леонор, можно вас на секунду.

Они отошли в сторону.

— Вы уверены, что все будет в порядке?

— Все будет как нужно. Вы разве не убедились, профессор, что я умею находить правильные решения?

— Убедился...

— Ну так чего же вы спрашиваете?

Катер отшвартовался от авианосца и пошел к центру лагуны. Молодой военный инженер, которому было поручено извлекать боеголовку, был бледен и все порывался что-то спросить у Леонора. Но этому мешал Смайлс. Леонор заметил попытки инженера и подошел к нему сам.

— У вас есть жена? — спросил он.

Тот кивнул головой.

— Где она живет?

— Недалеко отсюда. На острове Эйкс.

— Когда у вас родится сын, назовите его Леонор.

Военный инженер слабо улыбнулся. О борт катера ударила большая волна. Продолжая улыбаться, инженер рукавом вытер капли воды на лице.

— Почему?

Леонор перевел взгляд на море. Оно было голубым и спокойным. Кругом было пусто. Только на востоке застыла ярко-оранжевая громада авианосца. На палубе буксира матросы гроыхали цепями небольшого подъемного крана, другие раскручивали стальной трос.

— Здесь глубина небольшая, всего около восьмидесяти футов, — сказал военный инженер. Его лицо стало совершенно бледным. Видимо, на ядерных испытаниях он был впервые.

Леонор на мгновение задумался, затем тихо произнес:

— Моя мать сейчас в Германии. Она удивительная женщина.

— Почему?

— Она умнее всех нас. Вы знаете, лейтенант, когда человек свободен?

Военный инженер улыбнулся. О, да, конечно, он знал.

— Нет, вы не знаете. Человек свободен на все сто процентов, когда свободны все люди на земле. Свободны от всего, и прежде всего от страха.

— Да, но...

К ним подошел Смайлс. Слова о свободе были в его компетенции.

— Убирайтесь,— с досадой проговорил Леонор.— Дайте поговорить с человеком.

Смайлс оскалил огромные белые зубы.

— Я могу прекратить все это.

Леонор пожал плечами.

— Пожалуйста. Пусть полтора миллиарда долларов валяются на дне океана. Эй, капитан!

— Вы меня не так поняли, мистер Леонор...

Смайлс снова оскалился и отошел к борту. Матросы, раскатывавшие трос, оттеснили его на палубе. Леонор наклонился к молодому инженеру и быстро заговорил:

— Я зацеплю крючком эту штуку, и вы волочите ее прямо к авианосцу. Все время подтягивайте трос, чтобы он был в напряжении. Когда вы почувствуете, что на его конце ничего нет, тогда обходите авианосец с запада и после на полной скорости уходите на юг. В вашем распоряжении будет не более тридцати минут...

Инженер смотрел на Леонора перепуганными глазами.

— Я это вам говорю потому, что не уверен в благополучном исходе... Мне кажется, что вы хороший парень.

— Я обязательно назову своего сына вашим именем,— прошептал военный инженер.

IX

Темно-зеленый мрак на дне океана сгустился, когда боеголовку, зацепленную за крючок троса, буксир поволок по песчаному дну. Вдвигались облака ила, и Леонор поехал на снаряде, как на фантастическом подводном животном. Он ехал по песку несколько минут, а затем движение замедлилось, и он понял, что катер остановился где-то вблизи авианосца. Тогда он отцепил крючок от носового кольца снаряда и заметил, как, взвившись ввысь, трос стал убегать от него куда-то в сторону. Через несколько минут облака ила рассеялись и на дне водворилась прозрачная сине-зеленая мгла.

Как здесь было тихо и спокойно! Он только слышал, как стучит его сердце и как с легким бульканьем из клапана сзади вырывался выдыхаемый воздух.

Леонор не торопился. Он сел прямо на песок рядом со своим детищем и медленно водил по его корпусу отверткой. Научные проблемы, думал он, сложные математические расчеты... А ведь в них ничего не говорится о том, о чем ему так часто говорили мать, Эльза, Эрнест Холл. Удивительные существа люди. Они такие одинаковые и такие разные. Есть Эдвард Геллер, которого называют человеком. И есть Эрнест

Холл, которого тоже называют человеком. И есть еще этот Смайлс, полицейский, и бригадный генерал, который волнуется там наверху. Но разве можно сказать, что все это одинаковые люди? Или взять его мать? Это она, странный, удивительный учитель, доказала ему, что жизнь на Земле не техническая проблема. Что люди могут быть счастливы только тогда, когда не будет никаких водородных бомб.

Леонор вспомнил свое детство, такое непохожее на детство его сверстников, которые смеялись и плакали, бегали и прыгали, играли и ссорились. Ему это казалось глупым. Он не понимал, почему так должно быть, пока ему не объяснила мать.

— Ты не от мира сего, Леонор. Ты не человек. У тебя нет сердца. Люди во все времена боролись за свободу. Свобода — это такая жизнь, когда ты хочешь и можешь быть счастливым.

— А как она измеряется, эта свобода, мама?

— Ну, как тебе сказать... Наверное, полная свобода наступает тогда, когда ты ничего не боишься и когда тебя никто не стесняет в твоих лучших устремлениях. Впрочем, свободу трудно измерить...

— Я привык рассчитывать и измерять. В каких единицах измеряется ваша свобода?

Мать тихонько засмеялась.

— Во все времена за свободу боролись и за нее умирали. Как прекрасную сказку, свободу предлагали коварные правители, чтобы поработить людей. Именем свободы клялись перед народами короли и министры, диктаторы и фараоны. Слово «свобода» писали на государственных знаменах и в государственных документах. А ее все нет и нет. Она как призрак ускользает от нас. Мне порой кажется, что человек становится свободным только тогда, когда он умирает. Но смерть чересчур большая свобода, в смерти ее слишком много...

Леонор вдруг спохватился.

— Я начинаю что-то понимать. Механика изучает свободное падение тела, свободные колебания маятника. Свободное парение летательного аппарата. Свободные атомы... Никакие внешние силы не вторгаются в естественно протекающий процесс. Не это ли должно быть в человеческом обществе?

— Мне трудно сравнивать, Леонор, потому, что я не знаю науку. Наверное, что-то похожее в твоей аналогии есть. Но у людей все значительно сложнее. Вот, например, ты, ты разве свободный, разве ты можешь делать то, что ты хочешь?

— Я делаю то, что хочу. Но я не совсем понимаю, почему то, что я делаю, вызывает отвращение у людей.

Он вспомнил толпу угрюмых людей с фанерным плакатом и десятки устремленных в него ненавидящих глаз...

— Просто потому, что ты своей работой, своим трудом готовишь для людей страдания и смерть...

— Но люди все равно рано или поздно умирают. И наверное, им очень нравится воевать и время от времени сбрасывать друг на друга бомбы.

— Нет, им не нравится воевать. Воевать нравится тем, кто думает, что, сбросив бомбу на других, можно избежать возмездия.

— Глупо и странно! И очень нелогично. Если вы так упорно стремитесь прожить как можно дольше, для чего вы создаете научно-исследовательские центры вроде того, в котором работаю я?

В тот вечер они проговорили несколько часов, и до сознания Леонора постепенно начала доходить чудовищно запутанная, дикая, лишенная всякой логики и смысла идея, которой руководствуются его покровители. Он разумом понял, что такое человеческое счастье, и радость, и страх, и очень смутно представил себе свободу...

— Подумай обо всем, что я тебе сказала, Леонор.

— Хорошо, я подумаю.

И вот он сидит на дне мелководной лагуны, рядом со своим творением и думает, думает, пытается проникнуть в смысл того сложного и запутанного, что называется человеческой душой, человеческим разумом, человеческими чувствами. Он подвергает их тщательному анализу, раскладывает на составные части, складывает снова, пытается найти причины сложных и невнятных, лишенных четких контуров и форм поведения людей.

Перед ним медленно проплыла стайка рыб, которая вдруг взметнулась и умчалась куда-то вверх, к свету. По дну прошла темная тень крупной хищной рыбы.

«Наверное, для людей я кажусь хищной рыбой»,— подумал он и пересел на корпус снаряда.

Снаряд был небольшим, всего метра четыре в длину, с герметической втулкой на боку, обведенной ярко-красной краской. Здесь, в зеленоватом полумраке, красный квадрат казался совершенно черным.

Леонор улыбнулся и начал неторопливо отворачивать винты. Он вспомнил, как перед установкой снаряда на последнюю ступень ракеты ему было поручено поставить взрыватель на боевой взвод, как на полигоне его оставили одного и как он сделал так, чтобы взрыв не произошел. И Геллер, и генерал Совнер, и другие люди были совершенно уверены, что он, Леонор, никогда не поймет главного содержания человеческой морали, что ему вполне можно доверить совершить любое самое страшное преступление.

«Они считают, что я робот, вроде тех, о создании которых сейчас помышляют кибернетики. Мыслящая машина. Урод с отсутствующими чувствами и гипертрофированным интеллектом. Но именно в этом интеллекте вся сила. Беспристрастный анализ показывает, что я не должен жить среди людей. Но и те, кто хочет, чтобы создавались вот такие штуки, тоже не должны жить. Если я плох потому, что у меня нет никаких

человеческих чувств, то они плохи из-за обилия низменных, скотских инстинктов. Все человечество заключено между этими двумя крайними пределами. Право на подлинную свободу имеют только те, у которых чувства и разум находятся в равновесии. Остальных нужно либо лишать свободы, либо уничтожать».

Леонор отвинтил последний винт и приподнял втулку. В отверстие хлынула вода, и из него взвился фонтан пузырьков воздуха. Он нагнулся совсем низко над втулкой и посмотрел на тускло блестящую гайку. Она была из нержавеющей стали.

Как здесь было тихо! На Леонора нашло глубокое всеобъемлющее умиротворение. Так бывало всегда, когда ему удавалось решить сложную запутанную задачу.

«Конечно, я не имею права на существование. Но и они тоже».

Снова подплыла стайка рыб. На этот раз они застыли над головой Леонора как вкопанные, и тогда он поднялся и, махнув рукой, спугнул их.

Затем он снова присел на корпус снаряда и прикинул в уме, каковы будут последствия взрыва. Все произойдет за миллионные доли секунды. Конечно, от авианосца ничего не останется. Интересно, успеет ли убратся подальше буксир с этим молодым симпатичным военным инженером? Он так боялся!

Они боятся смерти. Что-то заложено в структуре их организма такое, что заставляет их избегать смерти. Мать сказала, что смерть — это слишком много свободы, значительно больше, чем нужно человеку. Действительно, если свобода есть что-то реально существующее, то что может быть более свободным, чем рассеянные в бесконечном пространстве атомы?

Леонор посмотрел на хронометр. С тех пор как он спустился на дно океана, прошло тридцать минут. Если военный инженер на буксире правильно выполнил его инструкции, то он уже вне опасности. Его, конечно, крепко тряхнет. Будет очень хорошо, если он назовет своего сына Леонором. Интересно, поймет ли мать, догадается ли Эльза, сообразит ли Эрнест, что он, Леонор, все сделал умышленно, основываясь на самом точном и беспристрастном анализе? Или они решат, что произошел несчастный случай? Поймут ли они, что до великих решений, касающихся судеб человечества, можно прийти не столько сердцем, сколько холодным, трезвым рассудком? Впрочем, это теперь не имеет никакого значения. Пора действовать, пора.

Он еще раз спугнул стайку застывших над головой рыб и взялся за нарезку гайки из нержавеющей стали. Она была хорошо смазана и вращалась легко. Ее нужно повернуть всего семь-восемь раз до отказа, пока конец не упрется в пружинящий контакт реле электровзрывателя. Поворачивая гайку, Леонор мысленно считал про себя секунды. Он вдруг ощутил что-то похожее на радостное волнение и прошептал в маску:

«Сейчас и я буду свободен. Всего через несколько секунд».

ДМИТРИЙ БИЛЕНКИН

Имя Дмитрия Биленкина, безвременно скончавшегося в июле 1987 года, хорошо известно любителям фантастики. Начиная с легендарных для фантастики шестидесятых, но расцвет его деятельности пал на 70-е годы, на начало 80-х. В ныне принятой периодизации эти годы именуются застоем, чье леденящее дыхание коснулось значительной части отечественной фантастики, и по сей день она не в силах стряхнуть с себя замерзшие ветки. Но самые талантливые из фантастов сумели противостоять агрессивной идеологии застоя, в этом противостоянии и родилась фантастика сегодняшнего дня — более сложная, более противоречивая, чем немного простодушные по нынешним меркам рассказы и повести шестидесятников. Она значительно глубже заглядывает в суть вещей и значительно больше соответствует духу нашего тревожного времени. Дмитрий Александрович Биленкин постоянно находился в лидирующей группе литературы противостояния, сумевшей отстоять честь советской фантастики в тяжелые для нее времена. Он был постоянным участником сборников «НФ», в «Знании» же вышла его последняя прижизненная книга «Приключения Пыльнова». Мы публикуем два ненапечатанных при жизни рассказа Д. Биленкина.

ЕСЛИ ЗНАТЬ

Дан Ропет Арм, двузвездный генерал, широко расставив крепкие ноги, стоял перед картой мира. Твердая воля, везение счастливицы, талант и жестокое честолюбие смотрели на крошечную страну, видя красные стрелы ударов, нацеленные в ее маленькое сердце.

Его план был прекрасен, и потому генерала не беспокоило совещание девятью этажами выше. Высокое совещание в буквальном и переносном смысле; и оно решит так, как должно решить. В планируемой кампании был немалый риск ввязаться в затяжную войну партизанских стычек. Риск отпугивал бездарных соперников, зато генералу он давал сказочный шанс выдвинуться.

Он победит за неделю, будьте спокойны, если, конечно, план примут и его назначат командующим.

Назначат. Иначе бы эта лиса, начальник объединенного штаба, не намекал насчет выпивки сегодня вечером. Впрочем, здесь не надо быть пророком. Стратеги одобрили выбор и руководители генштаба тоже, а политикам все равно лучшего человека, чем он, не найти. Генерал Дан Арм — главнокомандующий. Красиво звучит, черт возьми!

На столике вкрадчиво мурлыкнул телефон. Генерал круто повернулся через плечо. Свет люминесцентных ламп холодно замерцал на серебристых звездочках погон.

— Генерал Дан Арм слушает!

— Говорит начальник объединенного штаба. Министр приказывает вам...

«Явиться на совещание»,— Дан Арм предвосхитил окончание фразы и плотней прижал трубку к уху.

— Явиться к генералу Локку. Поскольку совещанием вы подчинены ему на время операции, он хочет выслушать ваши соображения немедленно.

— Слушаюсь! — машинально ответил Дан Арм.

— Старина, мне очень неприятно,— голос начальника штаба утратил официальность,— но, как видишь, пить за твой счет мне не придется...

— Да, понимаю.

Неправда. Дан Арм еще ничего не понимал. Просто ему показалось, что в кабинете стало душно.

— Подожди.— Смысл наконец дошел до сознания.— К кому явиться? Я не расслышал.

— К Локку. Ну к нашему маленькому «Наполеону». Да вы не рас...

— Ясно.— Дан Арм поспешно придавил рычаг.

Невидящим взглядом он долго смотрел на телефон, словно тот обязан был зазвонить снова и на этот раз по-настоящему.

Телефон молчал.

Локк!

Генерал дернулся, как если бы ему под нос ткнули крысу. Локк был выскочкой уже потому, что был моложе Дан Арма на десять лет, а находился в одном с ним чине. Локк был своеправным и потому неприятным типом. Локк был бездарью... потому что был выскочкой и наглецом. И он — командующий! Вор, укравший его, Дан Арма, операцию,— командующий?! Неслыханным, невероятно, невозможно!

Дан Арм сел и сидел целых десять минут, ошеломленно переваривая несправедливость и собираясь с мыслями. И пусть этот выскочка не воображает, что Дан Арм тотчас побежит к нему на цыпочках!

. . .

Коридоры министерства были так длинные, что казались бесконечными. Гофрированный алюминий потолка, серый пластик пола, глянцевая и тоже серая окраска стен — не архитектура, а окаменевшее уныние.

Генерал прошел коридором в туалет, чтобы оглядеть себя в зеркало. Не так плохо. Сумрачное, но спокойное лицо. Стальной блеск глаз. В уголках губ — презрение. Не без горечи, правда, Дан Арм попробовал устранить этот ненужный при встрече с «Наполеоном» оттенок и остался доволен результатом.

Он снова ощутил в себе тугую пружину воли. Виной всему, конечно, интриги. Кто-то нахально протаскивает «Наполеона». Чересчур нахально — такому внезапному повороту событий еще не было примера. На-

рушение всех традиций! Ладно, своеволие политиков оскорбит не только его. Покровитель (или покровители?) «Наполеона», сами того не замечая, роют своему подопечному шикарную яму. Что ж, прекрасно...

И все же обида мучительно жгла Дан Арма, когда он переступил порог кабинета Локка и очутился перед соперником.

Кабинет генерала Локка прежде был точной копией кабинета генерала Дан Арма. В ведомствах ревностно следили за престижем, и такие мелочи, как размеры помещения, ширина стола, модель телефона, были признаком куда более важным, чем это могло показаться простаку. По ним судили о весе того или иного начальника в иерархической системе; один лишний «не по должности» телефон мог вызвать переворот во мнениях о человеке. И генерал Дан Арм испытал новый прилив ярости, обнаружив, что сходство его кабинета с кабинетом Локка уже утрачено. Да еще как утрачено! В углу напротив стола Локка возвышался массивный глобус. На его боках, словно открытые раны, алели три огонька. Электрифицированный глобус, выделяющий «горячие точки» земного шара! Такого не было даже у начальника генштаба. Значит, «Наполеон» знал о своем назначении заранее?..

Сидевший за столом Локк поднял бледное одутловатое лицо и демонстративно взглянул на часы. Дан Арм подчеркнуто не обратил внимания на этот жест.

— Генерал,— голос Локка был неприятно бесстрастен,— вам, кажется, известно, что на время операции вы подчинены мне?

— Известно,— сухо сказал Дан Арм.— Надеюсь, вы успели ознакомиться с разработкой плана кампании?

Если бы слова взаправду могли источать яд, дышать воздухом кабинета после этой фразы было бы уже нельзя.

— С вашим планом? — Локк помахал увесистой папкой.— Классический пример формально талантливой логики.

— У вас есть лучший? — против воли в Дан Арме заговорил профессиональный интерес.

— Сядьте, ознакомьтесь и выскажите свои соображения.

Дан Арм взял протянутые ему бумаги и пролистал их. Он ожидал увидеть ухудшенный вариант собственного плана, ничего другого, по его мнению, быть не могло. Но это было совсем, совсем другое. Это было черт знает что!

— Генерал,— Дан Арм встал.— Вы хотели услышать, что я думаю о вашем плане. С удовольствием отвечу. Это авантюра.

— Обоснуйте.

— Вы намереваетесь высадить десанты на аэродромах противника и благодаря этому закончить операцию в двадцать четыре часа. Генерал Локк, ваши десанты будут уничтожены в двадцать четыре минуты.

— Наши десанты, генерал Дан Арм. И они не будут уничтожены.

— Достаточно познакомиться с состоянием ПВО противника...

Локк нахмурился.

— Генерал Дан Арм, вам кажется, что в жизни (а война — это жизнь) господствует логика. Придется потратить несколько минут, чтобы разъяснить вам это заблуждение. Вот он, ваш план. ВВС подавляет авиацию противника на аэродромах, морская пехота после высадки пересекает пути сообщения, вражеские силы раздроблены и скованы. На все это уходит пять дней. Прекрасно! Но уже на второй день Совет Безопасности принимает решение о прекращении огня, а мировое общественное мнение бьется в истерику. Это во-первых. Далее, армия противника непохожа на нашу. Ей не надо автострад и железных дорог, чтобы рассеяться. Каждый солдат берет по автомату, и вот леса кишат бандитами. Это во-вторых. Есть и в-третьих. Гарнизон столицы слаб, им можно пренебречь. Верно. Но пока морская пехота проводит свой блестящий маневр, горожане организуют оборону и полицейская операция превращается в борьбу против вооруженного народа. Вас это устраивает?

— Не умею строить доводы на произвольных допущениях. И вы не опровергли моих сомнений насчет ПВО.

— Одно связано с другим. Сейчас страна расколота на группировки и погружена в анархию, которая затронула и ПВО. Ситуация с точки зрения обороны иррациональная. Значит, и мы должны прибегать к нелогичным мерам. Ни один вражеский военный, мыслящий канонически, не допускает возможности, что десантные самолеты сядут на их собственных посадочных площадках. Это чушь, это бред в нормальной обстановке. А обстановка ненормальная. И потому зенитные батареи, не без помощи наших друзей, будут молчать те десять минут, которые нам необходимы. Дальше они могут делать все, что им заблагорассудится: десантные танки их сметут.

А теперь помедлите секунду и взвесьте все, прежде чем отвечать мне. Я прекрасно понимаю, как вы уязвлены моим назначением. Но я взял вас потому, что мне нужен талантливый помощник, а лучше вас я никого не найду. Но мне нужен преданный союзник. И если вы сейчас подавите мелкое самолюбие и будете работать со мной рядом рука об руку, наша победа выдвинет нас обоих. Моя и ваша победа, генерал.

— Ясно,— сказал Дан Арм.— Генерал Локк, я уже высказал вам, что считаю предложенный план бредовым. У меня есть право, и я им воспользуюсь — доложить свое мнение по инстанции.

Локк поднялся из-за стола. Низенький, начинающий полнеть, он едва доставал Дан Арму до плеча. Он скрестил руки на груди, его прозрачные глаза, казалось, смотрели сквозь генерала, да так, что тот невольно вздрогнул. Сейчас Локк больше чем когда-либо напоминал Наполеона — сходство, давно уже ставшее поводом для острот. Пальцы Локка нервно подрагивали. Внезапно в его глазах вспыхнуло бешенство.

— Можете кляузничать, генерал.— Бледные одутловатые щеки Локка задергались.— Можете! Вы не участвуете в операции!

Слова прозвучали как брезгливая пощечина.

Дан Арм с достоинством поклонился.

— В музее есть треуголка. Похлопотать? Но боюсь, что она будет вам велика.

— Генерал,— ледяным тоном произнес Локк,— раз пошли такие шуточки, я отвечу вам так, как Наполеон отвечал вам подобным: Дан Арм, вы на голову выше меня, но вы можете лишиться этого преимущества.

— А я вам отвечу словами Талейрана: жаль, что такой великий человек так дурно воспитан!

. . .

Уходя от Локка, Дан Арм чувствовал себя лучше, чем по дороге к нему. Он ловко уязвил Наполеона, но не это главное. Локк ломает себе шею на этой операции, тут не может быть сомнений. Безнадежно серый коридор казался теперь Дан Арму приветливым. Не мешает опуститься вниз, выпить кофе и кое-что порассказать находящимся там офицерам. В рамках должной секретности, разумеется.

Буфет, однако, был пуст. Только за крайним столиком в углу сидел в расстегнутом мундире полковник Моравский, эта ученая крыса, которая толком даже не умеет отдать приветствие на улице.

Дан Арм заколебался и хотел было уйти, но вспомнил, что Моравского многие почему-то считают гораздо более осведомленным в делах министерства человеком, чем это могло быть по роду его деятельности. И что Моравский по непонятной причине давно уже вызывает ему свои симпатии.

Генерал подставил чашку под раструб автомата, опустил в прорезь никель и с дымящимся кофе в руках пересек зал.

— Присаживайтесь, генерал,— сказал Моравский, словно только и ждал его приближения.— У вас усталый вид. Что, не поладили с «Наполеоном»?

— Откуда вы знаете? — удивился Дан Арм, ставя чашку на стол.

— Ну от меня операцию в секрете не держат.— Моравский лениво шевельнул рукой.— А об остальном догадаться нетрудно.

— Вас эта история не удивляет?

Ореховые глаза Моравского рассеянно смотрели мимо генерала. Он неторопливо достал пачку, вынул сигарету и со вкусом ее закурил. Потом слабая улыбка тронула его сморщенное лицо, обнажив редкие, желтые от никотина зубы.

— Не удивляет, нет, генерал, не удивляет. Вас она тоже не должна удивлять.

Дан Арм с сомнением покосился на Моравского. В словах полковника ему почудился шелест загадки.

— Согласитесь, однако,— сказал он.— Все это выглядит странно. И по форме, и по существу. Очень странно.

Моравский кивнул.

— Он мнит себя великим полководцем,— невольно горячась, продолжал Дан Арм.— Его идеи дорогого нам будут стоить.

— Чрезвычайно дорого.— Моравский разглядывал дымок от сигареты.— Вы даже не представляете, как дорого.

— Вы знакомы с его планом?

— Нет. Но думаю, что его план гениален.

— Он безумен.

— Планы гениев часто выглядят безумными. Пока они не осуществляются, конечно.

— Уж не считаете ли вы Локка...

— Может быть.

Генерала покорило. Но странное дело, он ощутил внезапную тревогу.

— Как вы можете судить о плане,— быстро заговорил он, чтобы заглушить тревогу,— не имея о нем представления и не разбираясь в стратегии?

Наконец-то Моравский посмотрел ему прямо в глаза. И все равно взгляд полковника ничего не выражал. Отрешенный взгляд морщинистого Будды, окутанного сигаретным дымом.

— Генерал,— тихо сказал Моравский.— Я не разбираюсь в стратегии, это верно. Зато я разбираюсь кое в чем другом. Вы уверены в провале Локка, я бы на вашем месте не был так уверен. Вы убеждены, что с его назначением кто-то допустил чудовищную ошибку. Сомневаюсь. Вас удивляет, что во всей этой истории нарушены многие писанные и неписанные правила, а вас это удивлять не должно. Наконец, вы полагаете, что даже в случае успеха Локка рано или поздно последнее слово останется за вами. Выкиньте это из головы.

— Вы говорите загадками...

— Потому что я к вам хорошо отношусь. Позволю еще один совет. Немедленно извинитесь перед Локком и примите участие в его операции.

Дан Арм встал, выпятив грудь.

— Передайте вашему другу Наполеончику, что меня не возьмешь на голый крючок.

— Вы оставили недопитый кофе, генерал.

Самым потрясающим было то, что один-единственный жест Моравского, приглашающий сесть, парализовал Дан Арма. Он сел как загнивший парализованный. Моравский чуть наклонился к нему, и сквозь зыбь сигарного дыма Дан Арм близко-близко увидел жестоко-равнодушные ореховые глаза и тонкий, кривящийся в усмешке рот.

— Генерал,— почти беззвучно прошептали эти губы,— Локк не просто похож на Наполеона. Он и есть Наполеон.

Чашка в руке Дан Арма мелко-мелко задрожала.

Сзади послышался шум: в буфет ввалилась группа офицеров.

— Если вы не надумали вызывать психиатра,— сказал Моравский,— то пойдемте ко мне и продолжим разговор.

Нет, даже мысли о психиатре не возникло у Дан Арма. Было что-то в словах полковника, чему не верить было нельзя, хотя и поверить было тоже невозможно. И если не считать детства, Моравский был первым человеком, вызвавшим в нем страх. Необъяснимый страх, что ужасней всего.

Дан Арму пришлось сделать усилие, чтобы, сохраняя бодрую выправку, пройти мимо офицеров, которые толклись возле кофейного автомата. В конце коридора, где он загибался буквой «Г», Моравский толкнул дверь и пропустил Дан Арма в свой кабинет, крохотный по сравнению с апартаментами генерала.

— Располагайтесь и спрашивайте.

Пальцы Моравского опять держали зажженную сигарету. Кажется, они не расставались с ней никогда.

— Вы пошутили,— неуверенно сказал Дан Арм.

— Нет, и вы это сами чувствуете. Как вам известно, генерал, а может быть, неизвестно, вся генетическая информация человеческого существа заключена в любой из клеток его тела. В любой, а не только в половых. Да, так...

Моравский задумался, его опять окружало струящееся облако. Какая-то феноменальная способность извлекать из обычной сигареты дымовую завесу.

— Некоторые клетки организма так устойчивы, что генетический код сохраняется в них после смерти.— Моравский зачем-то посмотрел на свои ногти.— И кому-то в голову пришла эта идея. Были колоссальные, фантастические трудности. Но это неважно. Успех пришел после десяти лет неудач. Остальное — формирование плода, рождение ребенка Наполеона Бонапарта было уже делом чистой техники. Я сам участвовал в опытах и потому знаю.

— Но это же бессмыслица! — Дан Арму казалось, что он продирается сквозь пелену кошмара.— Наполеон был полководцем девятнадцатого века!

— Какая разница? Наследственные задатки нетленны. Остальное формируют воспитание и обстоятельства. Не сомневайтесь, об этом позаботились. Локка-Наполеона подсаживают в седло, неужели неясно? Сейчас представился случай, чтобы он показал себя на деле. Вот и все.

Инстинктом Дан Арм чувствовал, что сказанное — правда. Но признать эту правду он все еще не мог.

— Локк не гений,— упрямо сказал он.— В нем нет даже таланта.

— Локк-Наполеон талантлив, вы предвзято судите. Впрочем, это естественно. Не гений? Наполеона до его побед тоже не считали гением. Генерал! — Моравский перегнулся через стол, и Дан Арм снова близко-близко увидел за струящейся пеленой дыма равнодушные ореховые глаза. — Генерал, вы все-таки не понимаете главного. Локк-Наполеон предназначен для больших дел. Если он справится сейчас, он станет военным министром, что бы вы там ни делали. А в критической ситуации — это предусмотрено тоже — ему позволят стать диктатором. Мы все будем у него в кулаке. Как эта сигарета.

Моравский придавил окурочку и энергичным движением растер его.

— Зачем? Зачем? Смысл? — Дан Арм был так потрясен, что других слов у него просто не нашлось.

— Огромный смысл. Огромнейший. Может быть, среди современных офицеров, рожденных, так сказать, естественным путем, есть люди, потенциально не менее великие, чем Наполеон. Но это игра втемную. А Наполеон уже проверен историей. Известны и сильные, и слабые его стороны, его будущим до известной степени можно управлять, чего, к примеру, нельзя сказать о вас, понимаете? Риск, конечно, есть. Знаете, он в чем?

— В провале операции. — В голосе Дан Арма прозвучала надежда.

— В этом, разумеется, тоже. И в том, что иное воспитание, иные условия формируют иную личность. Наш Наполеон куда менее симпатичен, чем прежний, например. У него цинизм современного сверхчеловека. Но главный риск не в этом.

— А в чем?

— Подумайте сами.

— Зачем вы мне все это рассказали?

— Чтобы вы не пытались своей бравой грудью остановить мчащийся экспресс.

— И для этого выдали государственную тайну?

— Вот она, человеческая благодарность! — Моравский встал и, сутулясь, прошелся по комнате. Его расстегнутый мундир был обсыпан пеплом. — Ах, генерал, все суета сует, кроме чистой совести. Я бы мог промолчать и тем подписать вам смертный приговор, но это мерзко. Поживите с мое, покрутитесь возле этих штучек, — Моравский постучал по панели, — и вы поймете, что я прав.

— Каких штучек? — машинально спросил Дан Арм, думая совсем о другом.

— Я не показывал вам своей коллекции? Что ж, надеюсь, ее вид смирит вас.

Моравский сделал едва уловимый знак, и снова, как в тот раз, ослабевшая воля генерала странным образом повиновалась. Он встал, подошел к Моравскому. Тот медленно отворил створку деревянной панели. За такими панелями во всех кабинетах находились сейфы. Здесь тоже был сейф с циферблатом на дверце.

— Семь полей открывают ад,— с грустной торжественностью сказал Моравский, прокручивая диск.

Дверца беззвучно отскочила. Сейф был разбит на несколько ячеек, и в каждой стоял небольшой контейнер. Краем сознания генерал удивился, что он стоит здесь и смотрит на какие-то контейнеры, не имеющие к его трагедии ни малейшего отношения.

— В каждом из них сидит дьявольский огонь.— Длинные желтоватые пальцы Моравского нежно коснулись крайнего контейнера.— Вот здесь огонек едва тлеет. Слушайте.

Моравский вынул из кармана плоский радиометр, откинул запор контейнера и поднес прибор к зияющему отверстию. Тишину прорезал слитный треск.

— Такое маленькое, лижущее пламя... Крохотная ампула, ее безопасно взять в руки. Ручная смерть, невидимая, неслышимая, бескровная: поддержи ее сутки возле себя — и конец. Давно снята с вооружения. А вот здесь,— палец коснулся соседнего контейнера,— если я его открою, мы в мгновение ока распадемся на атомы. Смотрите.

— Что вы делаете?!—закричал Дан Арм, видя, что Моравский откидывает запор.

— О, не беспокойтесь, здесь только имитация.— Моравский покатил по ладони крохотную ампулку с розовой жидкостью.— Настоящий у меня один, тот контейнер. Но политикам при показе коллекции я этого не говорю. Знаете, они уходят отсюда очень смиренные. Когда опасность касается твоей кожи, это как-то способствует правильному пониманию вещей. И я сразу вырастаю в их глазах.

Дан Арм не мог оторвать взгляда от перекачивающейся ампулы. Он привык к виду оружия, но слова Моравского были так зловеще спокойны, что имитация уже не выглядела имитацией.

Моравский сунул ампулу обратно.

— Здесь,— он ткнул пальцем дальше,— несколько щепоток ботулина. Если их рассеять по воздуху, земной шар погрузится в вечный сон. Ну и так далее.

Он внимательно посмотрел на Дан Арма.

— Вот теперь уже лучше. Психологи называют это вытеснением. Извините, что я поиграл на ваших нервах, но сейчас вы думаете о Локке-Наполеоне куда спокойнее. Вам придется пройти через унижение, генерал. Но это необходимо.

. . .

...Дан Арм опустил стекло до упора и прибавил скорость. Завывающий ветер ворвался в машину, и его упругий порыв постепенно выветривал из сознания липкое колдовство услышанного. Словно испарялась какая-то анестезия; мысли обретали ясность, но одновременно пробуждалось бешенство.

Нога жала на акселератор, как если бы это было горло поверженного врага. Навстречу неслись слепящие пучки света. Все быстрее, быстрее... Они били в лицо, как кинжалы. Генерал с каким-то упоением встречал их ударом, отвечая на них дальним светом фар своей машины. И для этого даже чуть-чуть поворачивал руль влево. Безмолвная схватка вдруг захватила его. Он слился с рулем. Встречные машины испуганно шарахались от обезумевшей кометы: еще издали они предупредительно гасили свет. Но не все. Их-то Дан Арм полосовал с особым наслаждением, чувствуя, что ему отвечают тем же.

Визг тормозов вывел его из оцепенения. Рядом, почти касаясь борта, промелькнула темная глыба автомобиля, в которую он едва не врезался.

Дан Арма кинуло в жар. Тело вдруг ослабело, как после тяжелой физической работы.

Обратно в город Дан Арм въехал уже с нормальной скоростью. Ритм мыслей тоже замедлился, и в них незаметно прокралось непривычное ощущение собственной беспомощности. Как он ни убеждал себя, внутренний голос упрямо твердил: «С Наполеоном все правда, все правда...» Значит, стать на колени?..

По светящемуся табло на перекрестке бежали секунды, оставшиеся до зеленого света. «09, 08, 07...» Внезапно последние цифры ярко вспыхнули в мозгу. И с ними вернулось спокойствие. Теперь Дан Арм знал, что нужно делать.

. . .

Прошло два месяца. Операция Локка завершилась блистательно. Менее суток ушло на захват аэродромов, окружение военных лагерей, свержение старого правительства, формирование нового. Никто и опомниться не успел, как все было кончено.

Локк стал национальным героем, получил третью звезду, и как уже о решенном поговаривали, что через год он сядет в кресло министра.

Эти новости Дан Арм принял спокойно: что пережито, то пережито — там, в иступленной автомобильной гонке. И на поклон к Наполеону он не пошел: стоит раз склониться перед судьбой, потом трудно выпрямиться.

Он обнаружил в себе качество, о котором не подозревал.

...В этот вечер он, как всегда, задержался. Коридор был пустым, когда он свернул к кабинету Моравского, который только что ушел в отпуск и улетел к морю.

Генерал заглянул в туалет, находившийся прямо напротив нужной двери. Никого. Отлично! Даже если его застанут в тупичке, это не вызовет подозрения. Опасны лишь первые и последние тридцать секунд, но в тишине вечера он должен услышать шаги заранее.

Замок послушно щелкнул. Находясь у себя, Моравский беззаботно оставлял ключ в двери, и снять с него слепок для человека, который слушал курс разведки, было несложной задачей.

Света в кабинете Дан Арм зажигать не стал: фонари на улице горели достаточно ярко. Вот и сейф. Певуче прокрутился диск. Контейнер был на месте.

Генерал проверил его радиометром. Правильно, тот самый.

Вернувшись к себе, Дан Арм взглянул на часы. Он отсутствовал три минуты. Контейнер слегка оттягивал карман. Как пистолет, даже меньше.

...В час дня Дан Арм, держа под мышкой папку, появился в приемной Локка (да, у Наполеона была уже настоящая приемная!).

— У себя? — кивнул он адъютанту.

Тот нехотя оторвался от пишущей машинки.

— Уехал, вернется через два часа.

— Жаль, — сказал Дан Арм, хотя прекрасно знал, что Наполеона сейчас нет.

— Он срочно просил доклад по базе А-91, а мне тоже надо уезжать. Ладно, я положу ему на стол, пусть пока ознакомится.

Офицер молча кивнул. Не было дня, чтобы кто-нибудь не клал шефу на стол срочных бумаг.

Дан Арму не потребовалось лишней секунды, чтобы извлечь ампулу из контейнера. Мгновение — и комок пластилина прикрепил ее под сиденье Наполеона.

— Если по докладу потребуются пояснения, — сказал Дан Арм, появляясь в дверях приемной, — я буду на месте в 16.00.

— Будет доложено, — безучастно отозвался дежурный.

Садясь в машину, Дан Арм украдкой посмотрел на свои руки, словно радиоактивное пламя, лизнувшее их, могло оставить след. Никакого следа, разумеется, не было. Все сделано чисто. Час за часом невидимые лучи будут пронизывать тело Наполеона, неуловимо сжигая клетку за клеткой. Медленный расстрел будет длиться, пока он читает доклады, отдает распоряжения, строит планы на будущее, радуется, сердится, смеется. Каждая минута, проведенная в кресле, будет приближать его к смерти.

Дня через два ампулу можно убрать, вернуть обратно в сейф — и ни малейших улик. Вскоре Наполеону покажется, что он простудился. Так, легкое недомогание. Пока он обратится к врачам, пока те поймут, чем он болен, пройдет достаточно времени. И кто догадается, откуда его сразила лучевая болезнь? При современном обилии расщепляющихся материалов жизнь то и дело обрывают слепые пули. Может быть, человек съел радиоактивную рыбу, случайно проскользнувшую дозиметрический контроль. Может быть, глотнул «горячую частицу», вырвавшуюся в воздух при подземном испытании. Может быть, на полиго-

не какой-нибудь олух ненароком рассыпал щепотку лучевого яда. Причин можно отыскать десятки, и все они укажут на слепой случай, злоеший своей исключительностью и таинственный, как любое фатальное стечение обстоятельств.

Этот выходец из мира теней Локк-Наполеон посмел преградить путь ему, генералу Дан Арму. Будет только справедливо, если он снова станет тенью.

Дан Арм посмотрел на часы. Вот сейчас Наполеон вернулся в свой кабинет. Вот он садится в кресло...

. . .

Оркестр, вздохнув, замолк, лафет замер у ворот кладбища, гроб поплыл на плечах, зеленые шинели втянулись в аллею, слева и справа осененную могильными крестами. Над фуражками смыкались ветви деревьев, уже отягченные пухлыми весенними почками.

Дан Арм не заметил, как подле него возник Моравский. Полковник шел, сутулясь больше обычного, тяжело вдавливая каблуки в сырой песок и дымя сигаретой. Он молчал, при каждом шаге его плечо касалось плеча генерала. Дан Арм не отстранялся.

Так, словно связанные незримой нитью, они прошли в толпе до лужайки, где среди прелой травы зияла яма, и по обоим ее бокам чернели холмики липкой земли. Тут процессия рассосалась, стало посвободнее. Заговорили речи.

Моравский поднял голову, глядя, как тусклый дым сигареты исчезает в тусклом небе.

— Генерал,— чуть слышно сказал он,— я не договорил тогда, в чем главный риск всей этой затеи с Наполеоном.

Дан Арм не повернул головы. Он стоял прямо, торжественно и скорбно, как и полагается стоять при отдании последнего долга боевому товарищу.

— Я все думал тогда,— продолжал Моравский, словно обращаясь к самому себе,— стал бы тот Наполеон Наполеоном, если бы окружающие знали, кем он будет?

Дан Арм немного повернул голову. Внешне лицо полковника ничего не выражало, но обостренное чутье подсказывало Дан Арму, что за этой маской блуждает многозначительная улыбка.

«Ну и догадывайся... трус»,— с презрением подумал Дан Арм.

— Светоч военного таланта...— доносилось от могилы.— Надежда нации генерал Локк... Смерть вырвала...

Утомленные ожиданием и речами, офицеры тихонько шептались. В их перешептываниях не было и тени сожаления о кончине Локка. Говорили о том, кто и как проведет вечер, какие изменения произойдут

в аппарате, кто пойдет вверх. «Дан Арм...— вдруг услышал генерал.— Теперь его надо держаться». — «Точно, — отозвался другой голос, — уж он-то вытянет...»

Дан Арм радостно встрепенулся. Внезапная мысль поразила его. Ведь он... именно он... тоже может стать Наполеоном! Может быть, он уже и есть тот новый...

Дан Арм покосился на нахохлившегося, как старый гриф, Моравского. «А вот моего будущего ты не раскусишь», — злорадно подумал генерал.

Однако, вернувшись в свой кабинет, Дан Арм, прежде чем сесть, все же внимательно осмотрел сиденье.

ЛЕДНИКОВАЯ ДРАМА

Бледное солнце мелькало в низких просветах туч. Ноздреватый снег лежал до горизонта и за горизонтом, и не было вокруг ничего, кроме тающего снега, а под ним льда, угрюмо потрескивающего и кряхтящего, будто от старости.

Кати брела, вслушиваясь в шорохи необычно ранней весны. Оставляя за собой цепочку следов босых ног, она дошла до скалистой гряды, за которой начиналось море. Минул уже третий год, как эта гряда проколола снег. И она выдвигалась все больше. На глаз было видно, что с позавчерашнего дня скала стала выше, гораздо выше, чем когда бы то ни было. Стоя на снегу, Кати уже не могла дотянуться до ее щербатых зубцов.

И море было не таким, как всегда в это время года. Пасмурные волны тяжело катились вдоль побережья, омывая черные камни, а им навстречу, срываясь с синих откосов льда, журчали пенистые струи ручейков.

Вид берега усилил тревогу. Племя Кати жило здесь с незапамятных времен, значит — вечно. Они твердо знали, когда и каким изменениям положено быть. Но уж который год все шло по-иному.

Кати соскользнула вниз с десятиметрового, почти отвесного откоса. Для нее это было пустяком. В свои шестнадцать лет она уже была великолепным охотником. Немногие могли тягаться с ней силой, ловкостью и сметкой — не удивительно, что глава рода, престарелая Оалу, давно и ревниво следила за успехами маленькой Кати.

Спустившись, Кати пересекла ручей, вытекавший из-под ледяного свода, и скорым шагом достигла кромки мягкой земли, так защищенной скалами, что при ясном небе здесь всегда было жарко и сильно грело солнце.

Самое диковинное было здесь.

Из черной и влажной земли топорщились тонкие прутики. Они появились здесь прошлым летом, и поначалу Кати приняла их за какую-то

незнакомую траву. Вела себя эта «травка» очень странно — жадно тянулась вверх, наливалась упругостью, зеленела невиданными прежде листочками. Когда мужчины собирали засохшую траву, приютившуюся летом среди льда и камней вот в таких укромных местечках, Нор хотел сорвать и эти побеги. Но Кати не позволила. Она и сама не знала почему.

Солнце наконец ускользнуло от преследования облаков. Его рассеянный свет коснулся обнаженных плеч Кати, согрел их, но девушка не заметила ласки. Пригнувшись, она разглядывала растеньице.

— Гибкое, твердое и сначала маленькое, — прошептала она. — Тут правда. А потом большое-большое. Может ли это быть?

Иноплеменник уверял, что из такой «травы» вырастет что-то огромное, шумящее, очень нужное. Иноплеменник появился глухой морозной ночью и вызвал страшный переполох, потому что по доброй воле никто не попадал в эти края. Его льдина оторвалась, когда он охотился, и множество дней и ночей его несло через море, пока не прибило к берегу. Молодежь еще ни разу не видела иноплеменника. Высохший от голода, страшно обмороженный, он жил тем не менее до самого полнолуния. А потом умер. Впрочем, его все равно убили бы и съели, потому что было, как всегда, голодно и еще потому, что Оалу боялась: выпущенный на свободу, он приведет сюда свое племя, ибо где еще в мире есть такие великолепные охотничьи угодья? Но пока он жил, он многое успел рассказать ухаживающей за ним Кати. И про эту «траву» тоже.

Осторожно, даже с опаской, Кати тронула один из тех странных наростов, которыми был усеян стебелек. Отломила его. Внутри под клейкими чешуйками обнаружилось что-то крохотное, нежное, зеленое — завязь будущих листочков.

Кати размяла их и понюхала. Вспышка догадки соединила все воедино: завязь, рассказ иноплеменника, стволы топляка, которые иногда прибывало к берегу.

— Маленькое станет большим, — громко сказала она. — Тот мужчина говорил правду...

Ее брови сдвинулись. Думалось трудно. Раньше ей казалось, что она умеет думать, но это было не так. Раньше все шло заведенным порядком: добывание пищи, еда, развлечения, сон — и опять все сначала. А за порогом всегда была однообразная стужа, и звери были одни и те же, год походил на год, и все было привычно, а над привычным разве задумываешься? Но прежняя жизнь начала сдвигаться куда-то все быстрее и быстрее, это вызывало удивление, беспокойство, рождало незнакомые мысли. Стужа слабеет — почему? Прилетают необычные птицы — откуда? Все меньше ловится белой рыбы — плохо, ох, плохо...

Память племени была коротка, и сородичам Кати было невдомек, что когда-то их предки бежали от голода, бежали от надвигающихся

льдов, бежали к теплу и дичи, пока дорогу не преградило море. Полуостров оказался западней, и хочешь не хочешь, а надо было приспособливаться. Большая часть племени погибла. Людей осталось мало, их и теперь было мало, но за несколько минувших веков прозябание на краю ледника стало для них единственно возможным образом жизни.

Теперь снова надо было что-то предпринимать.

А может быть, обойдется?

Кати вздрогнула. Ей показалось, что лежавший перед ней камешек сдвинулся с места. Она испугалась: живой камень! Потом превозмогла робость и сняла его.

Под ним, скрючившись, лежал бледно-желтый упругий росточек. Его заостренный коготь был чуть приподнят.

Кати едва не подпрыгнула от радости. Деревья, здесь будет много деревьев!

На берегу бухты, куда она вскоре вышла, трое мужчин чинили рыболовную снасть. Делали они это с ленцой и к появлению Кати отнеслись равнодушно. Только самый младший, Нор, поднял голову. Лицо его просияло.

— Еще не окончили?

В голосе Кати прозвучал упрек.

— Чего спешить, когда рыбы нет,— буркнул мужчина с красными, изъеденными дымом глазами.

— Как это нет рыбы, Хат? Рыба есть.

— Эта?

Не оборачиваясь, Хат швырнул к ногам Кати шипастую оливково-серую рыбину.

— Ешь сама.

Третий, заросший по самые глаза мужчина удовлетворенно кивнул: «Да-да, ешь сама». Нор в ярости сжал кулаки, готовый броситься на обидчика Кати. Но девушка молчала. Она думала.

Да, это была не та рыба, которой издревле питалось племя. Та, нежно-белая, гладкая и еще темноспинная, плоская, ловилась все реже, а вместо нее попадались вот эти уродцы, о которых умудренная опытом Оалу сразу сказала, что они ядовиты. Но Кати давно уже посещали сомнения. Откуда Оалу знала, что шипастую рыбу есть нельзя, если она ее не пробовала? Что-то тут было не так. Может быть, Оалу вынесла свой приговор, потому что обязана была знать все и на все давать ответы, как то положено главе рода? Может быть, боязнь обнаружить свое неведение заставила ее поспешить?

Племя постоянно жило под угрозой гибели, любой неосторожный шаг был опасен, и потому главе рода повиновались беспрекословно. Еще вчера Кати оставила бы сомнения при себе. Но сегодня был слишком необычный день!

Неожиданно для всех и для себя тоже она подняла рыбину, вырвала из нее внутренности и впиалась зубами в мясо. Нор вскочил, чтобы вырвать из ее рук отраву, но Хат намертво вцепился в него.

— Не мешай! — прорычал он. — Может, она сдохнет, а может, и спасет нас от голода.

Кати ела оливковую рыбу. Мясо было нежным, но непривычным на вкус. Впрочем, на вкус люди племени не обращали внимания. Съедобно или несъедобно — все остальное не стоило внимания.

Кати сплюнула чешую и отбросила обглоданный скелет. Мужчины смотрели на нее с почтением и страхом. Кати ждала, что ее желудок схватят судороги и она умрет. Но пока ничего не происходило. Она села на валун. Так они просидели более часа — Кати в центре, мужчины по сторонам. Они сидели и молчали, скрывая свои чувства. Тучи сошли с неба, стало жарко, мужчины сбросили с себя шкуры. Кати не шелохнулась. У Нора задрожали губы. Судорожно глотнув воздух, он схватил вторую рыбину и съел ее. Никто не возразил. Волосатый голодно засопел. Хат заговорил сам с собой.

— Оалу сказала: «Кто съест, тот сразу умрет». Кати съела и не умерла. Нор съел и тоже не умер. Они нарушили запрет. Зато они сыты. А Хат голоден. Кого должен слушать Хат? Мудрейшую или послушницу? Хат должен слушать свой желудок, вот кого должен слушать Хат.

Он взял две рыбины и одну протянул Заросшему. Тот отчаянно замотал головой.

— Оалу сказала «нельзя», — хрипло проговорил он. — Оалу мудрая...

— Кати еще мудрей! — звонко воскликнул Нор. — Колючей рыбы много, мы можем остаться где тепло.

— От тепла болеют, — неуверенно возразил Заросший.

— Тогда почему мы греемся у костра? — нетерпеливо спросил Нор.

Хат ничего не говорил — он доедал последнюю рыбину. В желудке становилось все теплее и теплее, и Хат был счастлив.

Заросший завистливо сглотнул слюну. Украдкой осмотрелся. Рыбы ему уже не осталось.

— Нам не надо идти за холодом, — громко сказала Кати, вставая. — Иноплеменник был прав: в тепле больше дичи.

— Что ты говоришь! — испугался Заросший. — Иноплеменники всегда лгут...

— Почему? — удивился Нор.

— Потому что они наши враги, — убежденно ответил Заросший.

— Ты думаешь словами Оалу, — сказала Кати. — А я думаю своими. И ты думай своими.

— С рыбой Оалу ошиблась, — вставил Хат.

— Кати мудрее ее, — повторил Нор.

— Да я что...— смутился Заросший.

В глубине бухты раздался громкий треск. Огромная глыба льда, подточенная водой, отделилась от ледника и, сверкнув хрустальной изнанкой, рухнула. Брызнули осколки.

— Скоро льда совсем не останется,— сказала Кати.— Надо думать, как жить дальше.

— Вот вы с Оалой и думайте,— сказал Хат.— А нам поторопиться надо с починкой и наловить побольше. Сегодня племя будет плясать.

Никто не заметил, как от скалы, прикрытая выступом, бесшумно отделилась чья-то тень. Притаившаяся Оалу все слышала. Но недаром уже столько лет она была главой племени. Если она многого не знала, то одно она усвоила твердо: спорить надо только тогда, когда исход спора заранее предreshен в твою пользу.

Оалу заспешила к пещерам, чтобы опередить Кати. Сделать это было нетрудно, так как Кати сначала помогла мужчинам наловить рыбы. Потом она взяла Нору за руку.

— Пойдем.

День был прекрасен, это был ее день. Когда они отошли поодаль, Кати сказала.

— Ты смелый, Нор. Сегодня день перемен. Сегодня, если ты хочешь, ты станешь моим мужем.

Нор обрадованно и нежно посмотрел на Кати.

Последний обрывок тучи было закрыл солнце, но оно стряхнуло с себя липкие объятия, и яркий, горячий свет залил побережье. В укромном уголке, где росло дерево, было тихо, и Кати с Норм были там счастливы.

— Теперь иди,— сказала наконец Кати.— Племя ждет улова, а мне надо поохотиться на куропаток.

Но на пути ей встретилась Оалу. Женщина ждала ее, всматриваясь с высокой скалы.

— Кати! — окликнула она.— Мы ждем тебя в пещере совета, чтобы слышать твоё слово.

— Мое слово? — удивилась Кати. Раньше ее никогда не приглашали в пещеру совета.

— Надо принять важное решение,— медленно и веско проговорила Оалу. Ее цепкие глаза внимательно смотрели на девушку.— Ты уже достаточно мудра, чтобы подать хороший совет. Я так считаю.

Услышанное польстило Кати. Хотя она больше и не верила в непогрешимость Оалу, в ее памяти жили благородные воспоминания о том времени, когда ей думалось, что именно недоступная другим мудрость Оалу оберегает племя от всех и всяческих бед. Кати почтительно наклонила голову. Оалу чуть-чуть усмехнулась.

— Пошли.

Когда-то Оалу была сильней всех женщин племени. Даже сейчас, на склоне лет, в ее походке была величавость, а под кожей рук перекачивались мускулы.

Пещера, где изредка совещались старейшины, располагалась в стороне от жилья, чтобы гомон и крики ребятишек не мешали раздумьям. Войдя, Кати увидела двух обычных советчиц Оалу. Те не шевельнулись при виде девушки, только Косматая бросила на нее быстрый взгляд.

В пещере было промозгло и холодно, хотя посреди уложенных кругом камней тлели угли, а в стороне лежал обломок драгоценного плавника, которым в любую минуту можно было оживить огонь.

— Вот мы и прибыли,— сказала Оалу, усаживаясь на плоский камень и знаком приглашая Кати сесть напротив.— Сначала буду говорить я.

Она помедлила. Потом вскинула голову. Глаза ее застыли и потемнели, словно там, в никому не ведомой дали, куда она смотрела, ей открылось нечто, никому более не доступное. Голос, когда она открыла рот, зазвучал глухо.

— Лед тает... Рыба уходит! Зверь меняет повадки. Голод подкрадывается к нашим пещерам! Тепло размягчает мускулы, сырость несет болезни. Страшные беды я вижу впереди! Что делать нам? Мы родились во льдах, наши предки жили во льдах и предки наших предков. Лед — наша кормилица и мать, а если мать уходит, то ребенок следует за ней. Таков высший закон. Иначе гибель. Гибель! Я сказала.

Советчицы тяжко молчали. Их темные лица были бесстрастны, как камни.

Потом они разом наклонили головы.

Неволью Кати захотелось сделать то же самое.

Усилием воли она стряхнула оцепенение.

— Я не понимаю,— робко выдавила она.— Я...

— Это потому, что ты молода,— сурово сказала Косматая.

— Молода,— эхом откликнулась вторая советчица, жилистая и худая, как рыбаья кость.

— Говори,— неожиданно разрешила Оалу уже обычным своим голосом.

Кати посмотрела на нее с благодарностью.

— Может быть, я и вправду молода,— начала она неуверенно,— но я не вижу причин для ухода. Исчезла одна рыба, появилась другая...

— Которую есть нельзя,— вставила Косматая.

— Которую я съела и которая не причинила мне вреда.

— Ты ослушалась Оалу?!

— Но я хотела спасти племя от голода...

— Без совета старших? — Косматая возмущенно взметнула кулак, но сдержалась и не ударила.— Дурной и пагубный пример,— прошипела.

ла она, тяжело дыша.— Если каждый начнет пробовать, что съедобно, а что нет, племя отравится еще до новой луны! Как ты, Оалу, могла пригласить ее на совет?

— Твоя правда,— сокрушенно покачала головой Оалу.— Я предупреждала всех, что незнакомая рыба может оказаться ядовитой, что пробовать ее надо тем, у кого много опыта, а до этого следует наложить запрет. Легкомысленно поступила Кати, легкомысленно!

— Почему же тогда запрет держался столько лун? — недоуменно спросила Кати.

— Чтобы избежать риска. Белая рыба могла вернуться? Могла. Значит, надо было ждать. Это разумно. А твой поступок неразумен. Поняла?

Кати была сбита с толку. Она ничего не понимала. Она же хотела сделать как лучше! И ей помнилось, что Оалу тогда ничем не оговаривала свой запрет... А сейчас оговорила. Почему сейчас, а не тогда?

Оалу ласково коснулась плеча Кати.

— Я прощаю тебя, потому что у тебя были хорошие намерения. Вернемся к делу. Как я понимаю, возражений против ухода нет. Остается выбрать путь. Я думаю, надо идти левым краем моря...

— Но теперь у нас рыбы вдоволь! — опять не сдержалась Кати.— Зачем нам холод?

Советчицы угрожающе заворчали. Оалу вновь укоризненно посмотрела на девушку.

— Да, Кати, я ошиблась. Ты молода, слишком молода... Но я отвечу тебе. Пока было холодно, ничего не менялось, и мы точно знали, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо. Знали, откуда ждать бед, и они не застигли нас врасплох. А теперь мы этого не знаем. Что может быть хуже? Одна рыба сменила другую, кто поручится, что не будет новых перемен? И что новая рыба не отравит племя?

— Прости, о мудрейшая, но иноплеменник, пришедший к нам из тепла, говорил, что дичи там вдоволь и что они не голодают...

Глаза Оалу вспыхнули.

— А-а, вот в чем дело! — медленно и зловеще протянула она,— Ты поверила нашим врагам. Понятно. Я нарочно не сказала о самом главном. О том, что иноплеменники ждут не дождутся, чтобы нас захватило тепло. Тогда они придут по суху и убьют нас! Ты, слепая, доверилась лживым словам! Ты влюбилась в иноплеменника, теперь я поняла, где корень твоего упрямства!

— Нет! — воскликнула Кати.— Нет! Я не потому! Что хорошего в холоде? Мы голодаем каждую зиму! Мы умираем от голода каждую зиму! Откуда тебе известны замыслы иноплеменников? Ты была у них и слушала их тайные речи? Нет! Если иноплеменник врал, то почему в море стало так много рыбы, почему птицы прилетают гуще, почему на

берегу начали расти деревья для наших костров? Солнце веселит кровь, солнце прогоняет болезни, а солнце все жарче и жарче! Чем, Оалу, тебе так любезен холод? Чем?

В грянувшей тишине слышалось лишь хриплое дыхание Косматой. Надменная Оалу сидела, закрыв глаза. Жилистая советчица напряглась, как для прыжка.

Кати никак не могла понять, что Оалу и ее советчики были привержены вовсе не к холоду. Оалу прекрасно сознавала, что теперь, после случая с рыбой, авторитет Кати сравнялся с ее собственным. Этого она боялась, ибо слишком хорошо знала цену жирного куска, который неизменно доставался ей как главе племени.

— Значит, ты против переселения? — с неожиданным миролюбием проговорила она. — Мои доводы тебя не убедили?

— Нет...

Оалу кивнула и задумалась. Такое спокойствие было в ее позе, что Кати устыдилась своей горячности.

— Хорошо, девочка. Приведу последний довод, надеюсь, он тебя убедит. Протяни руки.

Кати послушно протянула руки. Мгновенно их захлестнула ременная петля. Кати рванулась, но советчицы схватили ее за плечи и опрокинули.

Умело, без суеты женщины туго стянули Кати руки и ноги. Затем Оалу сорвала с нее одежду.

— Преступница, — спокойно сказала она. — Теперь ты сознаешься, что затеяла все из-за любви к иноплеменнику. Ты скажешь это всему племени.

— Нет! Неправда!

Оалу подала знак, и Кати уложили поперек очага. Косматая вздула угли и сунула туда несколько щепочек. Язычки пламени лизнули обнаженную грудь Кати.

Ее лицо почернело от боли, но она сдержала стон — как и все ее сородичи, она умела терпеть боль.

— Не сожгите ей грудь, — напомнила Оалу. — Мы не казним, а учим.

Она сама перевернула Кати на спину и усилила огонь несколькими каплями тюленьего жира. Стиснув зубы, Кати корчилась на камнях. Жилистая придерживала ее за плечи, чтобы она не сползла с очага. Оалу заняла прежнее место и удовлетворенно следила за мучениями девушки. Жестокое наказание не было редкостью в племени — вся жизнь их была жестокой борьбой за существование.

Женщины не торопились. Все было хорошо продумано. Никто никогда не осмеливался войти без разрешения в пещеру совета, поэтому они могли спокойно и долго истязать Кати, прекрасно зная, что есть предел любой выносливости и что рано или поздно строптивая упрямецка станет молить о пощаде. Оалу даже хотела, чтобы это случилось не

скоро. Убить такую охотницу было бы слишком нерасчетливо из-за малочисленности племени, к тому же это могло вызвать гнев остальных. Но если огонь успеет сломить ее силу — это хорошо. Сломленная Кати уже неопасна. И для других это отличный урок.

Со свода пещеры мерно капала вода. Слегка потрескивал огонь, его маленькие язычки весело плясали на углях, то и дело касаясь вздрагивающего тела Кати. Жилистая советчица была голодна и не понимала, почему Оалу не хочет убить и съесть преступницу — ведь она такая молоденькая, упругая и вкусная. Косматая вообще ничего не думала, за это Оалу в свое время и возвысила ее. Сама Оалу с тайной радостью следила за муками дерзкой Кати.

«Вот тебе за твою молодость, за твое неуважение, за твою силу», — беззвучно шептали ее губы. Она выгребла несколько углей и, жмурясь от удовольствия, положила их на живот Кати.

Но Кати не стонала.

Пытку она воспринимала как должное. Она была глупа, не предусматривала опасности, вот и попалась. Но суровая жизнь ее закалила. И еще она ненавидела Оалу. Поэтому и молчала. Она боролась молчанием, другого оружия не было.

Где-то совсем в другом мире послышались голоса. Кто-то шел мимо пещеры. Кати жадно прислушивалась. Она не ошиблась: это был Нор!

Уже не рассудок, а боль заставили ее закричать.

— Нор, Нор, меня убивают! Помогите!

Оалу лишь усмехнулась. Уж кто-кто, а мужчина не отважится войти в пещеру.

Голоса замерли. Можно было легко представить, как испуганно переглядываются мужчины, как нерешительно топчутся у входа.

— Нор, Нор! — звала Кати.

Ей был ответом топот ног, бегущих прочь от пещеры.

Кати зарыдала.

— Я больше не могу... За что?!

Оалу самодовольно улыбнулась и уменьшила огонь. Рано. Нужно, чтобы обезумевшая Кати выла и униженно плакала — тогда она станет покорной.

Внезапно чья-то тень закрыла вход. Оалу гневно вскочила. В пещеру боком двинулся Нор, сжимая в руке топор. За ним несмело полезли остальные — он созвал все племя.

— Не смей! — грозно закричала Оалу. — Здесь судят преступницу!

Кое-кто попятился. Лицо Нора исказилось. С хриплым выкриком он прыгнул к Кати, сбросил с очага, рванул с нее путы, угрожающе поднял топор. Кати обессиленно прислонилась к нему. Люди у входа неодобрительно загудели. Их ошеломило самовольство Нора, но поведения Оалу они тоже не могли понять. ведь Кати только что дала всем еду!

— Назад! — махая руками, вопила растерявшаяся Оалу. — Иначе у вас нет больше главы племени!

Советчицы, тоже вооружившись топорами, двинулись на Нора. Передние подались прочь под натиском Оалу — слишком велик был ее авторитет. Еще мгновение, и люди племени, напуганные собственной смелостью, очистили бы пещеру.

Но внезапно заговорил Хат.

— Кати насытила нас, а ты, Оалу, нет. Посторонись.

Он раздвинул тех, кто стоял перед ним, вышел вперед, закинув топор за плечо. Голова Хата упиралась в свод пещеры.

— Эх!

Его топор со звоном лег между Оалу и Кати.

И все поняли, что сегодня им придется сделать выбор.

ВЕК ТОЛКИНА**(К 100-летию со дня рождения писателя)****Пролог. Оксфордское чудо.**

На карте Страны Фантазии знаменитый английский «город колледжей» помечен особым знаком. Сколько дивных сказок и умопомрачительных фантастических историй было сочинено здесь, в Оксфорде, в тиши кабинетов, воистину хранивших пыль веков, или во время прогулок по окрестным тенистым рощам!

В середине прошлого века студенты местного Крайст Чёрч колледжа (что означало «колледж при Христовой церкви») слушали лекции по математике одного молодого профессора; согласно уставу этого учебного заведения он одновременно обязан был занимать пост диакона в церкви. Лекции его, по свидетельству современников, особой популярностью не пользовались — монотонные, сухие, без проблеска юмора... До болезненного застенчивый холостяк, к тому же страдающий от постоянного заикания, профессор преображался лишь в обществе детей. Водопады шуток и забавных каламбуров, разного рода чудачеств, в изобретении коих преподобному Чарлзу Лютвиджу Доджсону (так его звали) не сыскать было равных, щедро низвергались на головы благодарных маленьких слушателей.

А какие он сочинял сказки!.. Во время одной из лодочных прогулок, которые были столь популярны в городе, раскинувшемся на живописных берегах Темзы, молодой преподаватель принялся рассказывать юным спутницам еще одну, только что сочиненную невероятную историю. Случилось это точно в полдень 4 июля 1862 года.

Он не знал тогда, что это был самый солнечный полдень его жизни (хотя досужие биографы раскопали-таки, что в тот исторический для литературы день было прохладно и накрапывал дождичек...). И что столетие спустя придуманная им история послужит невольной причиной забвения его подлинного, не отличавшегося благозвучием имени. Зато обессмертит другое, выдуманное: Льюис Кэрролл.

Автор «Алисы»...

На тихих церковных кладбищах Оксфорда покоятся еще трое знаменитостей, произведения которых по праву украшают мировую фантастику. Во-первых, это ученый-теолог, моралист и почтенный оксфордский дон (так по традиции именуют местных преподавателей, входящих в советы колледжей) Клайв Стэплз Льюис; известность ему принесли

детские сказки о волшебной стране Нарнии, а также популярная в свое время научно-фантастическая трилогия — романы «Полет на Венеру», «Перельяндра» и «Эта странная мощь». Что касается второго — Чарлза Уильямса, автора рассказов о сверхъестественном, «ужасном», то нашему читателю это имя, полагаю, прозвучит вновь (да и Льюиса-то у нас знают всего по одной-двум переведенным сказкам), однако и его не обходит молчанием ни одна солидная история англоязычной фантастической литературы.

В жизни Льюис и Уильямс были закадычными друзьями. настолько близкими, что даже совместно основали орден — литературный кружок под названием «Инклинги» (от английского ink — чернила, а также inkling — намек), объединивший натур возвышенных и романтических, не чуждых фантазии и обладавших чувством юмора. Со временем «Инклинги» превратились в своего рода местную литературную достопримечательность, хотя и весьма экстравагантную по меркам чинного и добропорядочного Оксфорда.

Однако был еще третий «отец-основатель», также оксфордский дон, хорошо известный в академических кругах своими исследованиями по средневековой английской литературе. Его могила появилась на католическом кладбище, что за городом, относительно недавно.

Серая плита из корнуоллского мрамора навечно скрыла от любопытства коллег-филологов и миллионов восторженных поклонников того, кто заслужил титул одного из самых читаемых авторов второй половины XX века. И не только в Англии — во всем мире. На мраморе высечено имя: Джон Роналд Руэль Толки. И цифры, часовыми выстроившиеся по обе стороны этой долгой, растянутой на целых восемь десятилетий жизни: 1892—1973.

Есть на могильной плите (под которой он похоронен вдвоем с женой, Эдит Мэри Толкин) еще два странных имени-прозвища, словно принесенных из какой-то древней легенды: Берен и Лютъиен. Но что они значат, ведомо, очевидно, лишь тому, кто не раз перечитывал книги Толкина...

Большую часть жизни он практически безвыездно провел в Оксфорде. И хотя конкуренция у него, как мы видим, серьезная, жители городка теперь гордятся им не в меньшей степени, чем Льюисом Кэрроллом.

...Все было так, как описал его биограф Хамфри Карпентер. Я без труда нашел дом, в котором писатель провел годы после выхода на пенсию (это было время, когда слава уже нашла его, но он еще сохранял сдержанно-ироническое отношение к поднявшейся в литературном мире шумихе). Для этого следовало сначала выехать из центра города на мост Магдален, затем проехать немного по Лондон-роуд, взобраться на холм, где расположены респектабельные, но скучные на вид пригороды Хедингтона, и возле частной школы для девочек не прозевать поворот налево...

Небольшая улочка Сэндфилд-роуд, как и век назад, оказалась застроенной двухэтажными кирпичными домами с неперменным крошечным садиком перед фасадом. Дом номер 76 расположен в самом ее конце. Белое здание почти совсем скрыто за нависающими деревьями, высоким забором и дублирующей его живой изгородью. Но сквозь узорчатые ворота ограды все же можно разглядеть ведущую в дом короткую дорожку, теряющуюся в пышных розовых кустах.

Казалось, двустворчатые двери вот-вот раскроются, и выйдет маленький старик в твидовом пиджаке и жилете, которых уже давно никто не носит, не спеша, по-старинному степенно раскурит трубочку и, вероятно, улыбнется про себя, не переставая удивляться той кутерьме вокруг, которая все растет как снежный ком, и конца этому не видно. (Впрочем, до сонного Хедингтона тогда, в конце 60-х, доносились только слабые отголоски бури, что разразилась по обе стороны Атлантического океана...)

Этот мой очерк посвящен ему.

Первые читатели прочтут его скорее всего в один из месяцев 1992 года. А в самом начале года — 3 января у могилы Толкина на старом оксфордском кладбище соберутся, я уверен, толпы народу. По всему миру прокатится волна научных конференций, и выйдут десятки новых статей и книг о нем (число которых уже во много раз превысило написанное им самим). И, не сомневаюсь, переиздадут — в который раз! — собственные сочинения писателя, отчего сердца десятков миллионов его поклонников забьются сильнее; ведь сколько уже было переизданий, а потребность в этих книгах все никак не иссякает.

Короче, мир торжественно и даже, может быть, в некотором изумлении отметит столетие его рождения.

Писатель заслужил юбилейные торжества — хотя бы потому, что книги его прочно вошли в обиход любимого чтения миллионов взрослых и детей, включены в школьные хрестоматии и университетские курсы истории литературы XX века. А изумленно встречаем юбилей потому, что все это, кажется, было еще совсем недавно: триумфальный его выход на авансцену сначала английской и затем мировой литературы, почти религиозный культ, в который боготворившие его читатели превратили каждую написанную им строчку, все сметающая на своем пути лавина академического «толкиноведения»...

А мы, его поклонники в стране, еще недавно представлявшей ее жителям самой читающей страной в мире! Наконец-то мы примкнули к этому всемирному литературному пиршеству (как ни досадно признать, вероятно, одними из последних) — и уже юбилей? Только-только начал массовый читатель открывать для себя нового, доселе неизвестного автора — а это, оказывается, давно признанный миром классик?

Впрочем, какой он, если задуматься, «классик»... Свое столетие писатель встречает совсем в ином качестве.

Сегодня для нас это один из самых читаемых современных авторов, чьи книги погружают читателей в самую глубь мучительных проблем повседневности! И как знать, может быть, именно на закате нервного и чреватого столькими тревогами века нам позарез нужна его мудрая и светлая сказка, в которой без труда разглядишь себя самих, свои заботы, свое время.

Сказать про судьбу книг Толкина «удивительная», «невероятная», «сногшибательная»... — подберите любой эпитет в том же духе сами! — значит, ничего не сказать. Не было еще в истории литературы книги со столь странной судьбой, как сочинение почтенного профессора из Оксфорда. Странной по многим параметрам и прежде всего по редкой солидарности в оценках двух, обычно полярных, групп читателей — массового читателя и элитарной академической критики.

Не всуе было произнесено имя Льюиса Кэрролла — вот, пожалуй, с кем Толкин может потягаться по праву! Оба почтенных оксфордских дона вроде и не подозревали, что пишут, подумать только, нечто великое; они вообще не относились серьезно к напавшему на них увлечению, однако именно оно обессмертило их имена... Видно, в самом воздухе Оксфорда было разлито что-то особенное, а может, нашептал на ухо ветер, гулявший по опушкам окрестных дубовых рощ, но так случилось, что оба, Кэрролл и Толкин, сочинили по фантастической книге (второй распространил свой замысел на гигантскую по объемам трилогию, плюс томик-пролог да посмертно вышедший еще один пролог... в то время как первый ограничился книгой-продолжением). И судьбу обеих книг также можно охарактеризовать одним и тем же словом: фантастическая.

Впрочем, лучший способ не поддаваться эмоциям — это просто привести факты. И цифры.

В 1937 году Дж. Р. Р. (так сокращенно зовут сегодня Толкина во всем мире) выпустил детскую книжку «Хоббит, или Туда и обратно». В 1954—1955 годах последовало ее продолжение, сказочная трилогия «Повелитель Колец». Потом вышли еще четыре тоненькие книги стихов, эссе и прозаических фрагментов. И наконец, в 1977 году под редакцией сына писателя, Кристофера, выходит посмертно последняя книга, приходящая к трилогии, — «Сильмариллион». Итого пять солидных томов объемом почти в две тысячи страниц плюс еще «кое-что».

Другие цифры. В 1965 году книги Толкина изданы массовым тиражом в США и за последующие 6 лет переизданы 40 раз и переведены на десятки языков мира. А в октябре 1988 года журнал «Локус» сообщил о новом издании «Хоббита» и трилогии, попутно приведя данные об общем тираже и количестве переизданий.

Эти цифры заслуживают того, чтобы подумать о них на досуге. Одно только американское издательство «Баллантайн» с 1965 года выпустило около 100 (!) изданий трилогии тиражом, приближающимся к

20 миллионам экземпляров. Общий тираж «Хоббита» в том же издательстве приближается уже к полутора десяткам миллионов. Плюс издания английские — монопольные права до сих пор держит и не собирается ни с кем делиться издательство «Аллен энд Анвин», плюс «престижные» издания в твердом переплете и роскошные, в тисненном золотом переплете издания с цветными иллюстрациями... Общий тираж произведений Толкина на сегодняшний день составляет восьмизначное число, а вышедшая на волне успеха книга «Сильмариллион» по скорости занятия первых строчек в списках бестселлеров (а также по времени, в течение которого она смогла там удержаться) превзошла вообще все, доселе виданное в западной книгоиздательской практике.

И последний ряд цифр. В 1960 году филолог Марджори Вейт защитила в Иллинойском университете первую диссертацию по Толкину. После этой единственной капли — почти пятилетняя «засуха», а потом будто плотина прорвалась: во второй половине 60-х годов только на английском языке выпущено 6 отдельных книг, посвященных Толкину, за следующее десятилетие — 29 и наконец, в 1980—1988 годах — еще 17.

Более полусотни отдельных книг о Толкине за неполных три десятилетия. (Можно себе представить, сколько их наберется к юбилею писателя!) Интересно, что же привлекло специалистов-филологов (и как оказалось, не только их) в «сказочке» английского писателя?

Попробую бегло перечислить. Разумеется, я не собираюсь выписывать все полсотни названий, приведу только избранные, чтобы у читателя создалось ясное впечатление, какой это сегодня пестрый и любопытный мир — толкиниана.

Как и следовало ожидать, большинство работ — это литературоведение и критика (всех мыслимых видов и оттенков). Кроме того, это плодящиеся из года в год биографии писателя (из которых только одна была «авторизована» самим Толкином — книга Хамфри Карпенстера, на нее я уже ссылался).

На полке страстного почитателя Толкина соберется неплохая коллекция различных энциклопедий и справочников, целиком посвященных предмету обожания. Это, к примеру, роскошная — другого слова не подберешь! — иллюстрированная энциклопедия Дэвида Дэй «Толкинский бестиарий», солидные труды Карен Уинн Фонстад «Атлас Средьземелья» и Роберта Фостера «Путеводитель по Средьземелью»; и даже... подробнейший (с нанесенными уровнями высоты и тщательно выверенным масштабом) географический атлас «Путешествия Фродо», профессионально составленный Барбарой Стрэйки!

Толкину посвятили свои научные работы лингвисты Джим Аллен («Введение в эльфский и другие языки, включающее в себя правописание имен собственных, грамматику и синтаксис Третьего Века в западных областях Средьземелья. По опубликованным работам профессора

Дж. Р. Р. Толкина») и Верлин Флигер («Расщепленный свет. Логос и язык в мире Толкина»). Ученые-структуралисты — Дэвид Харви («Песнь Средьземелья. Темы, символы и мифы Дж. Р. Р. Толкина») и Рэндел Хелмс («Мир Толкина», «Толкин и сильмариллы»). Религиоведы и культурологи — тут наберется с добрый десяток самых разнообразных книг: «Миф, символ и религия в «Повелителе Колец» Сандры Майзел, «Искусство Толкина (английская мифология)» Джейн Ницше, «Мифология Средьземелья» Рут Ноэль... Наконец, это антропологи — например, фундаментальная работа Карен Рокоу на такую, казалось бы, «специальную» тему, как «Погребальные обряды в трилогии Толкина»...

Разумеется, массовый читатель искал и находил в книгах Толкина совсем не то, что могло бы взволновать специалиста. Но какая-то опосредованная связь этих двух «взрывов интереса» — несомненна (есть произведения, справочно-критической литературы по которым еще больше, — например, по почти легендарному головоломному «Улиссу» Джойса, но кто слышал, чтобы подобные произведения зачислялись в любимое чтение «масс»?)

Тем более интригуяща эта связь, что вскоре к двум волнам увлечения Толкином прибавилась третья. На сей раз взрыв прогремел в американских университетских городках-кампусах.

Подумать только! Благообразный старец, всем радостям жизни предпочитавший добрую прогулку в одиночестве или же сидение часами в плетеном кресле-качалке с любимой трубкой в зубах, — и вмиг превратился в идола нового, шумного и взбалмошного поколения. А по-старому целомудренная сказка, написанная неспешно и обстоятельно, непостижимым образом заняла свое место рядом с томиками признанных кумиров этого поколения — Керуака, Гинзберга, Маркузе и Мао, став — которой по счету? — «новой библией хиппи».

И теперь в нью-йоркском районе богемы и молодежного бунта — Гринвич-Вилледж, на майках и жетонах его пестрого населения можно было прочесть (вместо привычного «Занимайтесь любовью, а не войной») странные надписи типа: «Фродо жив!» или «Вперед, Гандальф!»

Впрочем, популярность трилогии в Америке легко объяснима, если вспомнить, что значит для «среднестатистического» жителя этой страны сказочное чудо Диснейленда, превращенное в легенду пионерско-ковбойское прошлое, предприимчивость. Да и возвращенное с малых лет чувство внутренней свободы, ради обретения которой воистину ничего не пожалеешь.

И еще одно. Толкин трепетно любит своего читателя, в его книгах начисто отсутствует элитарное высокомерие, и рассказывает он свою длинную сказку, как это делали сказители прошлого, неспешно и предельно ясно. Словесные выкрутасы — не для него, поразительной глубины он достигает теми же средствами, что (я лично глубоко убежден в этом) и большинство действительно великих писателей, — простотой.

Простотой изложения, а не мысли, что не одно и то же. А массовый американский читатель любит, чтобы автор не «умничал», а внятно, по порядку изложил, что и как.

Трудно представить, чтобы новомодный культ остался незамеченным. Потянулась сначала робкая, а затем все более напористая толпа подражателей, множились интерпретации — одна безумнее другой; и вот наконец родилось и обрело права гражданства в западном литературоведении слово «толкиниана».

Источник всей этой шумихи стал модой дня, и теперь кто только о нем ни писал: теологи, психиатры, фрейдисты, экзистенциалисты, глашатаи «новых левых», либералы, консерваторы и центристы... Только одного человека, похоже, вся эта суеда если и беспокоила, то самую малость — Толкина. Осознавал ли он в полной мере, что выходит из его пишущей машинки? Вряд ли. Скорее всего разгоревшиеся вокруг его сочинений страсти самого виновника происходящего вначале позабавили, а потом не на шутку озадачили.

Во всяком случае почти два десятилетия после выхода трилогии «Повелитель Колец» писатель молчал. Баснословный успех прямо-таки за руку тянул на дальнейшую разработку счастливо найденной жилы, а Дж. Р. Р. только ухмылялся, наблюдая за растущим ажиотажем, пытался себе трубочкой и продолжал тихо-мирно заниматься научными изысканиями.

Он вообще в жизни мало суетился, не метался, в консерватизме своем оставаясь англичанином до мозга костей.

И самое, наверное, интригующее из тысячи и одной загадки его личности — это те самые восемьдесят лет жизни, которые могли бы послужить ключом к разгадке литературного феномена по имени Толкин, но... не стали. Жизнь как жизнь, начало еще «побаловало» биографов драматическими событиями, а затем решительно ничего экстраординарного.

Почти полвека — однообразное чередование социальных ролей: ученый, преподаватель, муж, отец.

Ничего, конечно, особенного, если не считать пяти книг, невесть откуда вынырнувших на поверхность этой на удивление бедной деталями биографии...

Жизнь и книги

Кажется, первые же записи в этой биографии опровергают только что сказанное про «бедность деталями». Ибо родился будущий писатель в месте, не сказать чтобы обычном, наоборот — экзотическом: в Африке!

...Мартовским днем 1891 года английский пароход «Рослин Каствл» отчалил с берегов Альбиона, взяв курс на Южную Африку. Среди пассажиров была девушка по имени Мейбл Саффилд, которой только что

исполнился 21 год. Ближайшее будущее виделось ей в красках преимущественно радужных: в Блумфонтейне, тогдашней столице независимой Оранжевой республики, ее ждал жених — служащий Африканского банка Артур Руэль Толкин.

Познакомились они на родине, а поженились в далекой Африке. После венчания в кейптаунском кафедральном соборе — произошло это событие 16 апреля 1891 года — и медового месяца на побережье молодые отправились в глубь страны, в Блумфонтейн.

«Столица» тогда была еще, по сути, просто большой деревней; для жителей метрополии это место навевало понятную тоску. Но что делать — в Блумфонтейне у Артура Толкина был какой-никакой, а заработок, позволявший сводить концы с концами. Поначалу юной супружеской паре с трудом удавалось сделать это, так как незадолго до свадьбы, как на грех, обанкротились сразу оба их родителя — и старший Толкин и отец Мейбл! (Хотя она еще помнила лучшие времена, когда Джон Саффилд владел процветающим мануфактурным «делом»...)

Однако главное, что молодые любили друг друга и свой собственный рай в шалаше они умудрились создать и в суровой, негостеприимной Африке. К Мейбл потом часто возвращались в памяти те счастливые часы, когда ей удавалось-таки вытащить мужа из-за его проклятой конторки и вместе сыграть партию-другую в теннис или в гольф или даже почитать что-нибудь друг другу вслух.

Вскоре прибавились новые заботы — впрочем, радостные: Мейбл Толкин сообщила мужу, что беременна. И в ночь на 3 января родила ему сына, которого окрестили в том же соборе, где они венчались. Имя, данное мальчику при рождении, полностью звучало роскошно: Джон Роналд Руэль. Однако много лет спустя писатель вспоминал, что с этим тройным именем вечно выходила путаница. Редкие одноклассники удосуживались произносить имя полностью (да и какой школьник вынесет такое!), предпочитая пользоваться прозвищами. В конце жизни читатели и многочисленные поклонники перешли на всем известное, общепринятое ныне сокращение — Дж. Р. Р. ...

Первая в его жизни фотография была сделана, когда малышу исполнилось несколько месяцев. В плетеном кресле сидит строгая и немного чопорная Мейбл (эффект нацеленной фотокамеры, перед которой так нелегко выглядеть естественно-непринужденной), а рядом в тропическом белом костюме и соломенной шляпе канотье стоит красавец-денди с огромными черными усами. Это Артур Толкин. И наконец на заднем плане трое слуг, а на руках у няньки — белобрысый младенец, сощурившись, с видимым интересом ожидает обещанную дядей-фотографом «птичку».

На семейном фото все, как и положено, символизирует мир и покой. В реальной жизни, однако, проблем хватало. То слуга-негр «похитил» мальчика и целый день продержал его в краале (оказалось, лишь

затем, чтобы похвастать перед другими слугами); постоянно нужно было опасаться змей. А раз мальчик случайно наступил на ядовитого тарантула, и если бы не оказавшаяся поблизости нянька, мужественно и быстро отсосавшая яд из ранки, мир, вполне возможно, потерял бы великого писателя, автора знаменитой трилогии... Эпизод с тарантулом постоянно будоражил память Дж. Р. Р.— не оттого ли он с таким «сладострастием» описывает в своих книгах гигантских злющих пауков и прочих ядовитых гадов и насекомых?

Одним словом — Африка... Собственно, как следует проникнуться экзотикой мальчик так и не сподобился — а было б время, как знать, не приобрела бы мировая литература в таком случае второго Хаггарда, Буссенара или Майн Рида. Ведь окружающее казалось точно списанным со страниц их книг: алмазные копи, легендарные грабители, буры, кафры... Однако беспощадно палящее солнце оказалось чересчур вредным для здоровья Дж. Р. Р., и собравшийся семейный совет постановил: Мейбл с детьми (когда будущему писателю исполнилось два года, на свет появился его маленький брат Хилари Артур Руэль) возвращаются в Англию, что же касается Артура, то он присоединится к ним позже, когда приведет в порядок свои банковские дела.

Так, спустя четыре года Мейбл вновь ступила на борт парохода, но теперь она была не одна. А в детской памяти Дж. Р. Р. Африка оставила лишь какие-то мозаичные осколки: несколько выученных слов на языке буров африкаанс, знойное дыхание южноафриканской пустыни — вельда, того самого проклятого тарантула... А об отце сохранилась картинка и вовсе крошечная, какая-то незначущая — застывший кадр из сцены прощания в кейптаунском порту: на крышке семейного сундука отец старательно выводит краской «А. Р. Толкин»...

Мог ли мальчик предполагать, что отца своего он больше никогда не увидит!

По прибытии в Англию Мейбл с детьми приютили в отчем доме. Тихая деревушка Кингс Хит неподалеку от Бирмингема на время принесла долгожданное отдохновение от тревог и хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Да и что было тревожиться, пока все складывалось как нельзя к лучшему: дружелюбная, веселая семья, поправлявшееся здоровье Дж. Р. Р. и ожидание скорой встречи с Артуром. Всю весну и лето он писал, что очень скучает по жене и малышам и ждет не дождется, когда можно будет бросить все дела и мчаться назад в Англию...

А затем, когда зачастили противные ноябрьские дожди, из Африки прилетели тревожные вести. Артур Толкин подхватил где-то инфекционный ревмакардит, и, хотя состояние его улучшается, во всяком случае до весны о его переезде в Англию не может быть и речи.

Рождеству в тот год в доме радовались одни только дети, не подозревавшие, что происходит; что касается настоящей елки, то она привела

Дж. Р. Р. в неописуемый восторг (куда там до обряженного игрушками эвкалипта, как было в прошлый год!). И сразу же по окончании праздников Мейбл принимает решение отправиться к мужу в Блумфонтейн.

Но... человек, как учили набожную Мейбл, предполагает, а Бог располагает. 14 февраля пришла телеграмма, из которой следовало, что Артур Толкин перенес сильнейшее кровоизлияние и его близкие должны подготовиться к худшему.

На следующий день отца будущего писателя не стало. Похоронили его там же, в Блумфонтейне, на англиканском кладбище. Дж. Р. Р. за долгие без малого восемь десятилетий так ни разу и не собрался посетить могилу отца.

Овдовевшей Мейбл на этот раз пришлось столкнуться с самой настоящей бедностью, ибо доходов с капитала, положенного Артуром в банк, едва хватало на жизнь. Вопрос, экономить или нет на образовании для детей, матерью даже не ставился: на всем, чем угодно, только не на здоровье детей и не на их обучении... На первых порах она сама постарается стать для сыновей образцовой учительницей; как-никак, а Мейбл сносно владела французским, латинским и немецким, умела рисовать и немного играла на фортепьяно. А потом... потом она что-нибудь да придумает.

Домашнее образование уступало школьному в методичности и глубине, зато снабжало множеством любопытных знаний, не доступных обычному школьнику.

Так, от тетки Грейс маленький Дж. Р. Р. узнал, откуда пошел род Толкинов. Конечно, в подобных генеалогических «копаниях» — а ими занимались во многих семьях английского среднего класса — красивые легенды пышно декорировали действительные факты; но для впечатлительного мальчика все это было донельзя важным. И он с гордостью впитывал очередную историю о своем дальнем предке из императорского рода фон Гогенцоллернов, который будто бы воевал под началом австрийского эрцгерцога Фердинанда во время осады Вены в 1592 году и даже захватил штандарт турецкого султана. За тот подвиг ему и присвоили прозвище Безрассудно-храбрый (Tollkuhn) — так гласила семейная легенда...

О том, что корнями род Толкинов уходил на континент, ясно говорит хотя бы родовая фамилия, которую чисто английской никак не назовешь (произносится она по правилам, кстати, именно так: Тол-кин, а не Толки-ен или как-то еще). Скорее всего кто-то из французских предков писателя, носивших ту же «кличку», но звучавшую уже как Дю Темерер (du Temeraire), попросту эмигрировал в Англию, спасаясь от гильотины в лихом 1793 году... Как бы то ни было, писатель неоднократно подчеркивал, что интересом к нордической мифологии и культуре средневековой Франции он обязан своей генеалогии. Пусть и в слегка романтизированной версии тетки Грейс.

В действительности семья Толкинов к моменту рождения первенца никакими благородными «корнями» похвастать не могла. Артур Толкин, как и все его «видимые» предки, принадлежал к обедневшим английским буржуа, тысячи подобных семей населяли промышленные пригороды Бирмингема. И если мы вспомним любимого писателем Бильбо Бэггинса — недалекого, хитрого и пуще всего почитавшего комфорт и душевное спокойствие, то вот вам и социальная родословная его создателя!

Тем временем — стояло лето 1896 года — Мейбл Толкин посчастливилось отыскать объявление о сдаче крестьянского дома в деревушке Сейрхоул, всего в миле от города. Условия были вполне приемлемые, и семья немедленно переехала в деревню.

Столь прозаически — «переезд в деревню» — это событие звучало разве что на слух измотанной домашним трудом Мейбл. Для четырехлетнего Дж. Р. Р. свершилось открытие совершенно нового мира, который во многом сформирует его как писателя: мира английской провинции, или, как англичане называют ее, «кантрисайд» (то есть все, что за городской чертой). Мальчик открыл для себя такие понятия, как «луг» (где так славно было бегать взапуски), «старая мельница» (конечно, полная тайн, а возможно, и привидений), «старый фермер» (прозванный Черным Великаном-людоедом), «песчаный карьер», «лесная чаща»... Словом, все то, что составляет нормальное детство и чего у маленького Толкина никогда не было в Африке.

В это же время он впервые идет в школу, а мать, как и планировала, начинает самостоятельно заниматься с детьми иностранными языками и правописанием. До седых волос сохранил Дж. Р. Р. любовь — да нет, какую-то ненасытную страсть к языкам; и до последних дней его почерк поражал аккуратностью в странном сочетании с какой-то просто буйной изобретательностью.

Кроме того, он оказался чрезвычайно прилежен в ботанике, поражая своими познаниями во всем, что касалось деревьев. Он не просто знал их и любил рисовать (еще один рано проявившийся талант), но постоянно стремился быть рядом с каким-нибудь деревом. Будто прислушивался постоянно, не нашепчет ли ему что ветер в листве.

Наверное, нашептал...

Когда речь идет о писателе, редкий исследователь пройдет мимо детского чтения своего героя. В случае с Дж. Р. Р. получается картина более чем странная.

Он рано прочитал «Алису в Стране Чудес» и подобно миллионам детей во всем мире влюбился в эту великую сказку «для больших и маленьких». А вот «Остров сокровищ» не принял, как, впрочем, и сказки Андерсена. Зато неожиданно — неожиданно для тех, кто полагает, что создал цельный образ автора «Повелителя Колец», — полюбил рассказы про индейцев и часто шастал по окрестным лесам и оврагам с луком

и стрелами и, разумеется, орлиным пером в волосах... И наконец нашел поистине свое чтение — скандинавские легенды, книги английского писателя Джорджа Макдональда, позже названные критиками первыми ласточками ныне популярного жанра фэнтези, и особенно сказки Эндрю Лэнга, где полным-полно было драконов, благородных рыцарей и прекрасных принцесс.

Он на всю жизнь запомнил одну из них, в которой житель какой-то сказочной северной страны викинг Сигурд убивает огнедышащего дракона Фафнира. «Я так страстно желал повстречаться с драконом... Естественно, будучи маленьким и не очень сильным, я бы не хотел встретиться с ними на окраине. Но все равно мир, где они были, даже такие страшные, как Фафнир, представлялся мне куда более богатым и прекрасным. И чтобы попасть туда, я бы не постоял за цену».

Не слышится ли в этих словах голос будущего Фродо Бэггинса, замороженного рассказами о геройском походе его дяди Бильбо против огнедышащего дракона Смога?

И как только мальчику стукнуло семь лет, произошло событие закономерное, коль скоро речь идет о будущем писателе, и знаменательное. Юный Толкин начал сочинять свою первую историю «про драконов».

Мальчишеская биография стала писательской...

В канун 1900 года, когда вся Англия торжественно праздновала «бриллиантовый» юбилей королевы Виктории, в семье случились изменения, вызвавшие бурю негодования со стороны отца Мейбл. Не без подначки сестры она вдруг решила принять католичество. В одно из воскресений братья Толкины с удивлением обнаружили, что мать повела их не в англиканскую церковь, а какую-то другую, расположенную среди трущоб бедноты в самом центре Бирмингема.

Для отца Мейбл это была трагедия: его дочь связалась с «гнусными папистами»! Результатом стал непоправимый удар по семейному бюджету Толкинов, и так дышавшему на ладан. Муж сестры Мейбл запретил жене и думать о католичестве; после смерти Артура он иногда помогал деньгами Мейбл, теперь иссякал и этот источник помощи. И все же Мейбл проявила характер и, вопреки давлению родственников, начала готовить детей к принятию католичества.

А осенью 1899 года Дж. Р. Р. успешно выдержал экзамены и поступил в старинную школу, носившую имя короля Эдуарда (в ней когда-то учился его отец). Школа находилась в самом центре Бирмингема, в четырех милях от дома, и с тех пор Толкин приобрел навык к длинным пешим прогулкам — заплатить за проезд в поезде денег у семьи не было, а трамвай так далеко за черту города не ходил...

Однако долго это продолжаться не могло, и беззаботной жизни на лоне природы пришел конец. Мейбл подыскала новую квартиру поближе к школе, и оба брата Толкины с сожалением расстались с деревен-

ским коттеджем, где прошли четыре года их детства. «Всего четыре года,— вспоминал писатель,— но они до сих пор кажутся мне самыми продолжительными и повлиявшими на всю мою жизнь».

Впрочем, дети редко предаются меланхолии по ушедшему — и в промышленном Бирмингеме маленький Дж. Р. Р. нашел себе неожиданное развлечение: его внимание привлекли надписи на огромных самосвалах, перевозивших уголь. Написано вроде было по-английски, но как произносить эту абракадабру, Толкин не знал. Так он открыл для себя древний, однако все еще живой язык жителей Уэльса — валлийский, в коем позже приобрел авторитет специалиста с мировым именем.

В школе он познакомился с энергичным преподавателем по имени Джордж Бревертон, который ввел мальчика в еще один древний язык — староанглийский. После того как Бревертон продемонстрировал классу, как звучат «Кентерберийские рассказы» на языке Чосера, все переложения английской классики на новоанглийский потеряли для будущего писателя всякий интерес. Чуть позже он впервые прочтет знаменитый литературный памятник — анонимное переложение одной из легенд о короле Артуре, «Сэр Гзвейн и Зеленый рыцарь»; предстоит ему и новая встреча с викингом Сигурдом и драконом Фафниром — только теперь он прочтет, хотя и с трудом, эту историю в оригинале — на древнем норвежском.

Короче, ему уже ясно, куда направить стопы после окончания школы: в лингвистику, в историю средневековой английской литературы.

...Несмотря на нужду, это пока все-таки достаточно безоблачный период жизни: игры, школа, упорный мир книг, открывшийся благодаря новому другу семьи, местному священнику Фрэнсису Моргану. Однако судьба безжалостно наносит еще один удар, разом положивший конец этому короткому, недожитому детству.

В самом начале 1904 года у матери обнаруживают острый диабет. Она ложится в больницу, где спустя полгода умирает.

Остановимся на минуту. Детство будущего писателя оборвалось до обидного рано, он уже испытал и горечь утрат, и одиночество, и радость вновь обретенной семьи (Джона с братишкой забрала к себе тетка). Не много ли для двенадцатилетнего подростка?

Где-то в подсознании все эти потрясения раннего детства отлились в устойчивый символ. Яркий полдень, согретый теплом понимания и любви, внезапно налетевшая туча, принесящая с собой горечь утраты,— и снова синее безоблачное небо. Только черная туча не собирается уходить, зловеще маячит на горизонте — да собралась взрослая морщинка на еще детском лице.

Читателю этот символ встретится не раз. Путь героев Толкина долг и труден, и хотя отправляются в дорогу обычно в полдень, путешественникам придется хлебнуть всякого: и горя, и отчаяния. И справиться со

Злом — какая ж сказка без этого? — и совершить множество подвигов, и повидать другие страны. И домой вернуться целыми и невредимыми — но вернуться другими, изменившимися...

Вот где сказка Толкина отвернет от канонов. Никогда его героям не обрести прежней безмятежности, не могут они и уповать на лелеемый героем знаменитого романа Булгакова покой. Все равно что-то неуловимое сдвинется в их душах, сердцем завладеет беспричинная тоска, а губы искривит грустная улыбка мудреца, знающего, что черная туча — вон она, все еще висит неподвижно в отдалении...

Нельзя сказать, что ранняя смерть матери надломила Дж. Р. Р., однако с тех пор в нем уживалось как бы два совершенно различных человека. По природе своей он был открытым, милым и приветливым жизнелюбом, не терявшим чувства юмора, любившим добрую беседу и постоянно находившимся в движении. В искусстве создавать друзей у него было мало равных. И в то же время опубликованные уже посмертно письма и дневники Толкина открыли его читателям образ совершенно иной: глубоко погруженного в себя пессимиста, подверженного безотчетной грусти и даже приступам отчаяния.

Впрочем, разве это трудно было вычитать в его книгах? То, что все, увы, проходит и ничего нельзя сохранить надолго. То, что никто и ничто не может считать себя в безопасности. Ни одна битва не может быть выиграна полностью — и победитель еще ощутит грусть от собственной победы...

Как отчетливо воспоминания детства запечатлены в творчестве писателя! И пусть это не с биографической точностью выписанные эпизоды, не конкретные факты — но образы, символы, неуловимые смены настроения, поразившие в ранние годы жизни, мы непременно встретим в книгах, созданных десятилетия спустя.

Но вернемся к биографии Толкина. Рано осиротев, он особенно остро нуждался в любви и человеческом тепле. В 16 лет Джон встречает девушку Эдит Братт — соседку по новому дому, куда с помощью отца Моргана перебрались братья Толкины. Она была красавицей — или только казалась ею Джону, но какая разница! — сероглазая, черноволосая... Дружбу молодых людей, незаметно для них самих перешедшую в любовь, расстроит теперь только смерть; случится это, впрочем, не скоро.

Правда, поначалу серьезно осерчал отец Морган, для него было ударом известие о «выходке» воспитанника: вместо того чтобы прилежно заниматься, завести интрижку с девицей старше себя на три года! К счастью, со временем гнев опекуна поулегся, однако пожениться молодые люди смогли лишь в 1926 году. («Как это ужасно — ждать целых три года!» — записал студент Толкин в дневнике...)

Сколько же всего произошло до этого! Годы учебы в Оксфорде, первые же серьезные увлечения литературой (в дополнение к уже выу-

ченным языкам добавились новые: древнегреческий, даже «экзотический» финский, на котором Толкин смог наконец прочесть «Калевалу»), прерываемые более прозаической страстью — регби. Поездки в Швейцарию и Францию. А тут еще разразилась мировая война, которую молодой лейтенант Толкин провел также во Франции... Однако все испытания благополучно миновали молодых Дж. Р. Р. и Эдит; даже ее предполагавшаяся помолвка с другим человеком благополучно расстроилась в самый последний момент!

Можно только позавидовать этой паре. У них все было, как в самой настоящей сказке: они жили долго и счастливо, воспитали четверых детей и оба умерли в глубокой старости...

И все. Юность Дж. Р. Р. кончилась, и вместе с нею ушли из его жизни невзгоды. Оставшиеся полвека протекали на редкость спокойно: блестящий знаток средневековья, уважаемый профессор, чуть старомодный во вкусах и пристрастиях домосед, любящий муж и отец.

Но юность с ее переживаниями оказалась на редкость плодотворной почвой, на которой «взошел» целый мир, придуманный Дж. Р. Р., — с многовековой историей, мифологией, географией, языком (и не одним, а множеством).

А началось все с того, что в самый канун 1930 года молодой профессор англо-саксонской литературы в одном из оксфордских колледжей начал как бы между прочим сочинять детскую сказку о смешном и трогательном народце — хоббитах. К тому времени он уже не единожды пробовал себя в сказочном ремесле, однако на сей раз интуиция подсказала ему, что эта книжка выйдет в нечто серьезное (в отличие от всех предыдущих попыток, которые и по сей день издаются как «второстепенный Толкин»...) «Взяв чистый лист бумаги, я написал своим неподражаемым почерком одну-единственную фразу: «В норе под горой жил-был хоббит». Почему именно ее, я не отдавал себе отчета — и по сию пору это для меня загадка. В течение нескольких лет я не продвинулся ни на шаг вперед, только вот карту нарисовал... Но в начале тридцатых годов, это совершенно точно, из одной написанной фразы возник «Хоббит».

Правда, еще раньше в специальную записную книжку, озаглавленную «Книга потерянных историй», он начал вносить различные отрывочные сведения о том, что позже читатели и критики назовут «толкинской мифологией». А сама так и не законченная и не обработанная рукопись после смерти писателя была отредактирована и приведена в божеский вид сыном Толкина Кристофером, став таким образом четвертой, а фактически первой книгой, томом-прологом знаменитой трилогии, получив название «Сильмариллион», что на языке эльфов означает «Книга о сильмариллах» или трех главных волшебных жемчужинах, с которыми связана долгая и возбуждающая история...

А «Хоббита» (название имело подзаголовок: «..., или Туда и обратно») писатель все-таки закончил. И после того как рукопись провалилась какое-то время без дела, попытался пристроить ее в солидное лондонское издательство «Аллен энд Анвин», с которым молодой филолог был связан раньше.

Появившаяся в 1938 году книжка разошлась неплохо, хотя сенсации и не произвела. И все-таки издатель посоветовал начинающему автору подумать над продолжением. Эх, если бы каждому молодому таланту сопутствовали в самом начале карьеры такие редакторы и издатели!

Дж. Р. Р. совету няя — и задумался. Думал он не один год, и счастье, что не торопился с «ответом».

Как он жил все это время, пока занимал пост профессора в Оксфорде?

По его многочисленным биографиям можно восстановить его облик и образ жизни — но разве это что-нибудь объяснит в том волшебстве, в том таинстве под названием «творчество», которое и привело к рождению удивительной книги!

Был старомоден и консервативен в своих привычках. Со времени начала второй мировой войны у Толкина не было машины, а вместительный гараж в доме на Сэндфилд-роуд был быстро приспособлен под комфортабельный чулан, ставший «филиалом» его солидной библиотеки.

Много читал и писал — в основном по специальности. На полках чулана теснились словари, научные труды по этимологии и филологии, многочисленные тексты на староанглийском и старонорвежском; и позже, конечно, особая полка ломилась под тяжестью переводов его собственной трилогии — на десятках языков. К стене кнопками была припиlena нарисованная им самим карта Средиземелья. На полу — большая корзина для писем, две пишущие машинки, чернильница и разбросанные везде огрызки карандашей... Беспорядок и разгром, хорошо знакомые и столь милые сердцу всякого, чьи единственные рабочие инструменты составляют перо и бумага!

Неизменную трубочку держал скорее с ритуальной целью. Страстным курильщиком, судя по воспоминаниям знавших его людей, не был — так, несколько колечек в воздух...

Не чурался коллег, организовал и принимал деятельное участие в работе общества «Инклингов», трудился над комментариями к переводам средневековой английской литературы. Словом, на вид это был типичный оксфордский дон — «даже временами являл собой талантливую карикатуру на оксфордского дона», замечает его добросовестный биограф Хамфри Карпентер. И тут же считает нужным добавить: «По существу, кем он воистину не был, так это старым добропорядочным профессором. Как будто некий дух унес его с собой вон из Оксфорда, тело осталось, а душа бродила где-то далеко-далеко, по лугам и горам Средиземелья».

...Итак, ему предложили написать продолжение «Хоббита». Писателем он до той поры себя не числил, хотя и сочинял время от времени стихи, поэтому начал с более привычного, на чем успел набить руку, собирая материал для «Книги потерянных историй»: стал с дотошностью истинного специалиста достраивать свою бесхитростную сказку всякого рода научными приложениями. Вычерчивал генеалогические древа своих персонажей, придумал и зазубрил намертво воображаемый календарь своей сказочной страны, ее хронологию — отсюда один шаг оставался до создания «исторического фона»! — изобрел алфавит. Все это позже материализовалось в десятках «сопроводительных» страниц убористого текста!

Кстати, у рождающейся под его пером страны появилось название: Middle Earth — Средьземелье; происходит оно от древнего скандинавского Milgaard — Средняя Земля, Средний Мир, в отличие от Мира Верхнего, небесного, и Мира Нижнего, подземного.

Свершилось непредвиденное. Количество, грозившее похоронить всю идею под лавиной выдуманных фактов, перешло в новое качество. То, что мыслилось приложением, обратилось в суть. И из внешне бесхитростной детской сказки по кирпичику был выстроен целый художественный мир — в буквальном смысле слова мироздание. Его уже невозможно было удержать в голове, он рвался на бумагу, неописуемо разрастался в размерах, заполняя собой все пространство и время.

Работа над «продолжением» затягивалась; сначала десятки, а в скором времени уже сотни страниц выходили «из недр» пишущей машинки, на которой профессор Толкин неумело, двумя пальцами стучал месяц за месяцем, изо дня в день...

Однако и эта работа была прервана в самом начале. Разразилась мировая война, вторая на памяти Толкина, но не сравнимая с первой по количеству пережитого и пролитой крови.

Гуманист, на собственном опыте испытывавший «животный ужас окопов» (его собственные воспоминания о сражениях на Сомме), не мог закрыть глаза на творившееся вокруг. Да и можно ли было отсидеться за бастионами средневековых манускриптов в то время, как из «черных туч» реальности, застилавших небосклон, сыпались на землю бомбы. (Сам Оксфорд не бомбили ни разу, но лежавший севернее город Ковентри асы Геринга буквально сравнивали с землей.)

Толкина война пощадила — как уже было сказано, отмеренную ему чашу жизненных испытаний он к тому времени выпил сполна, — сохранив ему сыновей. Старший был священником и, по счастью, вовремя успел эвакуироваться из Рима, где учился в духовной академии, а младшего не взяли в армию по болезни; только средний сын всю войну прослужил зенитчиком. Но через Оксфорд шли бесконечные обозы с ранеными и эвакуированными, и стареющий профессор все это смог наблюдать собственными глазами: горе, страдания, смерть.

Так задуманная совершенно вневременной сказка наполнилась образами и деталями, которые потом оказались до боли знакомы читателю, пережившему годы войны.

Конечно, Толкин намеревался оставить сказку сказкою, избегая прямых аналогий. Но известно ведь: писатель как губка впитывает все, что видит и слышит; а как после трансформируются эти впечатления, в каких образах причудливо преломятся, заранее угадать не рискнет, пожалуй, никто.

И еще он подсознательно задумался, наверное, о том, о чем стали говорить повсеместно, но уже после войны. И после того, как мир узнал о Бомбе.

Как далеко может завести жажда Власти, оснащенная чудесами технического прогресса (в его, толкиновском, Средьземелье это, конечно же, магическая сила древних Колец). И что может противопоставить этому разлагающему соблазну властью не герой и не предводитель масс, а простой, обычный маленький человек. И можно ли победить темную Власть, и что для этого нужно, и чем придется заплатить за победу.

И можно ли уповать на помощь какого-нибудь доброго волшебника или придется всегда и во всем рассчитывать только на самого себя.

Гигантская книга в трех томах — а это: действие, простирающееся на два полнокровных года, плюс еще детальная хронология на предшествовавшие шесть с половиной тысяч лет (!) и более чем сотню последующих; три с половиной сотни персонажей; шесть десятков прекрасных песен, стихотворений и баллад, «переведенных» с языка эльфов и других народов, населявших Средьземелье; и кто в силах сосчитать, сколько сюжетных и смысловых пластов! — была завершена только в конце 40-х годов. Одно издательство ее поначалу отвергло — потом, очевидно, локти кусали от досады! — а приняло то же, «Аллен энд Анвин».

Первый том трилогии «Властелин Колец» — роман под названием «Братство Кольца» — вышел в свет в 1954 году. А год спустя появились два других — «Две башни» и «Возвращение короля».

И имя Джона Рональда Руэля Толкина отныне было навечно вписано в историю мировой фантастической литературы.

Жизнь книги

О чем же там идет речь, в этой книге? Попробуй ответить...

А в «Войне и мире» или в ее американском эквиваленте, романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», — о чем? Мало сказать, что о войне, и о мире, и об унесенных ветром перемен человеческих судьбах. Настоящую литературу вообще не так-то легко разять на составные части и каждую снабдить указующей этикеткой.

Трилогия Толкина — это... Что ж, начнем перечислять.

Сказ о героической одиссее, о богатом приключениями военном походе. Эпическая хроника мира Средьземелья. Повесть о простом человеке-«винтике», волею судьбы вознесенном к ее сокровенным рычагам, управляющим мирозданием. Моральная притча о коррумпирующей сущности власти — и «исторический» рассказ о том, как последняя была низвергнута с трона. Философский роман об извечной битве и трогательном, многими упорно не замечаемом единстве Добра и Зла, и о личной ответственности каждого за свершенное однажды неверное деяние.

В какой-то мере книга действительно представляет собой то, что перечислено выше, — но ведь и многое другое! (Я просто выписал подряд, без разбору, интерпретации нескольких американских и английских литературоведов из одного-единственного сборника статей — «Толкин и критики», вышедшего в 1968 году.) Фантазия, мифопоэтика, аллегория, эпос, символическая проза — а также романтическая, религиозно-назидательная, просто сказочная или приключенческая... Называйте, как хотите, используйте какой угодно литературоведческий термин — все подойдет.

Это не преувеличение. Подходящего обобщающего термина творению английского писателя не отыскать просто потому, что не было до того в литературе ничего подобного.

Разумеется, сказки писали и раньше, но никогда на сказочном фоне и сказочном материале не разворачивалось действие по-настоящему «взрослого» романа. Никогда до Толкина не создавали эпических сказочных полотен. И никогда еще моральную притчу не раздували до полноты тысячи страниц...

Трижды ересь — с точки зрения накатанных филологических канонов (я не убежден даже, что правильно употребляю все эти специальные термины в отношении трилогии Толкина). Но ведь никогда и не следует основываться на канонах, если имеешь дело с произведением столь новаторским и не поддающимся каким бы то ни было сравнениям. Это все последующее, написанное в том же духе, еще можно определять словом-новоделом «толкиниана», а вот для обозначения им самим созданного никаких умных слов придумано не было.

Однако, не влезая в дебри терминологии, о трилогии Толкина чаще говорят как о произведении сказочном. Однако эта «сказка» столь же далека от традиционной, как сражение у Шевардинского редута в романе Толстого — от битвы Щелкунчика с Мышиным Королем в повести-сказке Гофмана. Все в «Повелителе Колец» так — и не так, как в обычных сказках...

Смущают прежде всего масштабы.

Мир традиционной детской сказки с неизбежностью ограничен, даже тесноват. Иначе нельзя — детское сознание «широкоформатное»

полотно может и не осилить. А у Толкина это грандиозная, космических масштабов мистерия, это сотни активно действующих лиц и необычная уже для романа-эпопеи временная детализация, буквально до часов продуманная хронология. Короче, целый художественный Мир — открытый, изменчивый, буквально рвущийся со страниц.

И все же, если задаться мыслью написать аннотацию к этой гигантской, живущей своей внутренней жизнью книге... Для этого необходимо сделать мысленный шаг назад и сначала перечитать еще раз детскую книжку-пролог, которой Толкин предварил свою эпопею.

История грандиозной Войны Колец начинается с внешне «камерного» путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, персонажа, героя детской сказочной повести «Хоббит, или Туда и обратно». Все, что предшествовало походу — а это десятки наполненных событиями столетий и судьбы сотен персонажей, — будет подробнейшим образом описано в посмертно вышедшем «Сильмариллионе» (разумеется, первые читатели «Хоббита» еще не подозревали, как далеко занесет их фантазия автора).

Подзаголовок книги Толкина сразу наводит на мысль о путешествии-кольце фольклорных сказок и мифов. Впоследствии в других произведениях его герои еще не раз возвратятся к тому месту, откуда начали путь, уже иными, изменившимися, с ворохом неизбежных обретений и потерь; да и сам образ Кольца приобретет другой, более важный смысл. Но в этой первой сказке, написанной для детей, автор счел нужным как-то подготовить своих юных читателей.

Отправляясь в путь, будьте готовы к потерям...

События в «Хоббите» буквально срываются с места в один ничем не примечательный «апрельский» день (календарь ведь не наш — средиземельский, но благодаря «справочному материалу», помещенному в заключительном томе трилогии, есть возможность пересчитать все даты на знакомые нам дни и месяцы!); целиком же повествование занимает ровно год.

День воистину обещал быть самым обыкновенным, ведь хоббиты отродясь ведут существование размеренное и спокойное, а тут как снег на голову валится компания развеселых гномов под водительством доброго волшебника Гандальфа. Вообще-то хоббиты, и Бильбо в частности, терпеть не могут такого вот незапланированного вторжения в их налаженную жизнь — и ладно бы только сумасшедший день закончился импровизированной пирушкой!

Все оборачивается по-иному. У Гандальфа есть какой-то план, Гандальф знает много того, что навсегда осталось скрыто от Бильбо (а до знакомства с тремя томами главной книги Толкина неведомо и читателю). «Для начала» волшебник приглашает добропорядочного хоббита принять участие в совершеннейшей аванюре — идти воевать страшного дракона, наводящего ужас на окрестные города и села! Правда, Гандальф намекает на какие-то сокровища, будто бы ждущие победителя,

но все равно это совсем не та жизнь, о которой мечтал смиряга-домосед Бильбо... Однако волшебнику совершенно точно известно, что возглавить героический поход должен не воин и не силач-богатырь, а непременно «маленький хоббит».

Так спокойной жизни Бильбо Бэггинса приходит конец.

Так иногда прерывается и наша устроенная, размеренная и, кажется, расписанная на многие годы вперед жизнь. Прозвучит призывная труба, и пора собираться. Если, конечно, ты не трус и не бездушный циник, и мир для тебя не замыкается на собственной хате, которая с краю.

Но именно таким — равнодушным — английский писатель и «доверяет» свершение героических подвигов. Им, а вовсе не королям, воинам или колдунам; последние только статисты на поле битвы, где на священный бой со Злом выходит обыкновенный маленький человек. Правда, в данном конкретном случае не совсем обыкновенный: Бильбо не трусливого десятка, бескорыстен, милосерден; конечно, он маленько побурчит иной раз по поводу пропущенного завтрака или отсутствия в пути комфорта, к которому привык, но это так, для виду. В груди маленького ростом, во всех отношениях недалекого хоббита бьется огромное, горячее сердце.

В конце концов после множества приключений, встреч (большей частью приятных) и испытаний (как правило, смертельных) Бильбо — с помощью Гандальфа, гномов и других примкнувших по дороге союзников — удается победить дракона. На сем — и последовавшим затем пиром, где сказочник «был, мед-пиво пил...» — детская сказка благополучно и закончилась бы.

Но только не сказочная книга-прелюдия Толкина.

Потому что во время похода случилось одно происшествие — из числа тех, которые «просто так» в сказках не случаются. На первый взгляд — эпизод, но, как покажут дальнейшие события, описанные уже в книгах трилогии, резко изменивший ход всей истории Средьземелья.

В норе мерзкого существа — Голлюма Бильбо нашел кольцо.

Необычное кольцо. Кольцо, делающее его обладателя невидимым. И, как узнает читатель чуть позже, обладающее куда большей магической силой, способное повлиять на будущность всего окружающего мира. И это Кольцо нашел простой хоббит Бильбо Бэггинс.

Удача? Или назвать это другим словом, столь могущественным в мифах и сказаниях разных народов: судьба? Но ведь Бильбо никто не выбирал на роль Героя, даже Гандальф, подталкивая усидчивого хоббита на опасное предприятие, говорил о героях с едва скрываемой иронией. И получается, что судьбу свою маленький хоббит выбирает сам...

Книга заканчивается прозаической тяжбой Бильбо с родными, вздумавшими распродать добро «пропавшего без вести» хозяина дома. Но что-то нам, читателям, невесело от этого комически-приземленного

финала, мысль постоянно возвращается к «невystрелившему ружью» — к таинственному кольцу, дающему его обладателю невидимость. А еще что?..

Об этом — о Кольцах Власти и вселенской битве Добра со Злом — рассказывают тома трилогии «Повелитель Колец». Начав читать ее, вскоре забываешь и о Бильбо и о походе на свирепого дракона — столько событий нам предстоит пережить вместе с героями эпопеи, в такую упорную жизнь погрузиться, что, право же, все описанное в «Хоббите» и впрямь предстает мелким эпизодом. Затерявшимся где-то на исторической обочине грандиозных потрясений, взорвавших мир Средьземелья!

...С домашнего празднества начинается и первый том трилогии — «Братство Кольца». Снова в разгар пирушки недобрым вестником появляется откуда-то Гандальф, и опять вместе с ним в сонный Хоббитон приходит тревога и предощущение смертельной опасности. Гандальфу известно о ней, темной тучей сгушавшейся вокруг ничего не подозревающего обладателя злополучного Кольца; долгие годы поисков и «исторических разысканий» позволили проникнуть в тайну магического амулета и слегка приоткрыли возможное будущее, ожидающее обитателей Средьземелья.

Поэтому Гандальф мягко и в то же время настойчиво уговаривает Бильбо передать Кольцо племяннику, Фродо Бэггину. Тот моложе, и предстоящее приключение его дяде явно не по силам.

Предстоит ведь — ни много ни мало — выбрать собственную судьбу. И в какой-то мере обозначить дальнейший путь для всего Средьземелья! Конкретно предстоит отправиться в мрачное царство зла — страну Мордор (а по-английски это созвучно слову murder — убийство) и там уничтожить зловещее Кольцо, за которым не первый год охотится Черный Властелин этой страны — злой волшебник Сарон. Нешуточная ответственность, но отчего-то Гандальф твердо верит, что младший Бэггинс не подведет.

Между прочим, они отличаются, эти два Бэггинса! Если старший был просто захвачен в водоворот событий (и главную баталию, как оказалось, «прозевал», валяясь в беспамятстве), то Фродо делает свой выбор осознанно. Все, что волшебник знает о таинственных Кольцах Власти, он постарается передать молодому хоббиту, но вот тяжесть индивидуального решения разделить с ним не сможет...

Это важная этическая «вешка», помогающая лучше понять нравственное послание, заложенное в «Повелителе Колец».

Свободный выбор думающего человека — на этом и ни на чем ином строится здание нравственности в мире Толкина. Не на беззаконии и анархии (что было бы странно для писателя-христианина, каковым до последних дней оставался Джон Толкин), но и не на слепом следовании догме; а именно на свободном выборе, основанном на знаниях.

Чтобы прийти к нему, к альтернативе — использовать власть Кольца или уничтожить его и саму Власть, — участники похода должны в совершенстве знать историю. Ее изучал Гандальф; приходит время, и он делится полученными знаниями с теми, кому выпадет нелегкая ноша решать.

Насколько же она недетская, эта удивительная сказка! Волшебник, сам обладающий немалой магической силой, если и вмешивается в ход событий, то крайне редко, больше помогая советом. Решают, действуют, сражаются за свою свободу обитатели Средьземелья — сами.

Впрочем, хотя нравственный выбор и индивидуален, для защиты от сил Зла (а они велики) нужно и объединяться: один в поле не воин... И мудрый сказочник заботливо подбирает Фродо добрую компанию друзей-соратников; среди них первым по праву должен быть назван благородный странствующий волшебник Гандальф — один из самых привлекательных персонажей трилогии.

...Еще во время путешествия в Швейцарию летом 1911 года молодой Джон Толкин, тогда выпускник школы, купил среди прочих открыток одну, ничем не приметную, репродукцию картины немецкого художника И. Маделенера. Картина называлась «Дух гор» и изображала седобородого старика, сидящего на валуне под гигантской сосной и ведущего неспешную беседу с молодым фавном; все это — на фоне утопающих в дымке сказочных гор...

Что так пленило молодого ученого-филолога в этой романтической картине, он сам тогда не понял. Но открытку сохранил; и спустя много лет на конверте, в который она была вложена, надписал: «Отсюда пошел Гандальф».

Гандальф символизирует в толкинской эпопее силу под стать волшебной силе Колец — мудрость. Мудрец потратил годы, даже десятилетия, чтобы открыть тайну происхождения Кольца, и, вероятно, столько же времени, чтобы найти ему «противоядие». Он отыскал Фродо и убедил его отправиться в путь — ибо так складывались их судьбы, что никто, кроме Фродо, не справился бы с поставленной задачей. (Нет, многие смогли бы достичь Горы Судеб и успешно миновали б все преграды — кроме одной: самого Кольца, дарующего абсолютную власть над миром... Фродо, верил Гандальф, устоит и перед этим искушением.) И хотя его прямое вмешательство в ход событий сведено к минимуму, вряд ли без духовной поддержки волшебника выполнил бы маленький хоббит свою миссию.

Так знание, мысль не только не тормозит, но и активно способствует действию. Запомним и это тоже.

...А началось все давным-давно, за тысячелетия до описываемых событий. В пламени вулкана Горы Судеб кузнецами-эльфами были выкованы семь магических Колец Власти для гномов и еще девять — для простых смертных (не считая колец прочих, менее могущественных).

Правитель Мордора, военачальник Сарон сначала помогал эльфам, но, как оказалось, с корыстными и далеко идущими целями: захватить главное, Первое Кольцо; закаленное особым способом, оно принесло бы его обладателю власть почти безграничную. Это Кольцо управляло бы всеми остальными, и целый мир Средьземелья лег бы у ног Сарона. К счастью, предводитель кузнецов тайно выковал еще Три Кольца (известные как Кольца Королей Эльфов), и вот до этих-то Сарону никак не дотянуться...

Но он все-таки сумел закалить свое Первое Кольцо, и оно подавило «добрую волшебную силу» семи гномовых и девяти «человечьих». Все попытки эльфов бороться с Черным Властелином терпели крах, пока они не сообразили заключить союз с людьми. И пращур одного из героев трилогии, доблестного короля Арагорна, победил в жестокой схватке Черного Властелина, отрубив ему палец, на который было надето заветное Кольцо.

И в этом месте повествование снова резко сворачивает с проторенной колеей традиционной сказки.

Вспомните, чем в ней обычно завершалась победа Добра над Злом? Известно чем: обещанной победителю короной, принцессой и полцарством в придачу.

И это справедливо, думали анонимные сказители на протяжении столетий.

Автор «Властелина Колец», сам проживший и переживший «без четверти» XX век, полагал иначе. В его книге первый тревожный звонок слышен уже в пересказанной старинной легенде о предке Арагона. Вместо того чтобы немедленно уничтожить Кольцо, тот поддался искушению власти; она его в конце концов и раздавила...

Искус Власти с большой буквы — мотив, очевидно, привнесенный нашим, уходящим в историю столетием.

Претендентов на мировое господство, казалось, хватало во все прочие эпохи писаной истории. Но амбиции завоевателей редко простирались на души людей: властолюбцы более интересовались территориями, золотом, рабами, пышными нивами и богатыми городами. Однако власть над всем этим отнюдь не создавала чувства стабильности и непререкаемости ее самой, заговоры, восстания и войска иных правителей с течением времени ставили крест над самой дерзкой мыслью править абсолютно, вечно.

А главное Кольцо, которое случайно подобрал гнусный Голлум и случайно же (впрочем, о каком случае может идти речь в сказке!) «отдал» его Бильбо Бэггинсу, гарантирует как раз такую Власть с большой буквы. Непреодолимую, абсолютную, растлевающую и тех, кто властвует, и находящихся под ее пятой.

Удивительно... Впервые, наверное, в богатой сказочной традиции волшебное Кольцо Власти оказывается совершенно непригодно для добрых дел!

Но вернемся к предыстории описываемых событий. С помощью того же Голлума Сарон узнает, что Первое Кольцо, считавшееся бесследно пропавшим, находится у некоего хоббита Фродо Бэггинса, который во главе небольшой компании затевает отчаянный поход в самое сердце владений Сарона — в страну Мордор. И злой волшебник принимает меры...

Все, историческая экспозиция завершена. Далее пойдет собственно сюжет, и все полторы тысячи страниц читатель, затаив дыхание, будет следить за захватывающими приключениями, сопереживать героям в тяжелых испытаниях, свалившихся не только на плечи отважной и трогательной в своем беззащитном героизме компании, но всех без исключения обитателей Средьземелья.

А испытания не заставят себя ждать. Преследования зловещих Черных Всадников, лазутчиков Сарона, козни предателя Сарумана, кровопролитные битвы, осады крепостей, пленения, побеги... Путешественники посетят жилище гостеприимного лесного чародея Тома Бомбадила, примут участие в военном совете, имевшем место во дворце короля эльфов Эльронда, — а в скольких они побывают тавернах и постоялых дворах, где подают добрый эль и где принято коротать ночи напролет, расспрашивая странников о чужеземных диковинах!

Но не избежать им и других приключений, куда менее приятных. Придется пробираться по мрачным заколдованным местам, опускаться в зловонные подземелья и скрываться в заброшенных коях в самом сердце владений Сарона... пока наконец Фродо в одиночку не достигнет спрятанной в горах башни, где вот уже несколько столетий пылает неугасимый огонь, в коем одном только и можно уничтожить злополучное Кольцо.

Тяжко придется храбрецам — силы Зла неисчислимы, и уже многих вчерашних союзников совратил — все той же жаждой Власти, будь она неладна! — коварный и безжалостный властелин Мордора. Другие полегли в битвах... Тяжесть положения усугубляет еще и то обстоятельство, что ни Фродо, ни его спутники Сэмуайз и Пиппин совсем не похожи на былинных героев-воинов.

Впрочем, это обстоятельство героев Толкина не останавливает. Несмотря на эпические битвы и частый звон мечей, в книгах трилогии неизменно, раз за разом побеждает... отнюдь не оружие! Оно тоже, увы, необходимо и воителям за правду, а такие персонажи, как принц Арагорн, исправляющий «историческую ошибку» своего близорукого предка, вынуждены творить добро мечом (без этого произведение Толкина оставалось бы просто сказочкой, бесконечно далекой от треволнений нашего века). Однако не Арагон во главе своего воинства совершает главный подвиг, предопределив общую победу сил добра.

Это делает Фродо Бэггинс — мирный, хотя и отважный «маленький хоббит» (все время так и тянет сказать: «маленький человек»), взваливший на свои плечи неподъемную ответственность за все творимое в окружающем мире.

Фродо-герой — это тема отдельного разговора. Как мне представляется, еще не состоявшегося на страницах литературно-критической толкинианы.

История сделала из маленького хоббита героя — разумеется, при этом она проявила и заложенные в нем нравственные качества. Но в отличие от героев большинства сказок и мифов Фродо не явился в мир изначальным героем-мессией, ожидаемым народами со смирением и восхищением и воспринимавшим свою звезду как нечто должное...

Разница между традиционным сказочным героем (пусть и выступающим поначалу в роли Иванушки-дурачка) и Фродо Бэггинсом огромна. Дело не в личной скромности Фродо; он не тянет на роль «записного» героя хотя бы потому, что постоянно раздвоен, постоянно мучается от свалившейся на него ответственности. Все время ему приходится трезво оценивать себя: справлюсь ли? И порой испытывает приступы слабости, даже впадает в отчаяние, и бывает нерешителен, и делает ошибки. Словом, это человек, а никакой не герой.

Но есть еще одно качество, весьма редкое у традиционных сказочных героев...

Вот, к примеру, более чем странная история взаимоотношений двух Бэггинсов — Фродо и его дяди Бильбо — с мерзким Голлумом (он, кстати, на придуманном автором «древе видов» приходится далеким родственником хоббитам).

Голлум постоянно охотится сначала за старшим Бэггинсом, а потом чинит всякие козни и Фродо. Самое удивительное, что хоббиты с не меньшим постоянством прощают злодея, который и по самым гуманным законам несомненно заслуживал бы смерти! Но именно это странное всепрощение — милосердие, сказали бы мы сейчас — оказывается «прагматичнее» любых обоснований типа «на войне не до сантиментов», «кто не с нами, тот против нас» и тому подобных. Не кто иной, как Голлум, сам того не желая, уничтожает зловещее Кольцо — а ведь он не раз мог пасть жертвой справедливого гнева всех тех, кого обманул, предал, пытался уничтожить...

Случайность? Только, разумеется, не в волшебной сказке. Ибо и в мире, где правит магия, соблюдаются свои особые законы, среди коих первый — жесткая моральная заданность, необходимость всех «случайностей».

Это в жизни Добро может случайно потерпеть неудачу, а Зло — ускользнуть от расплаты. Если автор сказки не в состоянии разобраться со всеми подобными «случайностями», право, не стоило ее и придумать...

Итак, злодей должен был уничтожить еще большее Зло, и... Голлюма пощадили. Не с далекой целью «подставить», а по соображениям совсем иным. Даже и не по соображению, поскольку тут не разум выбирает, а чувство — чувство милосердия. Члены братства Колец не мстят без крайней необходимости, ими движут в большей мере сострадание мирных людей, гуманистов, нежели беспощадная ярость солдат. И это обеспечивает им победу.

Такие вот необычные герои...

Само же превращение сказочного персонажа в героя романа происходит для читателя незаметно.

Вспомним, как начинается повествование — неторопливо и обстоятельно, как самая обычная традиционная сказка, быть может, лишь чересчур перегруженная деталями. Но стоило Фродо и его спутникам отправиться в поход, как произошло смещение точек отсчета. И мы видим — с удивлением ловим себя на мысли! — что возглавляет поход уже не фольклорный Фродушка-дурачок, вышедший на бой с очередным драконом, а хорошо знакомый нам «маленький человек» реалистической прозы, вдруг ощутивший себя средоточием каких-то поистине вселенских столкновений, случайно выделенным силовым центром, в который, как в воронку, ввинчиваются события и людские судьбы.

Это осознание собственного места в мире, перехода от позиции «хаты с краю» (все хоббиты — скорее «обыватели», а никакие не борцы за идею!) к внутренней ответственности за все растет постепенно. Продвигаясь по тексту трилогии — страница за страницей, глава за главой, — читатель вместе с Фродо как бы взбирается в гору: горизонт все дальше, перспектива — все шире... Чтобы там, на вершине охватить взглядом все, о чем бесстрастно сказано в многочисленных приложениях к книге: Мир и Историю, творящуюся в нем.

Историей буквально пропитаны романы трилогии. Она — то самое «преданье старины глубокой», о коем обычно принято говорить с оттенком безразличия (а то и вовсе с иронией), — определяет судьбу героев. Прошлое тянет их вперед, и в этой фразе гораздо больше смысла, нежели эффектной игры слов.

Все члены Братства Колец рано или поздно придут к пониманию того, что прошлое не сбросишь с рук и ног, как оковы; все ошибки и неверные действия, совершенные в нем, еще выстрелят в настоящем. И как-нибудь да отзовутся в неопределенном пока будущем. Поэтому маленькими хоббитами движет, кроме всего, тревога — как бы «не подставить» собственное будущее.

Так же постепенно погружается читатель и в злополучную проблему «роли личности в истории», лишившуюся за последнее столетие остатков «сказочного» очарования. Шаг за шагом, спотыкаясь вместе с Фродо о нравственные «кочки», вновь вставая на ноги, блуждая по

лабиринтам и все-таки находя свой путь в потемках. Узнавая новое, теряя иллюзии, беспечность и боевых товарищей и платя сполна за только что узнанное...

Именно так — как в жизни, а не как в сказках.

Эти-то постепенность и противоречивость процесса познания — а о простых, скорых решениях в сказочном мире Средиземья приходится забыть раз и навсегда — также роднят творение Толкина скорее с философским романом, нежели детской сказкой. Сказочный герой ограничен в своем выборе, и все эти «налево пойдешь... направо пойдешь...» озадачивают лишь читателя юного и неискушенного. Ведь каким бы дурачком ни был с самого начала задан Иванушка, неумолимыми законами жанра ему на роду написаны и принцесса в жены, и полцарства...

Фродо же становится героем, личностью, вершителем судеб — не сразу, не просто так: взял да стал. Для него это — драма.

Обычный человек, вовлеченный в самый эпицентр глобальных событий, добровольно, хотя поначалу неосознанно, взваливший на свои плечи тяжкое бремя «всех грехов мира» и мысленно готовый платить, когда минет час, цену этой ответственности... Нет, поистине только в наш сложный и грешный век впору было сочинять подобную «сказку»! В век, ставший свидетелем превращений удивительных: массы вполне ординарных людей совершали чудеса героизма, и наоборот, из ничем не примечательных законопослушных «винтиков» как на питательном бульоне произрастали разного рода «благодетели человечества», вожди и фюреры всех мастей; в век, когда от каждого живущего в значительной степени начала зависеть судьба решительно всех.

Как бы поступил, скажем, герой традиционной сказки, попади к нему в руки магическое Кольцо? Скорее всего победил бы злодея Сарона, после чего живехонько воцарился бы на троне, дабы править «мудро и по справедливости». Не случайно и сам-то властелин Мордора боится пуще всего не Фродо-освободителя, не Фродо-бойца за правду, а Фродо-соперника! Понятное дело, сказки исстари выражали народную мечту в «своего» — разумного и справедливого — царя.

У Фродо цель, повторяю, иная. Уничтожить сам искус власти. «Всякая власть развращает человека, абсолютная власть развращает абсолютно»... Кто, когда мог нашептать Фродо эту выстраданную самым властолюбивым веком истину? Однако маленький хоббит мыслит и действует так, словно сизмальства знает и эту, и множество других истин. Мыслит и действует как человек двадцатого века — хотя и не человек он вовсе, да и время действия драмы теряется в дымке сказочного «давным-давно».

Героем Фродо Бэггинс становится, когда бесстрашно выступает на встречу опасности; личностью — как только осознает всю меру навалившейся ответственности. А вот Человеком — именно так, с большой

буквы — в момент принятия решения уничтожить Кольцо, не дать этой ответственности превратиться в своего рода моральную индульгенцию на отпущение будущих грехов.

Мораль «лес рубят, щепки летят» — не для Фродо, хотя он ясно понимает, что Зло проистекает не от действия (пусть и ошибочного) самого по себе, а скорее от последующих оправданий пресловутых «щепок». На ошибках — кто смог похвастать, что никогда не совершал их! — надо учиться, а не убеждать себя, и в большей мере других, что никаких ошибок не было...

О многом заставила задуматься эта длинная неспешная сказка. Она словно аккумулировала в себе один из больших вопросов века: не «что делать?» (на сей счет и в традиционных сказках разных народов полно рецептов), а «как делать?». Как делать дело — чтобы получалось нравственно, чтобы не пришлось потом краснеть за содеянное. И в результате выходило б все-таки задуманное, а не что-то совсем противоположное.

И в общем не удивительно, что трилогия Толкина полна эсхатологическими (так называется религиозное учение о конце света) мотивами.

Ведь цель похода отважного Братства — не отобрать Власть у каких-то высших существ, а полностью исключить из жизни сам искус обладания ею. Иначе говоря, разрушить весь старый мир, в котором «работала» магия, и открыть дорогу новому — миру обыкновенных людей. Нам с вами... Писатель-христианин, Толкин излагает, в сущности, свою версию притчи о спасении души, в данном случае души «коррумпированной», разъедаемой жадной власти, — и спасение это однозначно предполагает жертву...

Профессиональное знание истории средних веков подсказало Толкину образ сдвинувшегося с привычных орбит мира, когда переселяются целые народы, а некоторые вообще бесследно исчезают с исторической сцены. Когда убогая «ноосфера» молодой цивилизации наводнена слухами и мрачными предостережениями конца света, а на границах некогда стабильного и процветающего Мира растет, набухает какая-то темная опасность всему его дальнейшему существованию.

И неважно, в сущности, то, что в конце концов Фродо выполнил свою миссию и вернется домой. Потому что странное и донельзя грустное это возвращение: вместе с магической силой Колец уходит из Средьземелья всякое волшебство, доброе и злое. Неумолимо меняет свой облик, становящийся все более «легендарным», и само сказочное Средьземелье, уступая историческую сцену новым персонажам: людям.

Эта символическая передача нравственной эстафеты от сказочных толкинских героев к людям, по-видимому, не случайна. Сама сказка Толкина, разбивая невидимые жанровые барьеры, стремительно шагнула в нашу реальную жизнь.

Как всякий настоящий писатель, Джон Роналд Руэль Толкин пережил собственную смерть.

Он ушел из жизни в зените славы, того не зная, что посмертно еще выйдет книга, которую он задумывал самой первой, да так и не успел записать...

Уже после его смерти сын Кристофер привел наконец в порядок отцовские записи, касающиеся основ «мифологии» Средьземелья, — так родился еще один том хроники, названный «Сильмариллионом». Успех новой книги был беспрецедентным: никогда еще произведение художественной литературы не было распродано сразу же по выходу в свет — а это так называемый *hardcover*, издание в твердой обложке, издание дорогое! — в количестве, превышающем миллион экземпляров...

В «Сильмариллионе» рассказывается о сотворении мира, в котором развернется действие трилогии, — но не о христианской версии, а скорее в духе скандинавской мифологии, основательно «подправленной» блестящим ее знатоком. Толкин хотел, чтобы его мир был достаточно необычен и увлекателен, но в то же время постарался сохранить его в должной мере знакомым современному европейскому читателю. Окажись этот придуманный мир слишком «экзотичным», не дошла бы до массового читателя нравственная весть — а это очень волновало автора трилогии. И вместе с тем начини он прямо, в лоб проповедовать христианскую мораль всепрощения, стойкости и жертвенности — обязательно потерял бы читателей, привыкших думать без пасторской подказки.

Впрочем, об этом — о его побудительных мотивах — сейчас остается только гадать. Зачем он писал трилогию и в качестве «мифологического пролога» к ней удивительную книгу «Сильмариллион», нам уже не узнать никогда; результат налицо, и можно лишь строить более или менее правдоподобные версии. Чем и занимаются десятки литературоведов, благодарные автору за то, что не оставил их без работы!

Но вот что доподлинно известно, так это особая авторская привязанность к одной из легенд цикла — о Берене и его возлюбленной Лютъиен. Причиной тому была жена Толкина, Эдит, которую он отождествлял с мифической Лютъиен; эти два странно звучащих на слух непосвященных имени Толкин завещал выбить на их с Эдит общем могильном камне...

Друг и соратник Толкина Клайв Стэплз Льюис нашел удачное сравнение тому, что совершил в литературе Джон Толкин: он «осветил сознание миллионов, подобно тому как вспышка молнии освещает небосвод, мгновенно делая видимым окружающий пейзаж». Парадоксально,

однако, что молния сверкнула на безоблачном, ясном небе, когда ничто, казалось бы, не предвещало грозы или каких-либо иных катаклизмов...

Чтобы сказка превратилась в одно из самых читаемых произведений века, задохнувшегося от напора грубой, агрессивной реальности? И все-таки — удачный образ. Ведь молния издавна служила символом высшего творческого вдохновения, знамения небес, силы одновременно грозной и возбуждающей.

Нам тоже предстоит еще на закате тысячелетия свои битвы с Кольцами Власти. Будут и жертвы, и потери, и мучительный поиск моральных решений — и, боюсь, никакая, самая умная книга (и сказочная трилогия Толкина не исключение) не подскажет решения готового и универсального: выбирать и нести ответственность за сделанный выбор придется самим.

Но насколько же облегчит этот выбор присутствие рядом Гандальфа и Фродо: мудрость опыта и храбрость вкупе с чистотой сердца! Английский писатель подарил измученному и отчаявшемуся веку этих двух чудесных персонажей, и отныне они надолго, хотелось бы верить, стали нашими верными спутниками. И чуть легче стало идти своим путем в новый век и новое тысячелетие.

А уходящий век мы тогда назовем Веком Толкина.

... Последнее фото Толкина сделано незадолго до смерти, 9 августа 1973 года.

Старик-профессор опирается одной рукой на трость, а другой держится за богатырский ствол огромной «черной сосны» (это одна из признанных диковин оксфордского Ботанического сада, по свидетельствам знавших Толкина, — любимое дерево писателя). Ствол и вправду могуч; под такими деревьями сживали странствующие рыцари, переводя дух после схваток с драконами, а путешественники рассказывали случайным попутчикам легенды и предания былых времен.

И кажется при взгляде на фотографию, что, коснувшись рукой исполкинского дерева, старик Толкин сам ушел в сказку, которую когда-то придумал. И не старомодный пиджак с вязаным жилетом на нем, а грубый дорожный плащ с капюшоном. А в руках вместо изящной палочки с закругленной ручкой — увесистый сучковатый посох. Старый добрый волшебник, неутомимый бродяга Гандальф остановился в тени могучей кроны, чтобы передохнуть, собраться с новыми силами. Много пройдено за день, а впереди еще путь длинный...

Гандальф не спешит. Добрые волшебники живут долго.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Кир Булычев. Сапожная мастерская	5
Титаническое поражение	24
Александр Горбовский. Благодетели	32
Лев Кожин. Из будущей жизни Путинцевых	43
Александр Климов. Шагающие в вечность	68
Андрей Саломатов. Привет аборигенам	78
Павел Амнуэль. Не могу поступиться принципом!	82
Татьяна Грай. «Сгинь, дикая сила...»	85
Прости, былое	91
Николай Иванов. Альтернатива	101
Александр Бирюк. Клад	103

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Анатолий Днепров. Белая ворона	116
200% свободы	124
Дмитрий Биленкин. Если знать	155
Ледниковая драма	167

ПУБЛИЦИСТИКА

Вл. Гаков. Век Толкина (к 100-летию со дня рождения писателя)	177
---	-----

Научно-художественное издание

СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

Выпуск 36

Составитель

Ревич Всеволод Александрович

Главный отраслевой редактор В. П. Демьянов.

Редактор В. М. Климачева.

Мл. редактор М. Б. Гришина.

Художник О. В. Барвенко.

Худож. редактор И. А. Емельянова.

Техн. редактор Н. В. Клецкая.

Корректоры Н. Д. Мелешкина,

Е. К. Шарикова

ИБ № 11423

Сдано в набор 19. 11. 91. Подписано к печати 07. 02. 92. Формат бумаги 84×108 1/32. Бумага газетная. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,92. Усл. кр.-отт. 11,34. Уч.-изд. л. 14,34. Тираж 390 000 экз. (2-й завод 150 001—290 000 экз.) Заказ 1—346. С—З Издательство «Знание». 101 835, ГСП, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 927 714.

Киевская книжная фабрика. 252054, Киев-54, ул. Воровского, 24.

ИЗДАТЕЛЬСТВО •ЗНАНИЕ•

